ЯКОВ
РЕЗНИК

РАССВЕТ
над
ВЛТАВОЙ

ЯКОВ РЕЗНИК

РАССВЕТ НАД ВЛТАВОЙ

ПОВЕСТЬ

Четвертое дополненное
и исправленное издание

Средне-Уральское Книжное Издательство
Свердловск, 1966

Художник В. Васильев

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Двадцать один год тому назад, на рассвете 9 мая 1945 года, мои товарищи, гвардейцы Уральского добровольческого танкового корпуса, первыми вошли в столицу Чехословакии — Прагу, и вместе с другими частями Советской Армии, вместе с чехами, бойцами пражских баррикад, добили остатки гитлеровской армии.

Едва стихли последние выстрелы войны, как мы услышали имена героев чехословацкого народа, руководителей антифашистского подполья, услышали легендарное имя Юлиуса Фучика.

Волнующей была встреча с женой Фучика — Густиной. Она разложила передо мной пожелтевшие листки, заполненные убористым почерком,— листки, которые Юлиус написал весной 1943 года в тюрьме гестапо в Панкраце и которые позднее составили книгу «Репортаж с петлей на шее».

— Удастся ли когда-нибудь найти следы последних дней Юлека?..— говорила мне Густина, и в глазах ее светилась надежда.

Там, на пражской квартире Фучика, мелькнула мысль: «Надо искать...»

Два года длились поиски, главным образом, в Берлине. Наконец мне удалось найти следственные материалы по делу Фучика и его друзей по подпольной работе, протоколы нацистского суда, документы о казни; удалось также встретиться с антифашистами, бывшими узниками тюрьмы Плецензее, где Фучик погиб на гильотине.

Свидетельства очевидцев, архивные документы подтвердили: да, и последняя битва Юлиуса Фучика с фашизмом, так же как и прежняя его борьба за счастье людей, была достойной Человека, достойной Коммуниста.

То, что мне удалось узнать об антифашистском подполье в оккупированных странах Европы, о жизни и борьбе большого друга советского народа, национального героя Чехословакии Юлиуса Фучика, легло в основу этой повести.

Первое издание «Рассвета над Влтавой» вышло в Киеве тринадцать лет назад, но работа над книгой не прекращалась. Второе и третье издания были дополнены главами о боях Советской Армии в Германии и Чехословакии, о мужестве и благородстве уральских танкистов — участников великого сражения за Берлин и небывалого в истории войн марш-маневра на Прагу.

Настоящее, четвертое издание исправлено, дополнено рядом новых, ставших известными в последнее время страниц жизни Вечного Гражданина Мира Юлиуса Фучика.

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Я хотел бы, чтобы павшие были всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик

ГРОЗА

I

Всю ночь над лесами, над хребтами Шумавы бушевала гроза. Через ущелье, образующее Домажлицкий проход, врывался со стороны Нюрнберга порывистый холодный ветер. Частые всплески молний выхватывали из мрака причудливые шапки скал, извилистое шоссе на Домажлице и Пльзень, притаившиеся возле опушек деревеньки.

По размытым скользким тропам шел человек. Дорожная с капюшоном серая накидка почернела от влаги, липла к широкой спине. В ботинках на толстой подошве хлюпала вода, а он лесными дорогами обхо-

дил селеиия, взбнрался иа горы, все больше отдаляясь от шоссе.

Под гранитным козырьком скалы, нависающей иад обрывом, человек остаиовился, сбросил с головы капюшои. Гром по-прежнему хохотал, острые вспышки добела плавнли иебо. Путиик застыл на краю обрыва, плечистый, крепкий, как сама скала. Мокрое скуластое лицо с мягкнм прищуром глаз и задорио прнподнятым подбородком было повернуто к озареииой быстрым светом долиие. Человек подиял вверх снльиые руки и, потрясая имн в воздухе, книул в шум бури радостно-звонкое прнветствие:

— На здар, Ходский край!

Луч кармаиного фоиарика пронизывал мрак. Путник спустился к подиожию горы, зашагал петляющей тропой в иизиху. Уверенно, как ходят люди лишь по родной, до любой морщники изучеииой земле, двигался ои под ливием по глуши пограиичья, и каждый изгиб леса, каждое ущелье иапоминали детство и с детских лет запомннвшуюся гордую и печальиую исторню края. Здесь, возле города Домажлице, чехи в одиииадцатом и пятиадцатом веках побеждали крестоиосцев, ие пуская их в глубь страиы. Здесь, и после поражеиия чехов в 1620 году, отважиые стражи чешскнх границ — ходы — десятки лет продолжали биться за свон права и волю. «Как иельзя закрыть истоков Влтавы, берущей начало в этих могучих хребтах, так иевозможио выжечь нз памятн людей миоговековое стремлеиие иарода к свободе и счастью. Придет сиова твое время, Ходскнй край»,— думал путиик.

Незаметно для себя ои сбился с тропкн, оступнлся, соскользнул с горки в скачущую по камиям, вышедшую из берегов реку. Оиа заливала низиину, ломала мостик. Его перила были смыты. Балансируя, путник направнлся по уцелевшнм доскам к протнвоположиому берегу. Онн прогнбалнсь, скрипели и, не выдержав иепосильиый груз, сорвались в поток. Человек оказался по пояс в воде, фонарнк выпал из рук; в кромешиой тьме, то плывя, то скользя по камиям, путиик выбирался на тот же берег, который ои несколько минут иазад покииул.

Ливень не утихал, мрак не рассеивался. Очертания скал, оврагов и лесов при вспышках молний меняли свой облик, обманывали человека, не давали ему правильно ориентироваться; и, вопреки желанию, он снова в эту августовскую ночь оказался на окраине города Домажлице.

Человек миновал построенный в двенадцатом веке Ходский замок, огромные, пятидесятиметровой высоты Нижние ворота города и исчез во мраке.

Незадолго до рассвета он оказался в небольшой деревне Хотимержи. Возле дома, стоявшего поодаль от других, перепрыгнул низкую садовую оградку, забарабанил в ставни, подбежал к крыльцу. За дверью послышался сонный старческий голос, затем молодой, радостный:

— Юлек, ты?

Теплые ласковые руки, шелковистые волосы коснулись мокрого воспаленного лица Юлиуса Фучика.

— Густина! Мама!! Милые!!!

2

Только Юлиус переступил порог дома, сказались и ночь пребывания под ливнем, и двое суток бессонницы, и сверхчеловеческое напряжение, начавшееся в ту самую минуту, когда на окраине Праги его опознал шпик. К счастью, выручили железнодорожники. Теперь дома, нервы и мускулы сразу ослабли, и он без помощи жены не мог даже снять с себя напитанную влагой, отяжелевшую одежду. Мать и Густина хлопотали возле него, ухаживали, как за малым ребенком, не надоедая расспросами, откуда, каким образом он сумел прийти в такую ненастную ночь. Для них уже не было ни ночи, ни ненастья. Радостью светились нежные, большие, по-детски ясные глаза Густины и затуманенные мутные, в лучистых морщинах добрые очи матери. Хотелось долго слушать их голоса, но только Юлиус лег в постель, как веки закрылись и он заснул.

Боясь потревожить Юлиуса, женщины на цыпочках удалились на кухню. Густина начала стирать белье мужа. Она раскраснелась, легкая волнистая прядь взвивалась в такт ловким движениям сильных молодых рук. Все в Густине улыбалось, говорило: «Юльча тут! Он жив, здоров!» А Мария Фучикова — маленькая, с пятнами туберкулезного румянца на худых щеках — мыла посуду и шептала, будто через две закрытые двери и коридор ее слабый, тоненький голос мог нарушить покой сына:

— Как ты думаешь, Густа, его не могли заметить, когда он входил в деревню?

— Что вы, мама, такая ночь.

— То же самое Карел мне говорил в Пльзене. Хорошо, что Юлек тогда не дал себя уговорить остаться на ночь: только он вышел — появились гестаповцы, наверно, кто-то его выслеживал, ходил за ним по пятам...

— Тут гестапо нет, мама. Соукуп ходит раз в неделю для вида, мне кажется. Все-таки чех.

— Чех, а в немецкой полиции! Боюсь Соукупа. И ты, я знаю, дрожишь, когда он встречается и спрашивает, почему все еще без мужа. Неспроста он спрашивает.

— Если Юля заметит, как вы боитесь, он сегодня же уйдет.

— Что ты! Не говори ему! А я на самом деле очень даже боюсь, как тогда боялась, в первый раз, когда ему исполнилось семнадцать и полиция пришла искать его.

И старая мать стала рассказывать то, о чем Густина давно знала: как она ожидала скупых весточек от сына из тюрем или минутных свиданий сквозь решетку, как она ни одного дня не была спокойна за его жизнь, за его здоровье.

— Я думала, с годами остепенится, а он!.. Случилась забастовка шахтеров на севере — и он туда, под пули: тогда жандармы ранили его в ногу. Началась демонстрация в Праге — так надо же было ему взять знамя, когда появились полицейские. Какие у него были до того красивые зубы!

— Был бы он здоров, мама. И со вставными зубами мы его любим.

— Конечно. А в Мюнхен? Зачем ему нужно было переходить границу без визы, без паспорта, пробираться на сборище главных фашистов? Узнай кто-либо из них, его сожгли бы тогда на костре, как Яна Гуса сжигали.

— Но вы же знаете, Юлек на третий день был в Праге и первый в газете раскрыл планы нацистов.

— Ах, ваши газеты! Ты такая же, как он, потому не хочешь понять, что для него опасно оставаться в Чехии — его же все знают!

— Везде теперь опасно.

— Нет, не везде. Я не боялась за него, когда он уехал в Россию. Помнишь, он нам писал: «Я здесь так счастлив и доволен, здесь так спокойно и свободно». Почему он теперь не уехал туда?

— Не знаю, мама, должно быть, нельзя ему уезжать.

Густина отвернула лицо, чтобы Мария Фучикова не заметила, что она говорит неправду. Не могла же она рассказать матери, что руководители подпольного Центрального Комитета советовали Юлиусу уехать в Советский Союз, давали документы, средства, а он все доказывал, что его место в Чехословакии.

К утру исчезли тучи, и на чистое, словно промытое, небо поднялось солнце. Мария Фучикова решила пройти по деревне, поискать у знакомых белой муки и сделать сыну любимые кнедлики. Густина проводила свекровь до калитки, остановилась под яблоней с крупными ароматными плодами. Много лет прошло с того времени, как Юлиус впервые привез ее в деревенский домик родителей. Они стояли возле юной тогда яблоньки, тоже юные и самые счастливые на свете. Ей казалось, что она не сможет быть без него даже дня, но позже привыкла к длительным разлукам и постоянным тревогам. Правда, никогда прежде Густина так не боялась за жизнь мужа, как за эти полтора года немецкой оккупации. Она ни за что не оставила бы его одного в Праге, но он упросил ее пожить с больной матерью. Отец должен работать, не может уехать из

Пльзеня, сестры обременены семьями, значит,— она. «А может быть, он хотел, чтобы я была дальше от опасности?.. Что это — мерещится? Или он действительно поет?»

Через закрытое окно столовой сперва приглушенно, потом все яснее донеслась песня. Густина вбежала на крыльцо, на носках прошла коридор и приоткрыла дверь, чтобы муж не услышал. Предосторожности были напрасны. Юлиус до того увлекся необычным занятием, что услышать шаги или увидеть Густину не мог. Одетый в домашнюю клетчатую рубашку, в серых вельветовых брюках, тапках на босую ногу, он стоял на краю письменного стола спиной к двери и, роясь в стопках книг и папок, сложенных на шкафу, напевал негромким баритоном:

Кто там,
Кто там с победой к славе
Торжественно идет?
Огнем,
Огнем горят его глаза,
Кто он?
Не знаем мы, кто он.
Приди,
Приди, чело украсим мы,
Сплетем из лавров венок тебе.
И песню славы мы споем,
Священный гимн любви...

Высокие ноты неожиданно обрывались низкими, басовыми. Носок тапочки отбивал по столу такт. Время от времени Юлиус перелистывал папки, книги, брошюры, бросал отобранные на пол или кушетку. Книги с твердыми переплетами, тяжелые от бумаг папки подпрыгивали на пружинистой кушетке.

— Что ты делаешь, Юльча?

Запинаясь за горки книг, Густина подбежала к окну, раскрыла форточку. Свежая струя воздуха взвихрила пыль.

— Не видишь? Порядок навожу!

— Ты радуешься, словно богатое наследство получил.

— Еще какое наследство!

Он спрыгнул со стола, обнял жену и, усадив на

свободный краешек кушетки, поцеловал широко раскрытые глаза.

— Глянь, Густина, что я нашел. Думал, оно припрятано в Пльзене, а оказалось, сам прибрал в потайной ящик. Какая драгоценность!

В его ладонях лежала книжечка в красной обложке с тиснутой золотом надписью:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Фрунзенский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Киргизская Автономная Советская Социалистическая Республика».

Густина взяла удостоверение, развернула, прочитала по-русски:

«Да здравствует союз рабочих и крестьян!

Удостоверение № 189

Предъявитель сего Фучик Юлиус Карлович является членом Фрунзенского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов IV созыва».

Густина смотрела на Юлиуса и вспоминала весенние дни тридцатого и тридцать четвертого годов, когда он, вопреки запрету чехословацкого правительства, нелегально переходил границы, добирался до Гамбурга, а оттуда в пароходном трюме — в Ленинград. В первый раз он по поручению партии возглавлял рабочую делегацию и пробыл в Советском Союзе шесть месяцев, второй — ездил корреспондентом «Руде право» и жил там два года. Какие письма Юлиус ей писал! Трогательные, полные восхищения людьми страны социализма, которую он считал своей второй родиной.

Ветерок ворвался через форточку, зашелестел листами раскрытых книг. Юлиус попросил:

— Разреши оставить тебя на минуту.

— Иди, иди. С тобой и прибрать не сумею.

Не успела Густина сложить разбросанные по комнате книги, стереть с мебели пыль, как Юлиус возвратился.

— Узнаешь?

Он стоял перед ней таким, каким возвратился из первой поездки в Советский Союз десять лет назад.

На нем была красноармейская форма: туго подпоясанная широким ремнем гимнастерка из белого полотна, темно-синие галифе с малиновым кантом, белая фуражка с пятиконечной, рубинового цвета звездой. Ему так шла эта форма — подарок воинов Красной Армии почетному всаднику киргизской дивизии,— что Густина не удержалась от возгласа:

— Фантазер ты мой!

— Давай на улицу, а?

— Что ты! В своем рассудке! — она схватила его руку, задержала в своей.

Он захохотал громко, заразительно.

— Ты даже не заметила, что я в тапках...

Будто маленькую девочку, Юлиус поднял жену, закружился с ней, напевая шуточную песенку:

Синеокая девушка,
Не садись у речки:
Вода захлестнет
Твои ясные глаза...

Как хорошо было ей кружиться с закрытыми глазами в его руках, слушать его чистый баритон, игривую песенку, чувствовать себя такой же воздушной и богатой, какой она чувствовала себя в первый раз, когда он обнял ее.

Внезапно Густина соскользнула с его рук. Она заставила Юлиуса переодеться и спрятала красноармейскую форму.

— Ты можешь мне сказать, зачем ты перебираешь архив? Новые аресты?

— Да. Появляться на пражскую квартиру и в Пльзень к отцу нельзя. И здесь надо уничтожить некоторые бумаги. Эх, не вовремя пришлось покинуть Прагу!

— Что-нибудь интересное?

— Самое нужное, Густина,— выпуск «Руде право»! Скоро будем печатать газету форматом половины тетрадного листа.

— Как это?

— Очень даже просто. С обыкновенного набора полосы делается оттиск, с него фото в уменьшенном

виде, а дальше цинковые клише. С них и печатаем. Страницы получаются поразительно четкими и, главное, миниатюрными — всю газету можно спрятать в портсигар.

— Твоя, наверно, выдумка.

— Вот уж нет.— Его застенчивая улыбка подтвердила Густине, что догадка близка к истине.— Находка товарищей из фотоателье. Они и будут выполнять заказ. Я им только малость подсказал... Возвращусь в Прагу, и сразу возьмемся.

Рассекая воздух полусогнутой ладонью, он с восторгом говорил о любимой газете, и Густина не решалась спросить, сколько он побудет с ней и с матерью. Юлиус понял ее без слов.

— Ты, я вижу, соскучилась. Побуду, побуду с тобой, дорогая.

Она прильнула к нему, пальцами стала перебирать волнистые волосы.

— Еще бы не соскучиться. Но я была бы счастлива, если бы ты в Москву уехал. Зачем не послушался друзей? Боюсь, не уцелеешь, упрямая головушка!

Темные густые ресницы Юлиуса сблизились, суровая решимость загорелась в глазах:

— Единственное, что необходимо упрямой голове, Густина,— это несгибаемая спина. Другая спина такой головы не удержит.

Он мягко отстранил ее руку, склонился над папками, сложенными на столе, стал просматривать их, откладывая в сторону часть бумаг и записных книжек.

— Это надо сжечь, Густина. Пожалуйста.

Она ушла на кухню и перед тем, как сжигать в плите пачки листов и блокноты, разворачивала их, вспоминала бессонные ночи Юлиуса, когда он, положив перед собой конспекты и черновые наброски, писал свои статьи по литературе, очерки на злобу дня. В те ночи он мечтал о том, как будет работать в свободной Чехословакии, и спрашивал: «Как думаешь, Густина, смогу я преподавать историю чешской литературы в Пражском университете? Мне кажется, смогу». Эти черновики, наброски нужны ему для будущих работ,

а он велел их сжечь. «Не иначе — опасность большая, если он решился... Мне даже в голову не пришло, что в случае обыска они могут повредить родителям...»

Когда Густина возвратилась в столовую, на письменном столе уже не было никаких папок и книг. Перед Юлиусом лежала стопка чистой бумаги, и он что-то быстро писал своим плотным бисерным почерком. Не желая его отвлекать от работы, Густина подошла к окну, облокотилась на подоконник, задумчиво глядела в сад, прислушиваясь к дыханию мужа, к скрипу его пера.

Вдруг что-то огромное мелькнуло возле калитки, и во двор, точно глыба, ввалилась массивная туша в темно-синем мундире!

— Соукуп! — прошептала Густина в отчаянии.— Беги! Я задержу его на крыльце!

На миг сморщился лоб Юлиуса. Он на мелкие кусочки изорвал лист исписанной бумаги, бросил в корзину, сжал трепещущие пальцы жены.

— Бежать нельзя, за оградой, возможно, ждут другие. Лучше поговорю с ним.

— Зачем?

Послышался настойчивый звонок.

— Впусти его, Густа, и оставь меня с ним наедине.

3

Накануне, в поздний вечерний час, стражника Соукупа вызвал начальник чешской полиции в Домажлице. Рядом с Соукупом низкорослый тщедушный начальник выглядел вовсе невзрачным. Задрав голову, начальник визжал и подпрыгивал:

— Сам группенфюрер телеграфировал — преступник бежал из Праги. В Пльзене его нет. Значит,— Хотимержи. Прохлопали прошлым летом, забавлялись пивом. Не арестуете — сорву мундир! Заточу!

Стражник покорно слушал начальника и поражался, как это Фучик осмелился в прошлом году не только жить в Хотимержи, а даже приходить в домажлицкую библиотеку.

— Запрещаю вам выезд из Хотимержи, пока не поймаем. Отправляйтесь, завтра пошлю еще двух!

Соукуп жил последние годы в Домажлице и бывал в деревне Хотимержи наездами. К брани своего начальства он привык, и на этот раз выполнил приказ по-своему — переждал грозу дома, хорошо выспался и, когда на рассвете ливень прекратился, вывел свой мотоцикл на шоссе. Стражник считал, что тревога напрасна, что Юлиус Фучик, если он действительно бежал на запад, не мог так быстро добраться до Хотимержи. Оставив мотоцикл на попечение хозяина кафе, Соукуп подкрепился завтраком, не спеша пошел к домику Карела Фучика. Но только Густина открыла дверь и стражник увидел развешанное влажное мужское белье, заметил настороженные глаза, он понял: Юлиус здесь.

— В какой комнате? — строго спросил он, расстегивая кобуру револьвера и идя по коридору.

Густина не могла ответить. Она едва подняла руку и показала в сторону столовой. Стражник велел ей открыть дверь и перешагнул порог. Густине было страшно оставить мужа наедине с Соукупом, но она не посмела противиться желанию Юлиуса и сама прикрыла дверь.

— Пришел арестовать вас, пан Фучик! — объявил стражник, тупо уставившись в спокойное и потому казавшееся ему дерзким, лицо Юлиуса.

— Вижу, пан Соукуп,— веселый гнев блеснул в глазах.— Думаю, не одни явились за государственным преступником.

— Не таких брал! — сердито огрызнулся стражник. Веко наполовину прикрыло правый глаз, от переносицы до высеченного квадратом подбородка легли глубокие, вразлет, морщины.— Оружие сдать, чтобы не пришлось...

— Стрелять в доме чеха! — досказал за стражника Юлиус.— Вы, пан Соукуп, деликатный полицейский, другие расстреливают без предупреждений... Не беспокойтесь, в карманах у меня пусто.

Он быстро вывернул карманы брюк и рассмеялся, заметив порывистое движение Соукупа к кобуре.

— Испугались! Потомок смелых хóдов боится безоружного чеха! Как же ваши предки шли на врага с одним дубовым чеканом?!

Жесткая складка у рта Соукупа обозначилась резче. Он вспомнил угрозу начальника полиции, представил, как тот срывает с него мундир, надетый четверть века назад.

— Я арестую не чеха, а коммуниста. От таких всего дожидайся...— и, сделав два шага вперед к Юлиусу, вытянул из вместительного кармана брюк матово-серебристую восьмерку алюминиевых наручников. Все же надевать их он медлил. Его поразило, что Юлиус ни о чем не просит, смотрит на него не гневно или презрительно, а с сожалением и говорит совсем не то, что говорят другие в подобных обстоятельствах.

— Да, я коммунист, и верю, что все честные люди пойдут с нами. Мне кажется, пан Соукуп, что даже вы скоро перестанете смотреть на коммунистов сквозь дырку заплесневелого голландского сыра, который изредка бросают вам фашисты со своего стола. Помню, вы когда-то распивали с моим отцом пльзеньское пиво и сказали, что расстрелы бастующих не одобряете. А сейчас?.. Если я бы думал, что вы могли продаться дьяволу, вы бы живым не переступили порог!

Соукуп сопел носом, угрюмо уставясь в носки своих больших сапог. Легкие наручники отягощали руку, жгли ладонь, как жгли душу слова Фучика, заглянувшего в такие ее тайники, куда сам Соукуп не осмеливался заглядывать.

Еще в большей нерешительности была Густина. Она то подходила к двери, то удалялась от нее, кляня себя за то, что послушалась мужа, не вошла в комнату. «Он верит тем, кому верить давно нельзя. Разве помогут разговоры? Соукуп — служака, он арестует... Нет, не дам!.. Вцеплюсь зубами, чтобы Юлек успел скрыться... Он сможет: Соукуп пришел один». Густина взялась за дверную ручку, но ее остановил голос стражника, в котором зазвучали колеблющиеся нотки:

— Что ж, можно и посидеть. Мне, собственно, не к спеху...

Жалобно-протяжный скрип стула подтвердил, что семипудовый Соукуп действительно сел. И тут же Густина услышала неожиданное восклицание:

— Непонятный вы народ, коммунисты. Вас всех ждет гильотина, а вы... Езус Мария!

Густина приникла к продольной щели верхней рассохшейся дверной филенки, увидела лицо Соукупа. Широкий нос, огромные заросшие уши, набухшие мешки под глазами — все было тяжелым, словно отлитым из меди. Небрежно подстриженные волосы суживали лоб, спускались жидкими рыжими бакенбардами и гуще разрастались под грузным подбородком. Мясистые губы большого рта сжались недоверчиво-выжидающе, и это выжидание да еще любопытство были заметны в острых глазах.

Удивительней всего было Густине, что Юлиус разговаривал со стражником, будто с товарищем, который в чем-то ошибается, чего-то недопонимает, но хочет познать истину.

— Димитрова вы не забыли? — спросил Юлиус и остановился, словно взвешивал сказанное.— Георгий Димитров был один, один против всего рейха, и победил. Почему он не боялся Геринга, не дрогнул под ножом нависшей над ним гильотины? Он знал: за ним Москва, честные люди всех стран. А главное, он очень любит человека и свободу — для них живет, не для себя. Я видел Димитрова, говорил с ним. У него добрый взгляд. Но как он ненавидит фашизм! От любви к людям — его ненависть к врагам, от ясности цели — его мужество.

Чуть нагнув голову, Юлиус проницательно и неотрывно смотрел прямо в глаза Соукупа.

— В Берлине, на Лихтенфельде, есть стена. Там, после февраля тридцать третьего года, по приказу одного из начальников штурмовых отрядов, Эрнста, были расстреляны восемьдесят рабочих-коммунистов. Когда на них были направлены ружья, они пели «Интернационал» и умерли с гимном на устах. Через год к этой же стене был поставлен Герингом тот же самый Эрнст. Его пришлось на место казни нести на руках. Он звал на помощь, кричал, что все сошли с ума,

просил, умолял и раньше, чем его поразила пуля, упал от страха в обморок. Разве это случайность, что закоренелый убийца Эрнст умолял о помиловании, но ни один из восьмидесяти рабочих не проявил малодушия? Нет, не случайность. Рабочие-коммунисты знали, за что они умирали, знали, что их бесстрашие призовет новые тысячи к борьбе за жизнь.

Густина недоумевала, нервничала, не понимая, зачем Юлиус тратит драгоценное время, к чему такой доверчивый тон обращения к стражнику.

— Коммунисты самые обычные и простые люди, пан Соукуп. Их героизм заключается только лишь в том, что они делают все, что нужно делать в решительный момент. А вы сказали — непонятный народ. Что же в нас непонятного?

— М-да,— мычал Соукуп, морщась, словно от зубной боли. Он хотел бы выкинуть из головы только что возникшие, опасные для полицейского мысли, но они чем-то покоряли его, и он не мог решиться противоречить Юлиусу. А тот, неотступно следя за лицом стражника, видел, как борются в нем человек и находящийся на службе немцев полицейский.

— Покурим, пан Соукуп?

— Покурим, пан Фучик.

Юлиус подошел к письменному столу, открыл нижний правый ящик, тот самый, в котором Густина заметила утром пистолет. Соукуп, кажется, догадывается о нем. Он с подозрением смотрит на руку Юлиуса,— она что-то взяла, замерла.«Сейчас будет развязка, надо помочь Юльче!» Не успела Густина додумать, чем помочь ему, да и нужно ли ее вмешательство, как почувствовала на плече сухие пальцы Марии Фучиковой.

— Подсматриваешь? Войди, если надо.

Испугавшись, чтобы мать не помешала Юлиусу совершить задуманное, Густина отвела ее в спальню.

— Знакомый к Юлеку пришел, нельзя мешать. Прилягте, мама, на вас лица нет. Вы устали?

— Умаялась я, нигде продуктов не могла найти.

Укладывая мать, Густина ежесекундно ожидала выстрела, но в домике по-прежнему было тихо. Когда

она возвратилась к двери столовой, то почувствовала запах табака и сквозь щель увидела: Соукуп курит сигарету, причмокивая губами и поворачивая голову в стороны, вслед за шагающим по комнате Юлиусом.

— И вас здесь тоже убеждали в бессмысленности сопротивления немецким фашистам? Вероятно, домажлицкие толстокожие мещане так же, как их пражские идейные вожди, жаловались: «Мы слабенькие, нам не устоять... Мы одни, нас все бросили...» Ложь! До мюнхенского позора, до той минуты, когда чехословацкое правительство изменников само распустило нашу армию, мы были сильны и могли выстоять. Разве наше вооружение было хуже немецкого? Нет, не хуже. А боевой дух народа! Вы, надеюсь, не забыли, пан Соукуп, с каким патриотизмом чехи встретили сообщение о мобилизации. Когда я вместе с другими в сентябре тридцать восьмого года надел военную форму и с оружием направлялся к границе, то видел в солдатах и офицерах готовность не погибнуть, как отчаявшиеся, а побеждать, как борцы за правду. А если бы в бою и не хватило силенок, то кто же нам мешал обратиться к Советскому Союзу. Он был и остается нашей верной опорой.

— Опора...— усмехнулся стражник. Он был недоволен тем, что Фучик сбивает его с каких-то устоявшихся, укоренившихся взглядов на прошедшие события. Эти взгляды в какой-то мере оправдывали в собственных глазах его службу при немцах.— Чего же опора эта дала нас слопать? Не пришла почему?

— Почему не пришла? — подхватил Юлиус.— Вы помните советско-чехословацкий договор тридцать пятого года? Знаете, что наше правительство сделало оговорку к договору? И какую! Подслеповатые мудрецы потребовали записать так: если Гитлер нападет на Чехословакию, то они готовы принять вооруженную помощь русских только в том случае, если в нашу защиту выступит и Франция. Вам нравится подобная логика, пан Соукуп? Ваш дом горит, с Востока подоспела команда тушить пожар, а вы кричите: не смейте начинать, подождите, пока прибудет команда с Запада!

Пиджак Юлиуса расстегнулся, галстук во время резких поворотов мотался по сторонам, но он был так поглощен разговором, что не замечал небрежности в костюме.

— Но и такая дикая и трусливая оговорка наших правителей не остановила русских. Советское правительство несколько раз сообщало министерству иностранных дел, а в мае и в сентябре тридцать восьмого передало через Готвальда лично президенту Бенешу, что Советское государство придет на помощь Чехословакии, если даже Франция откажется от своих договорных обязательств. Лишь одно условие ставили русские: Чехословакия сама будет защищаться и попросит у них помощи. Как вы думаете, пан Соукуп, вправе требовать тот, кто посылает своих сыновей в бой за жизнь соседа, чтобы сосед не складывал оружие, а бил из него по общему врагу?

— Езус Мария, как же! А что доктор Бенеш? Не понимал это?

— Понимал, все отлично понимал, пан Соукуп. Но боялся. Бенеши всегда трусят, когда дело доходит до необходимости вооружить народ. Они в таких случаях забывают об отечестве, о народной свободе, обо всем, о чем торжественно болтают в спокойные дни. Гитлера они тоже не хотели, это верно. Но еще больше они боялись, а вдруг чешский народ, победив с помощью Советского Союза врага, скажет: «Хватит! Не хочу постарому. Я вправе иметь и хлеб, и свободу, и власть». Вот что бросило наших реакционеров в объятия подобных им на Западе, вот почему они приняли условия мюнхенского диктата и отдали родину на растерзание Гитлеру. Вам этих доказательств достаточно, пан Соукуп?

— А партии? — недоумевал стражник.— Много же их было!

— Было! Вы правы,— Юлиус рассмеялся.— Как говорили шутники, избиратель, подходя в день выборов к урне, получал столько бюллетеней, сколько в колоде карт. Тридцать шесть партий числилось в Чехословакии. Именно числилось. Едва Гитлер начал угрожать оккупацией, как от одних остался пустой звук,

а от других,346распустившихся партий помещиков и капиталистов,— трупный запах. Одна, из всех лишь одна-единственная, уцелела, ушла в подполье, действует. Вы знаете, о какой партии я говорю, пан Соукуп.

Стражник ерзал на стуле, незаметно для самого себя царапал ногтем большого пальца металл все еще лежавших на столе наручников. И вдруг заговорил с ноткой оправдания и совсем о другом:

— Разве я... да мы... Мы с женой давно читали вас, пан Фучик.

— Меня читали?

— Как она? — напрягал память Соукуп.— Что-то: в стране или завтра или вчера... Ну, о России.

— Вы читали мою книгу о Советском Союзе! Не ждал, честно признаюсь. Меня за нее в тюрьму сажали, а вы не побоялись держать ее дома и читать. Значит, я не ошибся: есть еще в вас капелька крови славного племени ходов.

— Капелька?.. Езус Мария!

— Ах, мало, вам уже мало капли! — весело воскликнул Юлиус.— Надеюсь, придет время, и вы, Мартин Соукуп, постучитесь к нам, скажете: «А чешских стражников принимают? Я в душе тоже коммунист».

Соукуп рывком поднялся со стула, крепко сжал в ладони наручники, сердито спросил:

— А это... К чему это мне говорите?

Юлиус зажал подбородок большим и указательным пальцем, задумчиво ответил:

— Если фашистам удастся повести меня на смерть, я хотел бы знать, что еще один чех прозрел.

Мария Фучикова, почувствовав неладное в поспешном уходе Густины, поднялась с постели и поплелась за ней. Возле двери столовой ее слуха достигли последние слова Юлиуса. Восприняв их по-своему, она раскрыла дверь и замерла на пороге. Ужас отнял речь, страдание перекосило лицо. Она вцепилась желтыми пальцами в дрожащие губы, уставилась на стражника расширившимися зрачками. Казалось, еще миг, и они выльются из глаз вместо слез.

Густина поняла, что разговор окончен. Она слегка отстранила мать, прошла вперед, столкнулась

лицом к лицу с Соукупом. Он глядел на нее исподлобья так же, как глядел час тому назад, войдя в дом.

— Соберите вещи мужа да побыстрей! Я его... не застал, к сожалению. Приду вечером и не один!

Через полчаса Юлиус Фучик уходил лесами Шумавы на юго-восток.

ПРОФЕССОР ГОРАК

1

Над литейным цехом электромеханического завода «Колбен Данек» возвышалась старая построенная в конце прошлого столетия мартеновская печь. Сквозь щербатые разъеденные огнем отверстия ее заслонок пробивался нестерпимо яркий свет. Средняя заслонка была приподнята. Подручные сталевара торопливо швыряли лопатами в клокочущий металл куски ферромарганца. Худой рослый юноша старался не отставать от других рабочих, но это стоило ему немалых усилий. Он нервничал, суетился без пользы. Его что-то сковывало.

— Живее, Новотны! — раздался за спиной юноши глухой простуженный голос сталевара Ярослава Копты. Новотны вздрогнул, обернулся, устремил воспаленные светло-голубые глаза на сталевара. А тот, возмущенный вопросительно-наивным взглядом подручного, его беспомощностью в напряженный момент перед выпуском плавки, сердито закричал:

— Чего уставился! Живей, говорю!

Шесть месяцев назад, в январе сорок первого, когда Милош Новотны впервые поднялся к мартеновской печи, он не надеялся и двух дней продержаться в этом пекле. Со страхом приближался к раскрытой заслонке печи, глядел на озеро огня, съеживался от выкриков сталевара, робел перед ним и преклонялся перед его мужеством: такое вытворять с огнем!

Постепенно он преодолевал в себе робость перед

людьми и противный страх перед гудящей, палящей жаром печью. Тяжкий труд закалял. И все же мартеновцы продолжали чуждаться Милоша, словно не замечая, как он ломает себя, старается быть похожим на всех. В последние дни сталевар Ярослав Копта придирался к каждому пустяку, грубо обрывал каждое слово Милоша. Тот понимал причины раздраженности сталевара. Кого не выведут из равновесия окрики заносчивых немцев — ходят, вынюхивают, примеряются, как выжать из рабочего все до последнего: «издыхайте, что нам до живого чеха...» Все же Милошу было обидно, что именно на нем, чаще и больше, чем на других, сталевар срывал свою злость.

Смена подходила к концу. У мартена показался сталевар Вацлав Олива — квадратный, до того приземистый, что голова его приходилась вровень с грудью Ярослава Копты. Пользуясь тем, что в воскресенье немцев у печи не было, Копта, не таясь, заговорил с товарищем:

— Послушай, Вацлав. Им уже мало награбленного, им уже недостаточно иметь на Колбенке вооруженных охранников. Они еще решили приставить к нам хронометражистов, надсмотрщиков. Для того ли мы с тобой тридцать лет сталь плавим, чтобы честь нашу топтали!

Копта говорил быстро, энергично жестикулируя. Горячий пот покрыл выпуклый лоб, большой нос и скулы. Не дожидаясь ответа от молчаливого Вацлава Оливы, Копта хотел еще что-то сказать, но тот неожиданно разговорился.

— Не так еще над нами поиздеваются. Плохое только начинается.

— О чем ты, Вацлав?

— Потом узнаешь... У тебя, смотри, плавка готова к выпуску — спеши.— И Олива бегом направился к конторке.

Ответ взволновал Копту. Но не прошло и пяти минут, как он забыл о разговоре с товарищем — не до раздумий было, пора готовиться к выпуску стали.

— Беги к летке! — приказал он Милошу.

У выпускного отверстия печи Милош остановился,

вытер лицо рукавом брезентовой спецовки, посмотрел вниз. Полумрак окутывал цех. В воскресный день работала только мартеновская печь, и на литейных пролетах никого, кроме разливщиков, не было. Вдруг Милош заметил у лестницы, ведущей в литейный, длинную тень. «Неужели Пекса? Что могло в воскресный день привести механика в цех?..»

Милош спустился вниз. Обойдя разливочные ковши, он столкнулся с механиком — высоким, узким в плечах, но крепкой кости человеком с продолговатым лицом. Сквозь стекла пенсне глядели внимательные серые глаза. Пекса вынул из внутреннего кармана пиджака пачку бумаг, подал юноше.

— Старший друг просил сегодня же раздать. Тебе поможет Ярослав Копта, можешь ему довериться.

— Копта? — шепотом переспросил удивленный Милош.

— Он научит тебя не только варить сталь...

Пекса неторопливо направился к выходу из цеха, а Милош побежал к раздевалке. В тот момент, когда он незаметно обогнул печь, у задней ее стенки, ругая на чем свет стоит запропастившегося подручного, уже орудовал сам сталевар Копта. Через минуту металл по наклонному желобу устремился в ковш, разбрызгивая во все стороны искры.

В раздевалке никого не было. Милош воспользовался этим, чтобы узнать, что же поручил так срочно раздать Старший друг, человек, о котором даже сдержанный Ладислав Пекса говорил с нескрываемым восхищением. Это были прокламации, размноженные на гектографе. Начав читать верхний листок, юноша уже не мог оторваться. Вдруг ему показалось, что кто-то приближается к дверям. Милош поспешил спрятать прокламации и выбежал из раздевалки. На пороге он столкнулся с Коптой.

— Шляешься? Хочешь бракованную плавку?

— Есть люди, которые похвалили бы вас за такую плавку?

— Какие люди? — насторожился сталевар.

— Которые верят вам и поручили распространять вот это...

23 июня пришедшие на утреннюю смену рабочие нашли в маленьких шкафчиках для одежды, в фурмах вагранок, в литейных формах листовки. Одни смело, другие с опаской, но все литейщики читали прокламацию:

«Соудружки и соудрузи!

22 июня, в три часа пять минут начался последний акт нацистской политики, начались последние дни нацизма. 22 июня фашисты напали на святую для каждого трудового человека землю — на великое социалистическое государство.

Не молитвами и не заклинаниями ответим мы на это новое, самое большое преступление гитлеровского рейха. Партия рабочего класса, партия борьбы призывает народ начать повсеместную, ожесточенную, ежечасную войну против оккупантов. Священная борьба за свободу нашей страны должна разгореться на всех ее просторах, на всех наших заводах, полях, железнодорожных путях, во всех городах и селах. Все мы плечом к плечу, без колебаний, без страха перед собственными жертвами, без милосердия к врагу должны выступить против гитлеровских оккупантов. Все!!! Тот, кто в эту минуту пытается устраниться от борьбы, тот изменяет народу, тот не имеет права решать его будущее.

В бой! Каждый гражданин Чехословакии — солдат антигитлеровской коалиции. Пусть удар за ударом падает со всех сторон на фашистских извергов, чтобы они ни на минуту не чувствовали себя спокойными, чтобы повсюду — в городе и деревне, в горах и лесах окружала и преследовала их наша ненависть.

Саботируйте все военные, продовольственные и административные мероприятия фашистов. Разрушайте, уничтожайте, сжигайте все, что необходимо для ведения войны. Сделайте невозможным каждое движение оккупантов по нашей территории. Боритесь с находчивостью, решимостью и силой, достойными народа гуситов!

«Не бойтесь врага, не глядите на его численность... Бейте, не щадите врага!»

Этот боевой клич полководца наших предков, вождя таборитов Яна Жижки, мы поднимаем, как знамя мужества и чести.

Тот, кто сегодня продолжает только произносить горькие слова обвинения и не подкрепляет их действием, тот подписывает себе и своим семьям приговор позора и смерти. Тот, кто сегодня помогает советскому народу, тот спасает свой дом, свою страну, тот приближает победу над фашизмом.

Выше головы, соудружки и соудрузи! В бой вступила армия правды и непобедимой силы, армия надежного, могучего друга и брата — советского народа. Он один способен, он один может, он один хочет спасти нас от вечного рабства, от гибели. И он спасет!»

2

В ранний вечерний час по Летецкой улице, уходящей к северным окраинам Праги, шел, прихрамывая на левую ногу, пожилой господин с густой курчавой бородой, в роговых очках. Вид у него был усталый. Казалось, нет у него сейчас иных желаний, как только добраться до жилья, снять с себя плащ, шляпу и растянуться в кресле. Напротив дома № 11 господин остановился, оперся на бамбуковую палку, закурил. Будто невзначай, он взглянул на окна под самой крышей.

«Напрасно надеялся на встречу, на отдых,— подумал он, увидев на балконе пятого этажа наброшенный на перила цветастый ковер.— Опять наведались, возможно, и теперь дожидаются. Не дождетесь!» — И снова бамбуковая палка застучала по тротуару.

Минут через пятнадцать он вышел из темной каштановой аллеи и сел в трамвай, шедший в другую часть города, на противоположный, восточный берег Влтавы.

На задней площадке трамвая было тесно и душно. Но никто из пассажиров не пытался войти в просторную середину вагона, где находились двое немецких офицеров. Они вызывающе громко разговаривали, бесстыдно шутили, разглядывая проходивших по тротуару женщин.

— Дайте господину пройти в вагон,— сказала девушка-кондуктор, обращаясь к пассажирам.— Не видите, что ли? У господина, наверно, протез...

— Не беспокойтесь, мне и на площадке хорошо,— сказал новый пассажир и подал девушке деньги на билет.

Своим отказом он вызвал симпатию у толпившихся на площадке. Высокий чех в форме железнодорожника, крепкой рукой поддержав вошедшего, шепнул: «Правильно. Будь я даже без двух ног — ни за что не сел бы рядом с ними».

Пожилая женщина, которая примостилась на чемодане в самом углу, поднялась и предложила новому пассажиру свое место.

— Здесь не так удобно, но все же...

— Спасибо, паии, я привык, мне не трудно постоять. А вы куда собрались в такое время с чемодаиом?

— В деревию, менять платья на продукты,— вздохнула женщина и пожаловалась: — Даже маргарин перестали выдавать по карточкам. Что же делать? Не покупать же масло на базаре, когда килограмм стоит восемьсот крои!

— Без масла трудно, конечио,— вставнл слово парень в поиошениой кепке.— Но, скажите, откуда силы возьмутся, чтобы выстоять за стаиком двеиадцать часов, еслн иа всю неделю выдают два килограмма хлеба! А сигареты? Моей месячиой зарплаты едва хватило бы, чтобы каждого нз вас угостить двумя сигаретами.

— Скоро не будет за кого и замуж выходить,— рассмеялась коидукторша.— Немцы всех наших чешских парией инщнмн сделают.

И, вопреки строгому прнказу властей объявлять остаиовки сперва на иемецком, а затем на чешском языке, девушка объявила остановку только иа чешском.

Один офицер вскочнл н с угрожающей браиью подался к девушке, ио другой, увидев через окно гостииицу «Париж», поспешил увлечь своего спутника к выходу.

— Поезжайте дальше, я вам два раза н только поиемецки объявлю остаиовку: «Крематорий»,— крикиула им вслед девушка.— Там ваше место!

Площадка опустела. Чехи, посмеиваясь, рассаживались в вагоие. Парень в кепке подсел к кондукторше и бесцеремоиио смотрел ей в лицо, вспыхиувшее от удовольствия, что парень любуется ею. Трамвай троиулся, иабирая скорость. Виезапно вагоиовожатый резко затормозил. Сквозь раскрытые окна донесся гулкнй, иеприятио скрипучий голос диктора берлинской радиостаиции:

«День иазад мы говорили о русском отступлении. Сегодия русские перешли в беспорядочное бегство».

Вагоновожатый рваиул трамвай вперед. Он давал непрерывиые пронзнтельные звоики, чтобы заглушить

голос из громкоговорителя. Старая чешка, обращаясь к соседям по вагону, взволнованно повторяла:

— Что же будет?.. Неужели и вправду им нет преграды? Неужели они весь мир проглотят?

— Подавятся! — ответил железнодорожник, а пассажир с бамбуковой палкой кивнул, подтверждая слова рабочего.

Вскоре прихрамывающего господина можно было увидеть на мосту Легионеров, вблизи Национального театра. Он облокотился на перила моста, вытянул шею, смотрел на зеркально-спокойную гладь Влтавы. Его покатая спина словно прислушивалась к тому, что происходило посередине моста.

По мосту степенно шагали двое чешских полицейских в темно-синих мундирах и черных брюках, заправленных в сапоги с высокими голенищами. Один из них, молодой и рослый, размахивая руками, громко говорил:

— Неслыханно! На всех заводах прокламации. С ног сбились с самого утра, а кто — неизвестно. Приволокли в гестапо людей со всех районов города, никакого толка. Кажется, они действительно не знают, кто печатал, кто принес.

— Как они это делают? — продолжал словоохотливый, падкий на сенсации молодой полицейский.— Час назад прокламации появились на самой Вацлавской площади, в кино и даже в трамвае...

— И чего ты разболтался,— строго заметил старший.— Сказано тебе: задерживать всех подозрительных — выполняй, найди, кого следует!

— Легко сказать «найди»! Из гестапо поступили сведения, что на Высочанах действует какой-то Старший друг, на Смихове,— Светозор, а на Виноградах обнаружены следы какого-то Учителя. Бог их знает, сколько этих неуловимых!

Полицейские подошли к господину, облокотившемуся на перила моста.

— Ваши документы!

Господин обернулся:

— Сию минуту.

Он порылся в боковом кармане, подал кирпичного

цвета продолговатый паспорт с надписями: слева — на немецком, справа — на чешском языках. Молодой полицейский прочел номер — 19719, потом сличил фотографию с человеком. Да, совпадает: та же курчавая борода, тот же взгляд. Полицейский перевернул листок. На четвертой странице, поверх синего оттиска указательного пальца, стояло: «Родился 25. 7. 1893 г. в городке Мельник, прописан в Праге, живет Прага XIV, На долинах, 25. Рост средний, волосы темно-каштановые, глаза карие, нос нормальный, борода густая, губы симметричные, зубы пломбированные...»

— Открой рот! — строго приказал молодой полицейский, а другой, взглянув на печать полицейской дирекции Праги, охладил напарника:

— Брось! Видишь же — все в норме. Пойдем!

Молодой, прочитав графу «профессия», чуточку смутился и возвратил паспорт.

— Простите, пан профессор, знаете — служба...

Профессор отвернулся от полицейских, выждал, пока они отошли к левому берегу Влтавы, а сам направился к правому. «Скоро начнется комендантский час, ночной пропуск просрочен, задержишься, пан профессор,— обращался он к самому себе,— и тебе больше не повезет, как вот сейчас... Куда пойти? За неделю провалились три явки, гестапо каждую ночь устраивает облавы, прочесывает то улицу, то целый район. Почему именно сегодня они пожаловали на квартиру, ведь знают, что почти год не был там. Не провокатор ли?.. Нет, никто не мог знать, что жена захочет увидеть мужа, записка была положена в условленном месте, а шифра нашего никому не разобрать. Как она переживает сейчас! Наверно, боится, что я не замечу сигнала об опасности. Умница, успела же вывесить наш старенький добрый ковер...»

В трех шагах большое кафе. Через распахнутые двери и окна вылетали на улицу звуки джаза, пахло острой вкусной пищей. У профессора во рту появилась обильная слюна, в последний раз он поел накануне в полдень. «А если зайти?»

В этом кафе он когда-то встречался с товарищами, сюда, как и в другие многочисленные пражские кафе,

сходились артисты и ученые, композиторы и писатели, художники и журналисты. По давней народной традиции кафе Праги были своеобразными клубами и читальнями. В них устраивались деловые и дружеские встречи, велись горячие дискуссии. В кафе «Метро» собирался актив пражской коммунистической организации. В кафе «Унион» столик, за которым любил сидеть Карел Чапек, окружали литераторы. Они спорили, читали друг другу стихи, пьесы, главы из романов, а старичок-кельнер ходил от одного писателя к другому, с толстой записной книжкой, куда Чапек и его друзья заносили свои мысли, афоризмы, шутки, переходившие потом в народ. Были в Праге концертные кафе, кафе для чтения, где можно было найти газеты многих стран мира. А теперь... Оккупанты закрыли большинство кафе, организовали в них мастерские по изготовлению чертежей для военных заводов. В оставшихся кафе общественная жизнь прекратилась, некоторые из них предназначены только для немцев, да и остальные заполнялись преимущественно ими. Каждый посетитель-чех мог привлечь внимание агентов гестапо. «Зайти сейчас — поставить себя под угрозу, погубить начатое с таким трудом дело. Нет, профессор, ты уж лучше забудь о еде и тепле и поворачивай отсюда...»

Он прошел по гранитной набережной до площади Крестоносцев и свернул на Карлов мост. Тридцать каменных и бронзовых статуй возвышались над перилами по обеим сторонам старинного моста. Около статуи святого Яна Непомуцкого, к которой еще не так давно приходили на поклонение тысячи верующих, профессор остановился, задумался, где искать ночлег. «Недалеко дом Новотных. Туда? Пожалуй, туда».

Узкий переулок вблизи Малостранской площади был безлюден. Профессор подошел к двухэтажному дому, позвонил. Тишина. Он еще раз позвонил. На лестнице раздались гулкие шаги, дверь приоткрылась, послышался низкий, грудной голос:

— Кого угодно?

— К вам, пани Новотнова.

— Кого имею честь видеть?

— Ярослав Горак, профессор. Мне нужно с вами поговорить. Люмир и Милош дома?

— Нет, Милош в ночной смене, Люмир в отъезде, в деревне.

Женщина колебалась: пригласить незнакомца войти или отказать под каким-нибудь предлогом? Откуда он знает сыновей? Милош и Люмир никогда ничего не говорили о профессоре с таким именем...

— Не находите ли вы, пани Новотнова, что на улице неудобно разговаривать?..

— Конечно, конечно, войдите.

Они поднялись на второй этаж, вошли в гостиную, обставленную массивной старинной мебелью. Высокая, полная, лет шестидесяти женщина, в темном, длинном, с закрытым воротом шелковом платье, оттенявшем все еще красивое с благородным овалом лицо, всматривалась в человека, снявшего плащ и шляпу. Что-то знакомое блеснуло в его глазах.

«И голос как будто знаю, и глаза, но ведь я в первый раз его вижу. Что за напасть!» Ей стало неудобно, что человек, опирающийся на палку, все еще стоит.

— Присядьте, прошу... Простите, к старости память слабеет, никак не могу припомнить вас...

— Неужто, пани Новотнова, вы забыли, кого на Смихове называли курносеньким актером?

— Юлиус Фучик? Живы!

Она подбежала к нему.

— Родная матушка и та не узнала бы вас!

— Все возможно. С такой пышной бородой мама меня еще не видела.

— Вы давно были у нее? Как ее здоровье, отца, сестер?

— Прошлым летом виделся с мамой в Хотимержи. Она болела, и Густина полгода жила с ней. К зиме Густина возвратилась в Прагу и по дороге отвезла маму в Пльзень. Сам хотел узнать, нет ли оттуда писем, но мне долго нельзя было показываться на свою квартиру. Сегодня, наконец, жена назначила мне свидание. Прихожу, и представьте себе, пани Новотнова, другие кавалеры подоспели раньше меня.

— Вы все шутите!

— Отчего же не шутить, если с незапамятных времен полиция души во мне не чает! Не забыли, пани Новотнова, как полицейский прибежал меня проверять, когда мне от роду, говорят, было минут сорок или час, не больше? Чувствовал, вероятно, что возмутитель законности родился...

Хозяйка не могла удержаться от смеха, вспомнив историю, свидетельницей которой она была и о которой долго говорила и Душкова улица, и чуть ли не весь рабочий район Смихов на пражской окраине.

...Только Юльча появился на свет, счастливый Карел Фучик слетел с верхнего этажа вниз, чтобы сообщить друзьям по заводу, что Мария осчастливила его мальчиком. Выбежал из подъезда и наскочил на полицейского.

— Сын у меня! — поделился он радостью с блюстителем порядка.

Тот почему-то не поверил, поднялся на пятый этаж и, убедившись, что Карел его не обманывает, потребовал:

— Ставь дюжину пльзеньского, чтобы твоему сыну иметь со мной хорошие отношения...

Нет, не забыла этого Божена Новотнова, ничего не забыла из детства Юлека.

Когда ему исполнилось два с половиной года, он впервые вышел на сцену смиховского рабочего театра оперетты, где после дневной смены выступал его отец, Карел Фучик. Маленький любимец публики, Юлек играл роль принца в сказке «Золушка, или Хрустальный башмачок».

Большой удачей Юльчи была роль Цедрика, маленького лорда в одноименной пьесе, созданной по мотивам популярной детской книжки. В этой роли семилетний Фучик выступал даже в Берлине, перед чешскими рабочими. Темпераментная игра Юльчи покорила зрителей. Они преподнесли ему лавровый венок, а в местной чешской газете писали: «Благодарим маленького Юльчу Фучика за прекрасную игру и желаем ему, чтобы всю свою жизнь он был тем, кого играл на сцене — другом и защитником бедных».

Накануне войны четырнадцатого года Карел с семьей переехал на запад Чехии, в Пльзень. Мария Фучикова писала Божене, что Юля поступил в реальное училище, увлекается литературой и журналистикой.

Снова Новотнова увидела Юлиуса в Праге в двадцать первом году. Он приехал учиться, имея в кармане всего 2 кроны 40 геллеров. Перед ней стоял среднего роста, широкоплечий юноша. Лицо мужественное, серьезное, а по-детски мягкие глаза улыбались. Из писем подруги Божена знала, как им тяжело живется. Семья влачила полуголодное существование, и Юлиусу пришлось рано взять на себя заботу о родных. Сперва в Пльзене, потом, будучи студентом философского факультета Пражского университета, Юлиус во время каникул нанимался чернорабочим на прокладку дорог. Вечерами после лекций работал то домашним учителем, то грузчиком на товарных станциях, был спортивным тренером, копал канавы,— не отказывался ни от какой работы, лишь бы учиться.

На юридическом факультете Пражского университета учился ее сын, Люмир. Божене хотелось сблизить сына с Юлиусом. Она надеялась, что прямой, общительный Юлиус окажет на Люмира хорошее влияние. Но ее надежды не сбылись: разные по характеру, по взглядам на жизнь, по склонностям, Юлиус и Люмир невзлюбили друг друга, и Юлиус перестал бывать в ее доме.

После оккупации Праги до Божены Новотновой доходили самые противоречивые слухи: одни говорили, что Юлиус успел уехать за границу, другие, что он арестован. И вдруг любимый сын ее подруги снова перед ней. Как он изменился! С этой бородой, усами, морщинами на бледном лице он кажется лет на пятнадцать старше своего возраста,— ведь ему нет еще и сорока... Зачем маскируется? Зачем скрывается под чужим именем? Кто знает, может быть, его и сейчас преследуют, возможно, к подъезду уже подкрались полицейские...

Она вздрогнула.

— Я найду, где переночевать, не беспокойтесь...—

сказал Юлиус, заметив ее тревогу, и поднялся, чтобы попрощаться.

— Нет, нет, что вы! — испугалась она еще больше от того, что он собирается уйти в ночь, в опасность, когда начался комендантский час. И чтобы сгладить неприятное впечатление, которое могла оставить на Юлиуса ее растерянность, опять усадила его, начала говорить об осложнениях в издательстве после смерти мужа.

— Люмир не помогает?

— Я редко его вижу, ему не до меня...— она почему-то смутилась, поспешила поправиться.— Да и заказов в издательстве почти нет. Разве это работа? Помните, какие роскошные издания выпускала наша фирма, а теперь полиция заставила печатать бланки паспортов.

— Паспортов?! — в глазах Юлиуса блеснуло удивление, а в голосе слышалась крайняя заинтересованность.— И часто их приходится печатать?

— Вчера сдала одну партию, через неделю придется опять. А что?

— Ничего, пани Новотнова.

Он перевел разговор на Милоша. Божена оживилась. Ей было приятно поделиться с Фучиком, какой Милош покладистый, отзывчивый, как он заботился о ней, когда она заболела, а возвращаясь с завода, всегда старается помочь в типографии, никогда не забывает ласково побеседовать с матерью.

— Я думала, Милош будет со мной при издательстве, научила его набору и бухгалтерии, но Пекса сказал, что Милоша могут угнать в Германию, если не будет работать на заводе. Тяжко ему у мартеновской печи, исхудал, вытянулся. Вы сколько лет не видели Милоша?

— Столько, сколько не был у вас, пани Новотнова, лет десять, наверное.

— Почему вы от меня скрывались, не заходили? Ну, с Люмиром не ладили, а я...

— Как видите, скрываюсь от самого Юлиуса Фучика, не только от знакомых. Счастье, что товарищи нашли бланк паспорта и перекрестили меня в про-

фессора Горака. Другие и днем выйти на улицу не могут...

С той минуты, как Божена Новотнова сказала о бланках, Юлиус думал о том, как хорошо было бы получить с десяток незаполненных экземпляров. Новотнова поняла, что он хочет о чем-то ее попросить, но не решается.

— Вы уже вторично заговорили о бланках. Не могу ли я помочь?

— Нет, пани Новотнова. Все это не так просто, как может показаться. Вы способны своей добротой спасти других, но ваша жизнь окажется в опасности. Вы представляете себе, что значит помогать коммунистам?

— Коммунистам?!

Сколько желчных слов она слышала по их адресу от мужа, выросшего в богатой чешской семье, а затем от Люмира и его друзей-юристов. Они твердили, что коммунисты хотят разрушить европейскую культуру, уничтожить лучшие творения человеческого гения, что они являются противниками всякого благополучия и хотят сделать людей нищими. Но, если хоть доля истины имеется в этих обвинениях, тогда почему же враги культуры — фашисты — самым жестоким образом преследуют именно коммунистов? Почему сын ее подруги Марии и Ладислав Пекса — люди, выросшие, как и она, в рабочих семьях, почему они связали свою судьбу с коммунистами?

Нет, не могут люди, подобные Юлиусу Фучику, подобные Пексе, быть врагами культуры и счастья народа.

— Я сделаю для вас бланки паспортов,— сказала Божена.

Он смотрел на нее с ласковой грустью, как смотрел при прощании на мать.

— Достаточно одному человеку с вашим бланком попасть в гестапо, как полиция сможет найти следы в типографию. Тогда неизбежна тюрьма, даже расстрел. Я не могу просить вас, не могу рисковать вами. Вы мне в Праге когда-то заменили мать, а мать под расстрел сын подвести не может.

Она ничего не ответила, пошла готовить постель гостю в комнате мужа, куда никто обыкновенно не заходил.

На следующий день Юлиус поднялся очень рано и удивился, застав Божену Новотнову на ногах. Лицо ее было бледным, усталым. Она сказала, что плохо спала, и пригласила его к завтраку. Провожая Юлиуса через черный ход, Новотнова сунула ему в руку какую-то пачку. Он попытался отказаться, думая, что это деньги, но она укоризненно зашептала:

— Не для вас это,— для других. Идите же! — и закрыла за ним дверь на замок.

В нагрудном кармане Юлиуса лежали чистые бланки паспортов. Всю ночь своими старыми больными руками Божена Новотнова печатала их для его друзей.

БОЛЕЗНЬ

1

Панкрац в дни оккупации был самым мрачным из всех районов Праги. Тюрьма и серые громады зданий придавали угрюмый вид безлюдным улицам, то спускающимся вниз, то подымающимся вверх. Казалось, чехи навсегда оставили эти кварталы, облюбованные оккупантами для своих зловещих учреждений.

У центрального подъезда одного из зданий вытянулся ряд легковых автомобилей. Вооруженные эсэсовцы тщательно проверяли пропуска. По тротуару расхаживал усиленный военный патруль. На эту улицу не заглядывали даже полицейские: главе учреждения, генералу войск «СС» хватало своей личной охраны, далеко вокруг она навела эсэсовский порядок.

В окнах всех ближайших домов по приказу генерала днем и ночью были опущены шторы. Жители не имели права открывать форточки.

В небольшой комнате на четвертом этаже одного из этих домов, в квартире технического служащего земской управы Павла Бакса, лежал больной Юлиус Фучик. Здесь, в каких-нибудь ста метрах от врага, он

чувствовал себя в большей безопасности, чем в любом другом районе Праги. В этой квартире он после возвращения из Хотимержи безвыходно провел шесть месяцев, успев отрастить себе пышную бороду и усы. Они настолько изменили его облик, что даже Густина в первый момент встречи не узнала его.

Долго и тщетно Густина искала паспорт для Юлиуса. Пришлось пойти на крайность. Жена Павла Бакса, учительница Йожка Баксова, решила украсть у когонибудь удостоверение личности. Однажды ей в суголоке вокзала представился такой случай. К кассе подошел пожилой господин. Держа раскрытый бумажник в левой руке, он нагнулся к окошечку, назвал станцию и подал деньги. Йожка заметила краешек паспорта, который выглядывал из бумажника. Посмотрев через плечо господина в окошечко кассы, как бы желая что-то спросить, она незаметно вытянула паспорт. Торопясь домой, Йожка даже не раскрыла его по дороге. Каково же было огорчение, когда дома Густина обнаружила, что владелец паспорта по фамилии тоже Фучик.

— Ну что ж,— рассмеялся тогда Юлиус,— будем благородными людьми и отошлем документ моему однофамильцу.

Вскоре товарищи достали ему паспорт на имя профессора Ярослава Горака.

Покинув Баксов, Юлиус решил больше не подвергать их опасности. Но вечером того дня, когда он ушел от Божены Новотновой, его стало лихорадить, температура резко поднялась, и он вынужден был снова воспользоваться жилищем Баксов.

Это было словно во сне: трамвай, патруль, который надо было незаметно обойти, лестница, бесконечно тянувшаяся вверх, звонкий голос... Дальше Юлиус ничего не помнил.

У него оказалось воспаление легких. Словно за родным, ухаживали за ним Йожка и ее сводная сестра — девятнадцатилетняя Лида Плаха. Маленькая порывистая, с быстрыми энергичными движениями, Лида успевала повсюду. Она смотрела за Юлиусом, готовила обед для него и для Баксов, занятых днем на работе,

ходила на репетиции в театр и время от времени встречалась в условленном месте с Густиной. В одну из этих встреч Густина передала для Юлиуса книгу. «Она дорога ему, как жизнь,— сказала Густина,— береги ее».

Увидев книгу, Юлиус забыл о болезни. Круто вверх от переносицы ринулись его густые брови, что-то шептали четко очерченные губы, а в глазах загорелся такой восторженный свет, что Лида не выдержала:

— Какой это язык? Что это за книга?

— Это язык революции, Лидочка, это история Коммунистической партии Советского Союза! Мы сейчас будем переводить!

Юлиус попросил писать под его диктовку, и Лида, забыв, что нельзя утомлять больного, села к столику.

Юлиус переводил сравнительно легко, но все же часто заглядывал в словарь, выискивая более близкое к оригиналу, более точное слово. За час он перевел две печатные страницы. С каждой строчкой ему становилось хуже. Услышав его прерывистое дыхание, Лида испугалась:

— Что я наделала! У вас снова высокая температура. Я схожу за доктором!

Юлиус запротестовал, но Лида настаивала на своем.

— Густина просила меня вызвать к вам доктора, в Праге немало честных, и вы лучше нас знаете, кому можно довериться. Вспомните адрес, прошу вас, я буду осторожна. Ну, что же вы молчите?..

Со слезами на глазах она так настойчиво просила, умоляла его, что он, наконец, согласился и дал ей адрес.

Лида съездила в район Прага-Подол и через час ввела в комнату врача.

Врач был крайне удивлен: пациент улыбался ему воспаленными глазами и смотрел на него, как смотрят на старого приятеля.

— Могу я узнать ваше имя? Девушка не пожелала мне его назвать.

— Так и полагается, друг мой. А ты, неужели ты забыл старого товарища?

Врач сделал шаг к больному:

— Я вас впервые вижу!

— Впервые? Впервые видишь такого бородача?! Ну, что я сделаю, если бог ко мне несправедлив. Распределяя наследство Маркса, он маленько спутал и, вместо марксова ума, сунул мне марксову бороду... Правда, теперь это очень кстати,— полиция не узнает. Но друзья! Неужели и ты?!

— Юлиус! — воскликнул врач, обнимая больного.— Разве приходят люди с того света?! Мы ведь считали тебя погибшим!

И, как в былые годы, врач услышал полный бодрости голос никогда не унывающего Юлиуса:

— Если требует партия, коммунисты могут и воскреснуть.

2

Врач дал Юлиусу адрес квартиры, где он ровно через неделю, а если не выздоровеет, то через две, должен встретиться с товарищем, который давно ищет его. Назвать фамилию врач отказался, но Юлиус понял, что речь идет о видном работнике партии.

«Кого же я встречу?» — думал он, перебирая в памяти всех известных ему людей, оставленных в конце тридцать восьмого года для подпольной работы.

21 октября тридцать восьмого года полицейские комиссары реакционного чехословацкого правительства вручили руководителю Коммунистической партии Клементу Готвальду распоряжение о запрете деятельности партии в чешских землях. Полиция стала проводить массовые аресты коммунистов.

Изменившиеся условия потребовали новой расстановки сил. Некоторые руководящие работники, наиболее известные широкой общественности и полиции, по решению Центрального Комитета Коммунистической партии выехали за границу и оттуда продолжали направлять антифашистское движение в Чехословакии. Подпольное центральное руководство было сформировано из людей, не занимавших до того высоких

постов в партии и малоизвестных властям. В подпольный ЦК вошли друзья Юлиуса Фучика: один из редакторов центрального органа партии «Руде право» Эдуард Уркс, член пражского городского комитета Гонза Зика. После встречи с Урксом, когда Юлиус вторично отказался выехать из Чехословакии и доказал, что он принесет партии больше пользы в родной стране, ЦК поручил ему вести работу в общенациональных культурных организациях, в нелегальной и в левой легальной печати.

В первый период подполья Юлиус написал критические работы о чешской литературе, о будителях народа, чей дух никогда не покорялся врагу. Долголетние связи Юлиуса с рабочими Праги, Пльзеня, с шахтерами Кладно и северных шахт помогли ему организовать маленькие, тщательно законспирированные группы, держать на незаметных, но важных участках проверенных товарищей — боевой резерв партии.

В феврале сорок первого года были арестованы члены Центрального Комитета вместе с заместителями, намеченными на случай провала. Не дождавшись появления связного от руководителей подполья, Юлиус понял, какая беда постигла партию. Большинство организаций провалилось, с оставшимися не было связи. Юлиус со своими товарищами из резерва стал искать дорогу к уцелевшим. Они выпустили и распространили первомайскую брошюру, нащупали другую, продолжавшую работать в Праге группу, которая изредка выпускала газету. Но установить связь с руководителем этой группы Юлиусу не удавалось.

«Кого же я встречу? — снова и снова думал Юлиус. Ему мерещились лица то Уркса, то Зики.— Вот кого бы увидеть, вот бы с кем посоветоваться!»

Лежать было тяжело. Болела спина, трудно дышалось в маленькой, тесно заставленной мебелью комнате. «Скорее бы подняться с постели, начать работать, встретиться с новым товарищем и с ним проверить свои мысли и планы восстановления организации, создания ЦК, оживления и расширения подпольной печати. Поймем ли мы друг друга? — беспокоился Юлиус.— Если судить по единственному номеру до-

шедшей до меня за полгода газеты, то у товарища, с которым я встречусь, острый глаз и опытная рука. Но язык — суховат. Товарищ не умеет выигрышно расположить материал, видимо, впервые делает газету. Что ж, возьму на себя выпуск «Руде право». Больше десяти лет — и каких лет! — было отдано ей. Привлеку к работе Пексу и Густину».

Мыслями и сердцем завладел самый близкий и преданный друг, боевой товарищ, с которым он прошел многолетний путь борьбы и любви.

«Густина, милая, где ты сейчас? Почему я не могу тебя увидеть, обнять? Уже, наверно, вечер, ты сидишь впотьмах и думаешь обо мне, думаешь с тревогой и волнением. Или ты ходишь по затемненной Праге и, рискуя жизнью, выполняешь задания партии. А может быть, ты где-то здесь, неподалеку, в районе Панкрац, думаешь с обидой, почему Юльча не разрешает пойти к нему?.. Нет, ты у меня терпеливая, умеешь ждать, когда надо, умеешь поддерживать меня и в борьбе и в творчестве, как никто другой не смог бы. Сколько мы с тобой мечтали о моей первой большой книге! Ты помогала мне собирать материалы, читала первые страницы, была моим строгим и справедливым критиком. А написал я в канун войны всего несколько глав, и те разбросаны по разным городам. Как хочется работать сейчас, страстно хочется! Может быть, попробовать, Густина?.. Мне кажется, я слышу твое одобрение...».

Он надел ночные туфли и пижаму. Шатаясь, сделал три шага к столу.

Настольная лампа осветила его желтое бородатое лицо. Отвыкшие от света глаза нестерпимо болели. Но Юлиус уже жил романом, в котором хотел рассказать о борьбе простых людей за свою свободу и счастье будущих поколений, рассказать о своей большой мечте.

Сверху чистого листа Юлиус написал: «Предисловие к незаконченному роману «Поколение перед Петром». Дрожала рука, и слова на бумаге прыгали.

«Петр! Петруша, я сейчас волнуюсь за тебя. Я думаю о том, как ты родишься, вырастешь, станешь

мужчииой... и однажды задашь вопрос, который будет мучить тебя: как тогда было и как это могло быть? Кажется, что это пронсходило бесконечно давио, скажешь ты, но ведь моя мать н мой отец жили в то время... Рабство и убийства господствовали тогда в Европе. Справедлнвость была уиижеиа, как иикогда прежде, и каждый ломоть хлеба, проглочеиный иа колеиях, должен был казаться горьким, как полынь. Как оии могли это терпеть? Как боролись против этого? Какие это были страиные, иепоиятные, иечеловечиые люди! Человеческая ли кровь текла в их жилах? Человеческие ли были у них нервы? Человеческое ли сердце? Были ли они вообще людьми?..

Быть может, я никогда ие увнжу тебя, мой мальчик. Быть может, никогда не смогу ответить иа твои вопросы и даже не поцелую тебя. Быть может, никогда уже ие увижу твою мать, которая носит тебя, мать, по которой я тоскую в этот вечер, более грустный, чем одиночество. Смогу ли я еще обнять ее? Я сяду рядом с иею, она положит мою руку возле своего сердца, и я почувствую, как ты шевельнулся. Я хотел бы, чтобы ее волосы упали на мое лицо, когда оиа склонит голову и смущенио улыбнется моей радости. Я хотел бы дожнть до тебя!

Каким ты будешь? Будут ли твои глаза смотреть вперед? Пусть они будут у тебя, мой Петр, большими и нежными, как у твоей матери. И ты смотри так же, как она, счастливо и опьяиенио иа красоту, которую встретишь в жизни. Хочу, чтобы тебе никогда не пришлось смотреть так тоскливо, как приходилось ей. Нет! Твои глаза увидят иной мир. Ты никогда не столкиешься с тем ужасом, который окружал иас. Ты иикогда не узиаешь, как тоика была нить, на которой держалась иаша жизнь.

Мы — семена, брошенные в землю, Петр. Это и есть наше поколение. Так мы говорнм о себе. Не все мы прорастем, ие все взойдем, когда прндет весиа. Каждый из тех кованых сапог, который стучнт под монм окиом, может иаступить иа нас, растоптать — случайно лн, из ненависти, или ради того, чтобы насладиться нстреблением,— и мы это зиаем. С этнм живем.

Не думай, Петр, что мы этого боимся. Не все мы взойдем, но не все и погибнем. Выросшие колосья покроют могилы, и люди забудут ужас и скорбь,— лишь урожай человеческого счастья поведает твоему поколению о нас, живых и мертвых.

Я бросаю свое письмо, словно послание в бутылке, в океан времени. Пусть счастливый прибой принесет ее к твоим ногам, и ты прочтешь давние слова о людях таких, какие мы есть. Чтобы ты понял нас, мой близкий и незнакомый. Мой Петр!»

Юлиус отложил ручку. Он долго смотрел на полукруглый абажур настольной лампы. Ему казалось, что он видит на его светло-зеленой матовой поверхности лицо Петра, лица молодых и счастливых людей будущего.

3

На генеральной репетиции Лиду Плаху встретили обеспокоенные актеры. Режиссер мрачно сказал:

— Весь монолог ваш...

Дрожащими пальцами девушка перелистала пьесу, нашла нужную страницу, и будто ножи полоснули тело: две жирные, крест-накрест, красные линии перечеркнули монолог.

Она хотела навсегда уйти из театра. Режиссер и актеры стали уговаривать ее, и девушка решила посоветоваться с Фучиком. Но, возвратившись домой, она его нашла в тяжелом состоянии. После того как Юлиус набросал вариант предисловия к роману, он еще часа два писал новую прокламацию, разоблачавшую лживые геббельсовские сообщения с Восточного фронта. Умственное и физическое перенапряжение пагубно отразилось на больном.

— Беги, Лида, к доктору,— сказала Йожка, встретив сестру.— Завтра надо обязательно предупредить Густину, хорошо бы вечером привести ее сюда, кто знает, что будет...

Сутки прошли в тревоге за жизнь Юлиуса. Врач, пренебрегая опасностью, снова посетил больного.

Лида обегала всю Прагу в поисках лекарств, а во второй половине дня оставила в условленном месте записку для Густины: «Крайне необходима встреча. Вечером жду в театре».

Когда началась премьера, боль и обида снова, как и на генеральной репетиции, охватили Лиду. Трудно было актерам играть в этой пьесе. Там была всем надоевшая затасканная фабула: старый и злой опекун добивается любви семнадцатилетней сироты. Но в заключительном монологе девушки был, хотя робко выраженный, завуалированный бытовой драмой, но все же ощутимый протест против насилия. Во время домашних репетиций Юлиус заставлял Лиду по нескольку раз повторять заключительный монолог, выверял каждую интонацию, каждый жест. «У автора хватило смелости на социальный подтекст, а ты его раскрой. В нем непримиримость к фальши, к мерзости во всех его проявлениях,—говорил Юлиус Лиде.— Не беспокойся, зритель умен, он прочтет подтекст. Но от тебя зависит, как глубоко... А ну-ка еще раз и, пожалуйста, без надрыва. Только гордость и достоинство!»

И когда заключительный монолог зазвучал в ее устах проникновенно и гордо, когда она ощутила, что сможет взволновать зрителя, именно тогда, накануне премьеры, цензор вырвал из ее роли душу — вычеркнул монолог.

В третьем акте Лида Плаха вышла на сцену. Ей казалось, что зал совершенно пустой и играть не для кого и незачем. По ходу действия она села у пианино и безмолвно глядела в одну точку. Отдавшись своим мыслям, девушка и впрямь не слышала, как через полуоткрытую дверь тихо вошел партнер, игравший старика-опекуна, и приблизился к ней. Его рука коснулась ее плеча.

По первоначальному тексту пьесы Лида должна была вырваться из его объятий и сказать, что нет силы, способной сломить волю человека, если он хочет быть свободным. Теперь актрисе оставалось произнести сентиментальную фразу и удалиться в слезах.

Вернувшись к действительности, Лида Плаха под-

няла глаза и в первой ложе, справа от себя, увидела немца в черном штатском костюме. Он не раз присутствовал на спектаклях, этот чиновник геббельсовского отдела пропаганды. Его вид — чопорный и холодный — поразил Лиду. «Это он вычеркнул из пьесы мой монолог!» — мелькнула мысль. Резким движением Лида вырвалась из объятий актера и подбежала к рампе. «Этот немец понимает по-чешски. Он пришел издеваться над нашим бессилием. Но нет, я скажу то, что нужно, и так, как хотел Юлиус!»

В горле пересохло. Несколько мгновений не хватало воздуха. Наконец, Лида заговорила.

— В этом доме прошло мое детство — радостное детство единственной дочери любящих родителей. Но недолго длилось счастье. Во время операции умерла мать, слег убитый горем отец. И тогда,— девушка повернулась к партнеру по сцене,— тогда появились вы! Никогда не верил вам отец, но в свой предсмертный час горе и боль отняли у него разум, и он согласился отдать в ваши руки наш маленький дом и меня на воспитание.

На миг отведя взгляд от актера, Лида увидела темный зал и за напряженной тишиной почувствовала нарастающий интерес зрителей. Голос ее выдавал неподдельное душевное волнение.

— Вы говорили, что меня будет окружать богатство, обещаниями вы стали заманивать меня в золотую клетку. А когда я, глупая, вошла в нее, то дверца захлопнулась, и прутья оказались из толстого ржавого железа. Вы хотите меня убедить, что жить в этой клетке — счастье, что сюда не пробьются ни буря, ни огонь, полыхающий вдалеке. Разве поймете вы, что лучше быть в огне, чем в ваших объятиях!

Перечеркнутый красным карандашом монолог жил, затронул сердца людей.

— Вы надеялись, что я вечно буду молчать, что покорюсь вам. Так знайте: молодость и жизнь даны мне не для этого. Вы пугаете меня, думаете, некуда деваться беззащитной. А я уже перестала бояться вас. Есть добрые люди на земле, я их найду. И скоро вместе с ними приду сюда, чтобы потребовать от вас ответа:

кто дал вам право разрушать мой родительский дом?! Кто дал вам право властвовать надо мною?!

В соседней от немца ложе ломал себе пальцы круглый, как шар, владелец театра. В первый момент он, привыкший слушать монолог на репетициях, забыл о перечеркнутой красным карандашом цензора странице. И вдруг, взглянув на чиновника, простонал: «Бог мой! В какую пропасть влечет меня своеволие девчонки?» Однако приостановить спектакль он не решился. «Чехи перестанут посещать театр, если подниму шум. Им нравится молодая актриса... Придется дать взятку...» И тут он увидел, что цензор быстро вышел из ложи. Он побежал вслед, за кулисы, куда направился озлобленный немец, стал на ходу объяснять:

— Получилось недоразумение... Актриса не была вчера на репетиции, ее предупредили о сокращенном монологе за несколько минут до начала спектакля. Она могла забыть... Поверьте, актриса не виновата, она талантлива, послушна...

— Меня не интересует ее талант,— вскипел немец, но незаметно сунутая в руку пачка крон охладила его.— Возможно, актриса и не виновата, но нам с вами лучше не иметь неприятностей. Увольте ее...

А в затихшем наэлектризованном зале звенел голос Лиды. Ни у кого не оставалось сомнения, что заключительная фраза актрисы — это горячий призыв к действию, к сопротивлению:

— У меня есть душа, гордость, совесть. Вы хотите растоптать их. Знайте же: когда у слабого появляется воля, когда он начинает видеть правду, он становится во сто крат сильнее. Не одолеть теперь меня, никогда!..

Густина Фучикова, ожидая Лиду за кулисами, слышала разговор хозяина с немцем и вслед за ним гром аплодисментов, провожавших актрису.

— Тебя уволили из театра,— сказала она, когда Лида выбежала к ней, раскрасневшаяся, взволнованная и первым большим успехом в театре, и предчувствием опасного объяснения с хозяином.

Накинув на плечи девушке плащ, Густина увлекла ее через запасной выход на площадь.

4

За все дни болезни Юлиус не чувствовал себя так плохо, и Густина ни на минуту не отходила от больного. Йожка и Лида просили ее прилечь, отдохнуть, а она качала головой, что-то невнятно шептала побелевшими, пересохшими губами, и все сидела, и все прислушивалась к прерывистому дыханию мужа.

Ночью голова Густины сонно отяжелела, упала на грудь, но она тут же проснулась, услышав ослабевший, тихий голос Юлиуса.

— Знаете, дети, какую сказку я для вас придумал? О слове, которое путешествовало на радиоволне...

Юлиус бредил. Глаза у него были широко раскрыты, он не узнавал Густину. Он говорил кому-то о странствиях по родине, и она вспомнила, что подобными словами он в юности выражал свою страсть к путешествиям.

— Поезд улетел, а я остался... Я открываю самую мудрую, самую увлекательную и вдохновенную книгу. Я, счастливый человек, иду туда, откуда вышел, иду, чтобы разгадать тайну... Я не привязан к дому, я по-спартански живу тем, что несу с собой, или тем, что нахожу. У меня нет ничего, кроме головы и ног — и этого мне вполне хватает. Я бродяга, классический бродяга... Ненадолго, но бродяга... А вернусь я самым богатым человеком, ибо открываю мир...

Густина влажным полотенцем вытирала его воспаленное лицо, поднимала голову, вливала в рот лекарство, а он все еще не узнавал ее.

— Вы не знаете, сколько я в Киргизии выпил кумыса? Море, Езус Мария, море! И пять баранов съел. Не нравились мне глаза баранов... Почетному гостю — глаза... Тс... с... с... не говорите Густине, что я с Ваврой заблудился. Высота четыре тысячи. Буран. Ха-ха, выбрались, водкой согрелись, Густина не знает, что я пьянчужка...

Густина не могла сдержать душивших ее слез. Обняв голову мужа, прильнула лицом к его густой бороде.

На рассвете кризис миновал, два часа Юлиус спал спокойно. Проснувшись и увидев жену, он поднял исхудавшую руку, пальцами коснулся ее щеки.

— Я знал, что ты придешь, Густина.

— Юльча!..— чуть слышно произнесла она и затораторопилась: — Молчи, не разрешаю тебе разговаривать!

На третий день стало ясно, что сильный организм Фучика превозмог болезнь.

— Что делал в часы разлуки мой дружок боевой? Кого встречала? О чем говорила? Рассказывай, родная! — просил Юлиус.

Густина пожимала его слабые пальцы и рассказывала о подслушанных на улице разговорах, о настроениях чехов, о встречах с новыми товарищами. Она хорошо знала: то, что на первый взгляд иному показалось бы мелочью, может послужить Юлиусу материалом для важных выводов.

— По твоему совету я поехала в Кладно через деревню Унгошть. Зашла к нашему старичку шахтеру. «Добрый день!» — говорю, а старик и его жена отвечают мне: «Два П.» Я растерялась, думаю, что это значит. А они хохочут, обнимают меня, и тут я, наконец, вспомнила. Ведь это ты им в прошлом году полушутливо-полусерьезно порекомендовал заменить обычное приветствие другим, хотя бы, как ты сказал, лаконичным «ПП» — «Працуй помалу». Теперь твое «Работай не спеша» звучит на всех кладненских шахтах.

— Ох, и умницы эти шахтеры! — от души смеялся Фучик.— Я и забыл о прошлогоднем разговоре, а они... Густина, ты сегодня же передашь Пексе, чтобы «ПП» были написаны несмываемыми красками в цехах Колбенки и других заводов, на стенах учреждений, вокзалов, магазинов. Надо, чтобы «Працуй помалу» всюду напоминало чехам, что надо саботировать выпуск военной продукции, срывать все начинания, все приказы оккупантов.

Юлиус увлекся, и тщетны были предупреждения Густины, что ему нужен покой.

— Позови Лиду. Хочу с ней поговорить о делах в театре.

— Лида больше туда не пойдет.

И Густина рассказала ему о случае в театре.

Вскоре Лида принесла больному завтрак. Она поставила тарелку с кашей на ночной столик и хотела выйти. Юлиус остановил ее:

— Подойди, Лида, не смущайся. Умеешь произносить со сцены смелые слова, умей каждому смело смотреть в глаза. Ты выдержала испытание и как актриса и, что еще важнее, как молодой боец. Когда Чехословакия станет свободной, ты выйдешь на сцену не любительского театра, а на сцену Пражского национального театра. Какие тогда роли ты будешь исполнять!

— Мечты, мечты, сбудетесь ли вы когда-нибудь?

— А как же, Лида! Конечно, сбудутся, и еще какие мечты,— дух захватывает!..

ПОДПОЛЬНЫЙ ЦК

В теплый июльский вечер Юлиус Фучик впервые после болезни вышел на улицу. В левой руке у него была та же бамбуковая палка, под правую руку его бережно поддерживала Лида.

— Пройдемся до садика, дочка,— произнес он, поравнявшись с патрулем.

— Конечно, папа, погуляем...

Проходившим мимо оккупантам и в голову не приходило заподозрить в чем-либо пожилого чеха, шедшего рядом с миловидной «дочкой».

Ровно в восемь часов вечера они были у дверей явочной квартиры, о которой врач сообщил две недели тому назад. На звонок вышел худощавый человек средних лет, одетый в форму трамвайщика.

— У вас есть для продажи лодка? — спросил Фучик.

— Я сам любитель гребного спорта, но если вам очень нужно...

В светлой кухне и в комнате, куда Фучика и Лиду проводил хозяин, была идеальная чистота и такой уют, что пришедшие почувствовали себя словно в собственном доме. Их встретила молодая веселая красивая женщина.

— Мария Елинекова,— назвала она себя, подавая Фучику руку.— Иозеф, наверно, сказал вам: придется немножечко подождать.

Иозеф и Мария Елинеки!.. Фучик вспомнил, как в тридцатых годах Иозеф приходил в редакцию «Руде право» со своими любительскими фотоснимками. Его фотографии были выразительны: люди, изувеченные на фабриках; семьи, выброшенные домовладельцами на улицу; безработные у ворот закрытых фабрик. И жена трамвайщика — служанка Мария — уже в те годы была активной коммунисткой. «Значит, и сейчас, в подполье, вы, рядовые коммунисты Иозеф и Мария Елинеки, продолжаете работать. Честь вам и слава!»

Раздался звонок. Мария Елинекова проводила Фучика в соседнюю комнату и села на диван с Лидой.

— Добрый день, соудрузи! — донеслось до Фучика из-за полуоткрытой двери. Он закрыл окна, спустил шторы. В комнату вошли. Фучик зажег свет.

— Человече! Вот ты какой! — воскликнул вошедший, раскрывая объятия.

— Зика?! — Фучик подбежал, обнял товарища.— Какое счастье!

Перед ним стоял Гонза Зика, руководитель пражской городской организации Компартии, член первого состава подпольного ЦК — маленький, круглый, с обычной, чуть печальной улыбкой на морщинистом лице. «Так вот кто выпускал газету после февральского провала! — догадался Фучик.— Вот кто в тяжелые месяцы, несмотря на все происки гестаповцев, собирал вокруг себя уцелевших, восстанавливал организации, ни на день не прекращал борьбы!»

Много лет назад Фучик узнал и полюбил Зику. В двадцать первом году, когда была создана Коммунистическая партия Чехословакии, среди ее первых членов были руководитель рабочей молодежи на фаб-

рике Бати, юный обувщик Гонза Зика и студент Пражского университета, признанный вожак революционно настроенных студентов Юлиус Фучик. Партия ставила их на разные участки работы, но как воды малых рек сливаются в потоке одной реки, так сливались результаты деятельности Зики и Фучика в движении партии пролетариата. Гонзу Зику радовали успехи талантливого журналиста, редактора многих коммунистических изданий — бодрого, веселого Юлиуса, а Фучик гордился внешне флегматичным, скромным Гонзой — инициативным организатором, смелым и решительным в партийных делах. Оба они горячо поддерживали Клемента Готвальда и других ленинцев, разгромивших в двадцать восьмом году оппортунистов в Компартии Чехословакии. А через десять лет оба по личной настоятельной просьбе остались в подполье, чтобы в невероятно трудных условиях продолжать высоко нести знамя Коммунистической партии.

— Что, Юлиус, не ожидал? Да и я даже в мечтах не надеялся тебя увидеть. Ну, как? Не жалеешь, что не послушал Эдуарда Уркса и не уехал в тридцать девятом году?

— Нет, Гонза. И никогда не пожалею. Скажи, почему меня дважды уговаривали уехать? Может быть, я не все знаю?

Они сели рядом. Широкой доброй улыбкой светилось лицо Зики.

— Мы думали, твой отъезд необходим в интересах партии. Помнишь, Клемент интересовался идеей твоего романа. Любопытный был замысел. Верилось, ты создашь правдивую, яркую по художественным достоинствам книгу о нашем поколении.

— Теперь разуверился?

— Не во мне дело, а в тебе. Пишешь, а?

— За три года — три страницы,— признался Фучик. Ему как-то стыдно стало перед товарищем, который вспоминал о его книге в такие дни, когда сам он чуть не забыл о ней, и Фучик добавил оправдательной скороговоркой.— Не тебя убеждать, какое сейчас время.

— Так я и думал: в Праге забудешь о книге, а в Москве закончил бы ее. Значит, действительно были основания советовать тебе уехать.

— Кажется, ты недоволен, что меня встретил?.. Признавайся! Честно!..

Затеплились улыбкой не только глаза, округлые щеки и подбородок Зики, но и лоб, и маленькие уши, и даже складки на короткой шее. Но внезапно что-то смыло улыбку. Зика положил руку на колено Фучика, сжал колено пальцами, точно поставил грань между полушутливым разговором и тем необычайно серьезным, для чего они встретились на явочной квартире.

— После февральских арестов мы все еще действуем на ощупь, твердо не знаем, в каких городах уцелели или вновь созданы организации. До сих пор со многими не установлена связь.

— Объясни, ведь ты был в руководстве с первых дней. Как могли допустить до массового провала? Кто виновен? — спрашивал Фучик.

Глубокие морщины взбороздили высокий лоб Зики. Ему, видно, нелегко было вспоминать о суровейших для судьбы подполья днях.

— Тебе, наверно, известно о заседании ЦК в декабре сорокового года. Мы обсуждали тогда вопрос об усилении конспирации. Не раз Клемент и другие товарищи из московского руководства нашей партии предупреждали нас, что самоуспокоенность части коммунистов, как и наш громоздкий аппарат, облегчают работу гестапо. Некоторые меры организационного порядка были приняты. В самой Праге мы успели заменить много явок, уменьшили число связных.. ЦК помог мне в этом, и наш опыт начал передавать периферийным организациям. Но мы опоздали. Гестапо, видимо, через провокатора узнало о наших мерах и нанесло удар. И только потому, что в Праге мы кое-что сделали для выполнения указаний руководства, ядро организации осталось. Благодаря товарищам, которые были дальновиднее, чем ты, я могу с тобой обсуждать и наши ошибки и наши ближайшие задачи.

Фучик закурил сигарету, стал вышагивать по маленькой комнатке, то и дело останавливаясь возле Зики и выкладывая то, что накопилось у него за долгие месяцы размышлений почти в полном одиночестве.

— «Руде право»! В неделю раз, а может быть, и два раза! Это поможет нам восстановить нарушенные связи, воспитывать новые кадры партии... И воссоздать подпольный ЦК. Немедленно! Время не терпит!

Лобастая голова с пышной бородой пружинисто встряхивалась, точно ставя восклицательные знаки за короткими фразами. В непрерывном движении были тонкие, выразительные пальцы Фучика. Он в деталях разобрал, что необходимо сделать, чтобы довести до совершенства конспирацию от оккупантов и покончить с конспирацией от народа, как приступить к организации общенародного фронта.

Надежды Зики оправдались. Когда он узнал от доктора, что Фучик жив, то побаивался: не увлекает ли Фучика, как это бывало в юношеские годы, та веселая неудержимая фантазия, которая полезна журналисту в газете, но может повредить подпольщику, если его поставить во главе организации? И все же неделю назад он сообщил в Москву, Клементу Готвальду, что рекомендует Фучика в новый состав подпольного Центрального Комитета. «Теперь вижу, что не ошибся в тебе, дружище! Отвага, размах, беспредельная преданность народу и партии счастливо сочетаются в тебе с трезвостью мысли, зрелостью настоящего борца. Душа твоя закалилась, ты за два года подполья вырос больше, чем за два десятка лет легальной партийной работы».

Редко, очень редко Зика открыто выражал свои чувства. Сейчас он не выдержал характера, сказал с оттенком торжества:

— Твой план совпадает с последними указаниями московского руководства КПЧ. Я вдвойне рад за тебя, Юля!

— Почему вдвойне?

— Клемент и все товарищи из руководства одобрили твою работу. Они велели передать, что ты введен в состав подпольного ЦК.

2

Через иесколько дней состоялось заседанне нового состава подпольного ЦК. Кроме Фучнка н Знкн, на явочиую квартиру Елннека пришел третнй члеи Центральиого Комнтета Гонза Чериый — рослый, статный, с темнымн горячнмн глазамн н тонким иосом на подвнжном длнином лнце. О Гонзе Черном рассказывалн легенды, н все онн былн правдой. С шестнадцатн лет — руководитель комсомола в Моравнн. В начале трндцатых годов осужден к тюремному заключеппю. Бежал, учнлся в Москве, возвратнлся под чужнм нменем в Чехословакню н возглавнл комнтет комсомола Пражской областн. С первых дней граждаиской войны в Испании Гоиза Черный создает добровольческую группу пражскнх комсомольцев, сражается в Интернациональной брнгаде, а после пораження республнкн и тяжелого ранення пробнрается из Испаиин во Фраицню, потом в Бельгню. Там его схватнлн фашнсты, приговорнли к смертн, а он опять бежал, чтобы в родиой Чехословакнн готовить вооруженное восстание.

Кто его редко встречал, мог подумать, что этот подтяиутый, быстрый, как электрнческнй заряд, молодой человек обладает завндным здоровьем. Но Фучнк н Зика зналн, что днн трндцатндвухлетнего Гоизы Черного сочтены. В Испаинн ему прострелнлн легкое, Знка проснл, чтобы ои щаднл себя, не носнлся метеором по стране, но Черный не мог, ие хотел думать о себе.

Пять миииут потребовалось Гонзе Чериому, чтобы доложнть товарищам, какне меры прннимаются для уснлеиия саботажа и днверснй. Пылко, так что каждый мускул играл на лнце, говорил он о том, куда направнть силы партнн, чтобы в нужный день и час быть готовымн к вооружеиной схватке с оккупаитамн. С искрометиой жнвостью рассказал о коммуннсте ниженере Штанцле.

— Я посоветовал ему остаться хозяииом иа его фабрике-малютке, чтобы пронзводить необходимые нам боеприпасы н горючее, подобрал ему хнмика.

Вместе они нашли новый метод изготовления взрывчатых веществ. Штандль сконструировал фугасную бомбу замедленного действия. Таких преданных людей мы найдем повсюду.

Обязанности между членами подпольного ЦК были распределены, учитывая их опыт и наклонности. Черному поручили подготовку вооруженного выступления и организацию саботажа. Зике — руководство политической и организационной деятельностью. Фучику — агитационную и издательскую работу партии. Позднее на его плечи легло еще создание антифашистского движения среди интеллигенции.

— Мы должны учитывать,— заметил Фучик, когда закончилось обсуждение организационных вопросов,— что распределение обязанностей между членами ЦК— это скорее распределение ответственности, чем работы. Руководящих кадров крайне мало. Поэтому каждому из нас придется вникать во все, и там, где будет нужда, действовать самостоятельно.

За окном была тревожная пражская ночь. Агенты гестапо и полицейские рыскали по темным переулкам, по подвалам и чердакам. Они выискивали тех, кто надписывал на зданиях «ПП», кто призывал рабочих к саботажу и срывал производство военной техники, оружия, снарядов, кто выпускал газеты и листовки с призывами удесятерить сопротивление оккупантам.

А пока враг неистовствовал в бесплодных поисках, люди, шедшие во главе борющегося народа, размышляли, как поднять чехов на решительный бой.

— Только наша партия существует в Чехии нелегально и действует как крупная политическая сила,— говорил Зика, прохаживаясь по комнате.— У национальных «социалистов», социал-демократов и католиков нет теперь организаций, их группы часто действуют без связи между собой и без ощутимых результатов. Однако часть крестьян, средних слоев городского населения, даже некоторые рабочие еще идут за ними. С этим приходится считаться, если мы хотим создать по-настоящему общенациональный фронт борьбы. Кое-что мы смогли сделать. С нами согласились вести переговоры руководители бывшей социал-демократи-

ческой партии. Но чешские национальные «социалисты» и католики не желают единства. Они вернули себе старое название «Маффия», хотят представить себя чуть ли не центральным руководством отечественного сопротивления и мутят воду. Адвокат Люмир Новотны отказался разговаривать с нашим представителем. Он подпевает своему идейному вождю из Лондона — Бенеш и его лондонское правительство не желают единства нашего народа, и Люмир Новотны повторяет в Праге бенешевские мотивы.

Юлиус пошел рядом с Зикой, соизмеряя свои большие шаги с его маленькими шагами.

— Ничего, Гонза, найду подход к Новотному, заставлю его говорить с нами!

— Он не захочет дверь тебе открыть, не даст и слова сказать. Думаешь, он забыл твою схватку с ним на дискуссионном вечере? Смотри, как бы в полицию не позвонил, чтобы пришли тебя арестовать.

— Не позвонит, он труслив...

Придерживая за локоть приятеля и заглядывая ему в лицо, Юлиус жестикулировал пальцами левой руки, говорил, что он знает Люмира Новотного с детства и по университету и берется найти его слабую струнку.

— Люмир Новотны достаточно умен, чтобы на время забыть о моем споре с ним. В его интересах не потерять влияния в «Маффии», где низы стремятся к единым действиям с нами. Я попытаюсь уговорить его подписать совместное воззвание к народу. А сейчас, друзья, наметим время и место следующей встречи. Уже светает.

3

В сырой подвальной квартире слесаря Крагулика, в рабочем районе Высочаны, Юлиуса Фучика дожидался Ладислав Пекса. В низкой, освещенной крохотной электрической лампочкой комнате вплотную стояли ветхий шкаф, железная кровать и широкий неуклюжий дубовый стол. Пекса показался Фучику необыкновенно мрачным.

— Ты чем-то обеспокоен, Ладя? Неужели сынок все еще в больнице?

— Нет, Юля, он выздоровел.— Пекса плотно затворил дверь, опустился на стул.— Меня изводит моя бездеятельность.

— О чем ты говоришь, не понимаю?

Минуту Ладислав не отвечал. Его прищуренные близорукие глаза были устремлены на кончики пальцев.

— Почему ты меня ограничиваешь одной Колбенкой? — сказал он глухо.— Когда ты советовал мне поступить на завод и восстановить организацию, я понимал, зачем туда иду. А теперь?

Пекса надел пенсне и быстро, желая скорее высказать накопившиеся сомнения, проговорил:

— Стоит ли держать меня на заводе, где уже работают восемь коммунистов? Или я не способен на большее? Или утратил твое доверие?

— Что ты, Ладя, честнейший ты человек! Как у тебя могла возникнуть такая мысль? Тебе нужны масштабы? Изволь, ты их получишь. Только не сразу.— И добавил доверчиво и тихо:

— Мы решили, что каждый член ЦК должен лично подобрать себе заместителя. Тебя я знаю двадцать лет, всегда тебе верил, а теперь верю еще больше. Ты один можешь знать все мои связи, обязан иметь представление обо всем, что я делаю. Не станет меня — тогда ты...

Пекса вскочил, прервав Фучика. Лицо побледнело, глуховатый голос дрожал:

— Зачем ты так говоришь, Юлиус? Я согласен годами работать только на Колбенке, лишь бы не слышать такое.

— Я говорю потому, что мы должны быть ко всему готовы. Речь идет о сохранении руководства на любой случай, чтобы не мог больше повториться прошлогодний провал, когда гестаповцам удалось одним ударом уничтожить и ЦК и резерв.

Пекса понимал, насколько Фучик прав, и запоминал фамилии, адреса, записывал все в самом надежном для подпольщика блокноте — в своей памяти.

— «Руде право» будем выпускать регулярно. Через пять-шесть недель обязательно меняем явки. Это надежная защита от полиции. Учти ошибку первого подпольного ЦК: товарищи применяли для связи растянутую цепь, несколько связных, и это помогло гестаповцам. У меня одна связная — Лида, а ты обучай Милоша Новотного. Он, мне кажется, достоин доверия.

— Безусловно, достоин,— подтвердил Пекса.— На заводе вырос хороший актив. И именно поэтому я прошу дать мне возможность хотя бы помочь тебе в выпуске газеты. Я знаю, как трудно возиться с ней, как тяжело тебе одному.

— Разве я один! — Фучик сидел в своей излюбленной позе: локти упирались в стол, густая борода лежала поверх скрещенных пальцев.— Все члены ЦК занимаются прессой, у нас в стране десятки корреспондентов. К тому же,— ты должен знать и это,— наш старый приятель Курт начал присылать мне важнейшую информацию из Берлина.

На кухне послышались шаги и частый кашель. Пекса раскрыл дверь. В комнату вошел усатый, с опаленным лицом сталевар Ярослав Копта. Он поздоровался с Пексой и кинул вопросительный взгляд на незнакомого бородача.

— Не стесняйтесь, Копта, перед вами Старший друг,— сказал Пекса.

Фучик пошел навстречу сталевару.

— Рад видеть вас, соудруг! — он крепко пожал руку Копте.— Как идет работа при немецком мастере, он не мешает вам?

— Никто не способен помешать, если мы решили делать брак! Достаточно мастеру во время доводки отвернуться от печи, как вместо свежеобожженной извести в печь летит гашеная. Лаборатория не может обнаружить действия сырости на металл, но только сталь попадает под солидную нагрузку, она делается хрупкой и рвется от самых незначительных внутренних трещин...

— А может быть, мастер так же, как и вы, не желает помогать Гитлеру и умышленно уходит во время доводки?

Копта даже руками замахал:

— Что вы! Немец и вдруг с чехами заодно! Не может этого быть.

— А вы присмотритесь к нему внимательно,— не отступал Фучик.— Помните, немецкие патриоты тоже ненавидят фашизм и продолжают бороться...

Он говорил это прищурившись — карие глаза меж густыми черными ресницами усмехались лукаво: «Знать надо человека, чех он или немец все равно — человека, понимаете?» — говорил его взгляд. И вопрос, который он задал Копте, подтверждал, что именно это или что-то вроде этого он и хотел сказать.

— А как литейщики? Вы перестали жаловаться на их пассивность?

«И от кого он узнал, если я только при подручных честил литейщиков за покорность?» — поразился Копта.

— Не жалуюсь и жаловаться не думаю. Но ругать буду на чем свет стоит! — он еле сдержался, чтобы не выругаться.— Нужно и можно отравлять жизнь нацистам на каждом шагу, но с кем? На Колбенке есть твари, которые ползают перед фашистами на брюхе.

Пекса захотел утихомирить сталевара, усадил его, попытался заговорить о другом, но у Копты не на шутку взыграла желчь.

— На что уж больше: мой бывший друг, первый формовщик Колбенки Франтишек Вонасек, и тот потерял остатки стыда и совести. Покажется издали начальник цеха, проклятущий чешский фашист, и Вонасек мчится ему навстречу и пищит елейно: «Пан ведущий инженер, дозвольте доложить...» «Покорно благодарю вас, пан инженер»... И откуда на нашей земле берется такая поганая крапива!

Заострились концы седоватых усов, вздулись бурые вены на шее и кистях сталевара. Он начал успокаиваться лишь тогда, когда Пекса попросил рассказать Старшему другу о находке сборщиков.

Рабочие сборочного цеха как-то невзначай обнаружили в заброшенном складе много готовых деталей

для мощных генераторов, заказанных Советским Союзом еще до оккупации Чехии. Сборщики спрашивали у Копты, что им делать со своей находкой.

Об этом сталевар спросил у Фучика.

— Сколько генераторов было заказано? — живо заинтересовался Фучик.

— Двадцать два, а детали сохранились к восемнадцати генераторам.

— А вам, соудруг Копта, что бы хотелось сделать с деталями?

— Уничтожить, конечно, чтобы нацистам не достались.

— Радикальная мера, конечно,— Фучик рассмеялся.— А не лучше ли спрятать их?

— Спрятать?! Зачем?..— недоумевал Копта.— Кому они нужны?

— Нам нужны и русским товарищам. Понимаете?! Это будет прекрасно, соудруг Копта. После победы колбенцы соберут генераторы, и мы пошлем их в Россию.

Увлеченный разговором, как лучше спрятать детали для генераторов, Копта не заметил, как дверь приоткрылась и в комнату вошел неказистый человечек с узким лицом и быстрыми хитрыми глазами.

— Добрый вечер честным людям! — скороговоркой произнес он, снимая шляпу.

Не успели Фучик и Пекса ответить на приветствие, как Копта вскочил и ринулся на вошедшего:

— Вонасек?!

Еще секунда, и формовщик барахтался на полу, безуспешно пытаясь выбраться из-под грузного сталевара. Копта был уверен, что Вонасек привел гестаповцев и они стоят тут же, за дверью. Внезапно он услышал строгий голос Фучика:

— Остановитесь! — сильные руки схватили Копту, оторвали от Вонасека.

— Бей меня, Коптушка, лупи вовсю! — кричал Вонасек, заливаясь смехом.— Второй раз тебе не дают расправиться со мной...

Пекса помог формовщику подняться, на лице Вонасека он заметил несколько свежих порезов.

— Кто это вас? Где? — участливо спросил Пекса.

— У «Святого Томаша»,— Вонасек назвал известный в Праге пивной бар.— В расправе участвовал мой старый товарищ Ярослав Копта. Но я не виню его. Если бы я думал о нем то, что он обо мне думает, я давно бы сбросил его с Карлова моста в глубокую Влтаву, да еще с камнем на шее.

Фучик поддержал Вонасека за локоть, с сочувствием и милой заботливостью заглядывал в его черные лукавые глаза.

— Простите, что мы не предупредили о вашем приходе Копту, он мог задушить вас.

— Невелика была бы потеря,— отшутился формовщик.— Душа, правда, болит, когда от своих же товарищей крепенько попадает, но в то же время приятно знать, что наши люди научились по-настоящему ненавидеть.

На глазах у Копты происходило чудо — руководители коммунистического подполья говорят с Вонасеком, как с другом, и Пекса обращается к формовщику:

— Колбенцы узнают, сколько вы сделали для них, и еще больше прежнего полюбят вас.

У Копты не осталось больше сомнений. Он шагнул к Вонасеку, обхватил его, приподнял, не зная, как извиниться перед ним, как выразить свое восхищение товарищем, который решился принять на себя труднейшее для честного человека испытание — презрение близких ему людей.

— За что же я хотел задушить тебя, Франтишеку?!

— Раньше мне понятно было, за что. А вот сейчас, за что сейчас вытряхиваешь из меня душу? — продолжал шутить формовщик.

Перед Фучиком стояли кадровые рабочие из тех, кто составляет главную опору партии. Суровый могучий Копта напоминал ему северочешских шахтеров,— во время забастовки они, безоружные, шли прямо на штыки. Совсем иной Вонасек. Он похож на бравого солдата Швейка. Своей острой шуткой Швейк в какой-то степени помогал тем, кто взялся разрушать строй, основанный на рабстве и унижении. «Чехи и

сейчас,— подумал Фучик,— продолжают острить, но при этом борются серьезно и сознательно. Неиссякаемый оптимизм, жизнеутверждающий юмор живут в Вонасеке и в других, похожих на него людях. Но ценнее всего то новое, что появилось в чертах простого человека из народа: смелость, самоотверженность в борьбе, вера в свои силы и в будущее».

На несколько минут Пекса вышел. Он позвал молодого сборщика, который, пока товарищи сходились к Крагулику, дежурил на перекрестке, и поставил его на часах у входа в подвал.

Возвратился Пекса вместе с хозяином квартиры — изможденным, постаревшим после смерти жены и единственного сына слесарем Крагуликом и Милошем Новотным. Юноша вздрогнул, заметив Вонасека. Ему показалось, что он видит во сне и улыбку Ладислава Пексы и виноватое выражение лица обычно сердитого Копты. Но тут же он понял: «Так вот кто бросал стружки цинка в литейные формы! Вонасек! Как трудно было ему действовать в одиночку, выносить открытую ненависть бывших друзей, отрекшихся от него! Хорошо, что о нем знали, его направляли и поддерживали Пекса и Старший друг. Это они дали ему силы играть такую сложную и опасную роль».

Милош оперся о косяк двери и стал слушать.

— В нашем деле удобней всего действовать одному,— говорил Вонасек.— Сам решил, сам выполнил, и никто не поймает. Недавно начальство стало строже проверять отливки. Так что же? Еще хуже для начальства! Раньше я делал брак, который можно было кое-как обнаружить, а сейчас никакой контроль не поможет.

Быстрыми пальцами Вонасек схватил с полочки две тарелки и, перевернув одну на другую, стал демонстрировать, как добивается брака отливок. Переводя глаза с тарелок на Пексу и Фучика, он спросил:

— Недурно, уважаемый профессор, правда?

Очень хотелось Вонасеку услышать похвалу. Но, к его удивлению, Фучик ответил:

— Для вас плохо! Ваш опыт необходимо исполь-

зовать не для мелких уколов. Партии меньше всего нужны теперь кустари-одиночки. Сколько отливок вы сумеете за день отправить в брак? Пять, десять. А если по вашему примеру будут действовать сотни литейщиков, во сколько раз вырастет брак!

— Так как же,— удивился Вонасек,— курсы мне организовать, что ли?

— Да. Вы будете инструктировать людей, которым можно довериться, а они передадут ваш опыт другим. Как раз о массовом саботаже мне и поручено побеседовать с коммунистами Колбенки. Беседу начал соудруг Вонасек. Что ж, остается поблагодарить его и лишь продолжать начатое.

Что является нашим оружием? Гитлеровские агенты с удовольствием наговорили бы нам, что наше оружие не оказывает действия, что оно бессильно, как жало пчелы против танковой брони. И все-таки фашисты смертельно боятся нашего сопротивления. Если семьдесят тысяч чешских железнодорожников «ужалят», подсыпав в буксы песка, то из строя будут выведены семьдесят тысяч вагонов. Если каждый из миллиона чешских оружейников ежедневно станет выпускать на один винтик меньше, это составит миллионы винтиков, которых будет недоставать гитлеровской военной машине.

Фучик не ощущал дотлевающей в кончиках пальцев сигареты — быстрая, нетерпеливая мысль отражалась в его жарких глазах.

— Вы можете сказать: на Колбенке саботирует немало рабочих. Вы можете привести примеры, когда ваши машины выходят из строя, портят нервы гитлеровцев. Это верно. Но разве этого достаточно?!

И Фучик привел по памяти несколько сообщений Советского Информбюро, принятых подпольной радиостанцией.

— Вот это сопротивление, это борьба! Весь народ поднялся — весь! А мы что же в одиночку будем, соудруг Вонасек, или возьмем пример с русских братьев и выступим единым фронтом? ...Пражские рабочие и среди них вы, колбенцы, должны дать свой пролетарский ответ.

Формовщик Вонасек маленьким туловищем подался к Фучику, положил на стол свои жесткие крепкие руки. Эти иссеченные глубокими бороздами рабочие руки готовы были сделать все, что требует партия.

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

1

Дискуссионный вечер, о котором Зика напомнил Фучику на заседании ЦК, состоялся в Праге в тридцать седьмом году. Это было время бурных споров, вызванных выходом книги Андре Жида «Возвращение из России». На вечере, организованном буржуазными партиями в крупнейшем пражском зале «Люцерна», выступил известный уже в то время адвокат доктор Люмир Новотны. Это был крупный, упитанный, с круглым румяным лицом тридцатипятилетний человек. В начале речи его вкрадчивый голос лился плавно, движения рук были мягкими, эластичными. Когда же Люмир Новотны начал доказывать, что взгляды француза Андре Жида на Россию совпадают со взглядами всей европейской интеллигенции, что чех по своей сущности — человек Запада, куда девалась вкрадчивость его тона! Упиваясь собственной речью и ободряемый аплодисментами первых рядов партера, он закончил свое выступление патетическим призывом вместе с Андре Жидом идти «с правдой цивилизованного Запада».

Председатель собрания предложил прекратить дискуссию. Но звонкий голос с галерки заявил о желании высказаться. Внизу раздались крики «Довольно!» Верхние ярусы гремели: «Не закроете нам рот!»

Тем временем Юлиус Фучик уверенно поднимался на подмостки сцены, к трибуне. Не дойдя до нее, начал говорить:

— Более знаменитый, чем писатель Андре Жид, и более образованный, чем доктор Люмир Новотны,— сын польского булочника, гениальный Николай Коперник сказал: «Земля вертится вокруг солнца». Как

сейчас шумят здесь в партере нетерпеливые господа, так шумели тогда — четыреста лет тому назад — церковь и феодалы. Святая инквизиция объявила теорию Коперника ложью и обманом. «Правда с богом и с нами!» — говорили они... Только что здесь выступал адвокат Новотны. Он говорил о двух правдах: Запада и Востока. Удивительно, до чего может довести человека его собственное красноречие! Двух правд не было и нет, доктор Новотны, ни во время Коперника, ни теперь! Есть правда прогрессивного, нового общества и неправда общества старого, реакционного. «Земля вертится вокруг солнца!» — повторяет сейчас весь мир великую истину великого предка. «Правда — в Советской России!» — говорят все свободомыслящие, все честные люди на земле!

Голос Фучика зазвучал предостерегающе, когда он обратился к людям на верхних ярусах:

— Вас и миллионы других чехов устрашают пугалом коммунизма. Чешской реакции, чешским мещанам на руку пасквиль Андре Жида, и они сегодня снова провозглашают: «Запад — наша душа».

Партер загудел. Самоуверенные, упитанные господа, считающие, что им-то в Праге все дозволено, затопали лакированными туфлями, бежали к подмосткам сцены, загалдели возле Фучика, размахивая руками и угрожая стащить его с трибуны. Но молодое, дружное скандирование галерки: «Соудруг Фучик! Соудруг Фучик!» словно окружило его стеной, заставило нахальных господ отступить от сцены. Фучик ждал, широко расставив ноги, сильный и спокойный. Он улыбался верхним ярусам, бросал насмешливые взгляды в партер и, когда гул несколько улегся, продолжал атаковать сидевших в партере господ:

— Вы преклоняетесь перед Западом не потому, что там культура, а потому, что там капитализм. Если завтра на Западе победит социализм, то вы объявите высшей культурой культуру моржей, населяющих льдины Северного Ледовитого океана, и призовете чехов пойти к ним на выучку!

Эти слова вызвали шумные аплодисменты в верхних ярусах и негодование партера. Они завершили

разрыв, который еще в университете произошел между Фучиком и Люмиром Новотным.

С тех пор прошло четыре года, и они ни разу не встречались.

«Не прав ли был Зика, предупреждая, что адвокат не захочет даже впустить меня в дом»,— думал Фучик, подходя к дверям флигеля во дворе дома Новотных. От Божены он еще раньше узнал, что в конце августа ее старший сын вернулся из деревни, где отдыхал три летних месяца.

Фучик позвонил. Он попросил служанку, которая открыла дверь, доложить, что товарищ по университету желает видеть адвоката.

— Войдите,— раздался голос из комнаты.

Он переступил порог.

— Добрый вечер, доктор Новотны!

— Добрый вечер!

Новотны работал за письменным столом. Он повернулся к вошедшему. Перед ним стоял пожилой бородатый незнакомый человек.

— Не произошла ли ошибка? Мне послышалось, что университетский товарищ...

— Юлиус Фучик перед вами, пан доктор.

Он неожиданности Новотны растерялся:

— Простите, не узнал. Да кто узнает! Недаром моя матушка восхищалась вашим сценическим талантом... Прошу садиться.

Фучик опустился в мягкое кресло. Его внимание привлекли лежавшие на столе книги в кожаных переплетах с многокрасочными рисунками. На переплете одной была изображена группа оленей у берега шалуньи-речки. Жемчужные брызги воды падали к ногам животных, над ними склонялись густые кроны деревьев. Рисунок поражал благородством линий, причудливой гаммой красок.

— Кто сотворил это чудо?

Лицо Новотного вспыхнуло от удовольствия. Еще в университете он ценил Фучика как знатока искусства.

— Вы спрашиваете о рисунке с оленями? Это моя работа. А вот отца и деда.

Фучик был искренне удивлен.

— По-моему, в Праге никто не владеет этим искусством.

— Не только в Праге,— самодовольно отозвался Новотны,— во всем мире! Это искусство принесло мировую славу фирме Новотных. Дед передал секрет отцу, а отец — мне. Больше никто, кроме меня, сейчас не владеет секретом производства на коже многокрасочного рисунка глубокого оттиска. Вас интересуют некоторые детали?

— Нет. Секрета вы мне все равно не откроете. Да он мне и не нужен: я богат на своей земле и без него.

— Удивительно, пан редактор, мы начинаем находить друг у друга общие черты. Как сказал наш поэт Сватоплук Чех: «Не ищите счастья за морем, а оставайтесь на своей земле».

— А вы? В чем вы, один из руководителей «Маффии», находите счастье теперь?

То, что Фучику известна его роль в «Маффии», не смутило Новотного. Он догадывался, что Фучик пришел склонить его к переговорам с коммунистами. Не торопясь с ответом, он взял серебряный портсигар:

— Закурите?

— Благодарю вас.

— Полного благополучия, конечно, не может быть при такой тирании,— заметил Новотны.— Но зернышки будущего всеобщего счастья я вижу в том, что все чехи выступают сегодня против немцев. Меня раздражали, выводили из себя прежние партийные распри. Помните, мы с вами ссорились на дискуссионном вечере, даже обидели друг друга. А зачем? Все мы в дни тяжелого испытания оказались хорошими патриотами своей страны. Мораль народа не пострадала. Чех по своему характеру — человек честный, добрый. Я рад видеть,— он повысил голос и эффектно поднял руку,— что каждый чех по-своему воюет против немцев. В этом залог того, что мы победим.

Фучик курил глубокими продолжительными затяжками, стряхивая пепел в придвинутую к нему вычурную пепельницу. При последних словах собеседника усмехнулся, покачал головой.

— Я не совсем разделяю ваш оптимизм, доктор Новотны. Нельзя обувного фабриканта Батю, пристроившему к своей эмблеме четвертый сапог, чтобы получилась фашистская свастика, причислять к борющимся чехам. Невозможно к таким отнести и министров протекторатного правительства, которые каждый день и час предают интересы народа. Но при всем этом в ваших словах все же есть доля истины. Мораль народа действительно не пострадала. Он стремится к активной борьбе. И мы с вами, хотя и расходимся в идейных убеждениях, обязаны возглавить стремление чехов к единству действий против оккупантов.

Фучик заметил, с какой раздражительной поспешностью Новотны выхватил изо рта длинный изогнутый мундштук, но не дал ему перебить себя:

— Я уполномочен Коммунистической партией договориться с вами о создании широкого общенационального фронта борьбы. Пора нам начать действовать активно и вместе, не правда ли, доктор Новотны?

Адвокат попытался уйти от прямого ответа:

— Вы же диалектик, уважаемый, и знаете, что борьба бывает не только активная, но и пассивная. Как прекрасно говорят французы: «От терпения — к звездам». Тактика пассивного сопротивления, испытанная тактика нашей чешской конспиративной «Маффии», оправдалась в войне четырнадцатого-восемнадцатого годов, она оправдается и сейчас. Мы с вами, к сожалению, говорим на разных языках.

— К чему же тогда англичане сбрасывают оружие вашим группам, если вы все еще придерживаетесь тактики пассивного сопротивления?

— Англичане желают нам добра и поэтому сбрасывают нам с самолетов подарки. Придет время — используем. А сейчас нам незачем активно ввязываться в драку. Главное для чехов — минимальные потери в этой битве. Свой маленький народ нам надо беречь!

«Вы ненавидите рабочих, ненавидите коммунистов больше, чем гитлеровцев, и поэтому не хотите идти на временный союз с нами против общего врага,— думал Фучик, глядя с острой настойчивостью в глаза Люмира.— Вы желаете сохранить не народ, а свои кадры —

кадры буржуазной партии. Ваша цель понятна: пусть внутри страны гестапо уничтожает коммунистов, уничтожает рабочих — это вам выгодно: меньше будет противников при развязке, когда вы снова попытаетесь дорваться до власти. А вне Чехословакии? Ваша тактика пассивности подобна тактике империалистов США и Англии, рассчитывающих на ослабление сил Советского Союза, мечтающих о том, чтобы советский народ истек кровью в своем единоборстве с германским фашизмом!»

Люмир Новотны оценил молчание Фучика, как вынужденное отступление идейного противника, и, желая еще более подчеркнуть превосходство своих взглядов, добавил:

— Да, наш маленький народ надо сохранить, особенно цвет нации.

— Вы говорите — цвет нации! Кто же он, по-вашему? — с горечью спросил Фучик.— За четыре месяца гестапо арестовало 21 тысячу коммунистов. Большинство из них без суда и следствия расстреляно на аэродроме в Кобылисы. Может быть, скажете, что это не цвет нации? За то же время арестованы и замучены тысячи интеллигентов — писателей, художников, врачей, инженеров, актеров. Не все из них придерживались коммунистических взглядов. Некоторые входили в ваши группы сопротивления, разделяли ваши взгляды. Но и эти люди действовали активно и потому стали жертвой гестапо.

С каждой фразой, произнесенной Фучиком, Новотны все больше нервничал, без нужды переставлял на столе принадлежности чернильного прибора.

— Еще в университете,— вспылил он,— я не любил вашей агитации, пан Фучик. Тем более не хочу ее слушать теперь. Закончим этот пустой, никчемный разговор. Вы меня не переубедите. Запомните: участники групп сопротивления, возглавляемых нами, не желают единства с коммунистами!

— Неправда! — полусогнутая ладонь Фучика рассекла воздух.— К единству действия с рабочим классом, который представляет Коммунистическая партия, стремятся все или почти все рядовые члены «Маф-

фии». Чехи делом доказывают, что не хотят ограничивать свою ненависть к фашизму только словами. Они начинают понимать, что фашизм будет разгромлен лишь при условии единства масс и наступательной борьбы. Выражая стремление народа к единству, Коммунистическая партия не просит, а требует создания Национального революционного комитета Чехословакии. Мне поручено договориться с вами по основным пунктам нашего совместного воззвания к народу, которое должно быть выработано как можно скорее.

— Какое право вы имеете требовать? — крикнул адвокат, не в силах более сдерживать ярость. Пружинистое кресло словно подбросило его, он вскочил на ноги.— Вы забыли элементарные правила приличия. Советую вам больше не приходить ко мне!

— Мне все же казалось,— Фучик неторопливо поднялся,— что годы оккупации кое-чему могли научить вас, пан доктор. Я ошибся. К вам я больше не приду, в этом можете быть уверены. Но о нашем разговоре будут знать все рядовые члены «Маффии». Мы к ним обратимся с призывом установить единство снизу, без вашего участия. Мне известно, что вы отстранили своего заместителя от руководства именно из-за его желания договориться с нами. Коммунистам нетрудно помочь заместителю устранить кажущееся влияние доктора Новотного. И мы это сделаем!

Когда захлопнулась, зазвенев стеклами, дверь, Люмир Новотны ощутил внезапную слабость и тяжело опустился в кресло.

«Коммунисты способны на все... Как мне быть?»

2

Хозяйка квартиры Анна Ираскова — женщина лет сорока с открытым лицом и чуть тронутыми сединой висками — посмотрела сквозь щель в двери на широкую спину Юлиуса Фучика, склоненную над столом, но не решилась войти. Из кабинета слышалось тиканье часов да приглушенное постукивание пишущей машинки. Не скоро еще Юлиус кончит печатать. Он

готовит весь номер «Руде право» в десяти экземплярах. Ей предстоит передать подготовленный номер Густине, а та разнесет его по всем «техникам». В маленьких подпольных типографиях, на стеклографах и на таких же пишущих машинках товарищи размножат этот номер газеты, превратят десять экземпляров в тысячи.

Когда Юлиус работал, чуткая Анна Ираскова никогда не разрешала себе даже громкое слово произнести, старалась как можно реже открывать двери. Звук машинки не должен дойти до соседей. Хотя кругом жили честные чехи, но лучше не возбуждать любопытства... Кабинет, в котором работал Юлиус, был еще при жизни Алоиза Ирасека сделан звуконепроницаемым. С тридцатого года, после смерти этого известного чешского писателя, в кабинете никто не работал. Анна Ираскова, сноха писателя, входила сюда лишь для того, чтобы смахнуть пыль с книг и рукописей. В годы оккупации она самоотверженно охраняла от гитлеровцев ценное народное достояние — литературное наследство писателя — и даже не всех родственников пускала в эту заветную комнату. И все же Анна отказалась от своего нерушимого правила, как только Юлиус Фучик, которого она знала много лет, попросил выделить комнату для встреч подпольщиков. Ему, единственному человеку, она разрешала перебирать рукописи писателя и работать за его столом.

Юлиус любил этот кабинет — его старинные картины и часы на стене, его мебель, особенно вместительный библиотечный шкаф, на верхних полках которого заботливыми руками Анны были расставлены романы и повести Ирасека, ниже — книги его друзей на чешском, русском и французском языках. Хорошо работалось в этой большой тихой комнате.

Вот и сейчас Юлиус раздумчиво, не спеша и не опасаясь, что его услышат, выстукивал на машинке свою статью в «Руде право».

«Что нового? — вместо приветствия спрашивают люди при встрече.— Что за границей? Какова ситуация на фронте? Когда будет разбит Гитлер? Как будет выглядеть будущая Чехословакия? — такие и по-

добные им вопросы чешских людей обнаруживают их большой интерес к политике. И это хорошо. Но у нас немало людей, которые больше информированы о том, что делается за границей, чем о положении внутри страны. Это уже плохо... Наш боевой участок фронта находится здесь, на нашей земле.

Сегодня вопрос стоит совершенно не о том, за кого мы. В этом наш народ един: против нацизма, за СССР.

Но одной ненависти к врагу и симпатии к Советскому Союзу — мало. Нужно действовать.

Этими словами «Нужно действовать» Юлиус решил назвать статью. Он приводил в ней примеры саботажа, рассказывал о демонстрациях женщин перед закрытыми магазинами в Праге и о демонстрации голодных в городе Подебрады, призывал к забастовкам и к массовым выступлениям против гитлеровцев.

«Станем же, наконец, активными помощниками Красной Армии!» — закончил он абзац.

За его спиной послышались осторожные шаги. Хозяйка остановилась посреди кабинета, держа на подносе чашечку и все еще не решаясь прервать работу Юлиуса.

— Это вы, Анна?

— Да. Принесла вам кофе. Выпейте!

— Спасибо,— Юлиус отпил глоток.— Но, если вы в следующий раз опять положите в мою чашку последний кусок сахара, я навсегда откажусь от кофе.

— Вовсе не последний,— стала оправдываться Анна,— у меня еще припасены три куска, соберетесь втроем — будет чем угостить.— И оттого, что ей пришлось сказать неправду, у нее покраснело лицо и длинная шея.

— Вы неисправимы, на вас и сердиться невозможно. А наказать все же придется: эта газета должна быть сегодня у Густины.

— Сейчас пойти? — у Анны появился настороженный взгляд готового к опасности, но все еще не привыкшего к риску человека.

— Позднее. Попрошу встретить одного товарища. Мы здесь ненадолго задержимся.

— Хорошо, буду его ждать.

Через некоторое время в кабинет вошел молодой человек. Юлиус видел его впервые.

— Ярослав Клекан, или зовите просто Ярдой,— отрекомендовался пришедший.

Ему было лет двадцать шесть. Высокого роста, сухощавый, в светлом, в клетку, спортивном костюме, он выглядел крепким и выносливым.

— Имеете кличку? — спросил Юлиус.

— Нет.

— Подпольный паспорт?

— Не имею. Живу под своей фамилией.— Клекан отвечал по-военному кратко, четко, не спускал взора с Юлиуса.

— Вы хорошо знаете Прагу? Чехию? Какие обязанности выполняли в партии со дня вступления? Какие поручения имели в последнее время?

Ярослава Клекана рекомендовали двое активных подпольщиков. Один из них был с Клеканом в Испании, другой помнил его по годам работы среди молодежи Кладненского горняцкого района. Оба отзывались о молодом товарище как об энергичном, активном работнике. Юлиус считался с этими рекомендациями и передал для Клекана адрес явки, чтобы познакомиться с ним лично. «ЦК решил дать мне в помощь человека для работы среди интеллигенции. Подойдет ли этот?» — думал Юлиус, слушая молодого товарища.

— Вступил в Коммунистическую партию в Унгоште, там я был руководителем молодежной организации. Участвовал в забастовках, в демонстрациях. Потом попросил направить меня в Испанию — в Интернациональную бригаду.

Клекан обстоятельно рассказывал о том, как воевал, как вместе с другими бойцами-коммунистами был задержан на франко-испанской границе и посажен в концентрационный лагерь во Франции, где пробыл больше двух лет.

— Из концентрационного лагеря я бежал в Прагу и здесь встретил знакомого по испанским боям. Таким образом я и оказался у вас.

«То, что Клекан с оружием в руках воевал против фашизма, может помочь ему в подпольной деятельности. Для начала дам ему небольшое поручение, посмотрим, как справится».

— Подпольный паспорт мы для вас достанем. В своем кругу будем называть вас Миреком. В ближайшие дни, Мирек, вы свяжетесь с представителем группы врачей, адрес я вам дам. Пусть сообщит место основной и резервной явки, а также сумму собранных средств для семей арестованных.

— И только? — тоном обиженного, ущемленного человека спросил Клекан.— Такое незначительное задание?

Испытующе смотрел Юлиус на Клекана: «То ли это у него от избытка энергии, от желания сделать больше, то ли от неуравновешенного характера. А может быть, от высокомерия, стремления выделиться среди товарищей чем-то особенным, что проскальзывало в его рассказе о себе? Надо присмотреться...»

— В партии нет мелких заданий! Все значительны, и даже маленький промах в их выполнении может стоить людям жизни. Не забывайте об этом, Мирек, если хотите с нами работать.

Не только новому человеку, но и близким друзьям, с которыми Юлиус работал много лет, он не называл больше одного-двух человек, необходимых для связи, для организации порученного партией дела. Исключение составляли лишь Пекса, Густина да в последнее время Лида Плаха. Сопровождая его почти повсюду, девушка знала все явки и многих подпольщиков. Через неделю она встретилась и с Клеканом.

3

Это было на той же квартире, у Анны Ирасковой.

Открыв девушке дверь, Анна обняла ее, сказала, провожая в кабинет:

— Молодой человек и не предполагает, что осенью увидит весенний цветок.

Лида зарделась и ни за что не хотела войти одна

в кабинет. Юлиус послал ее предупредить Клекана, что опоздает на час. Он не говорил девушке, что представляет собой новый товарищ, и Лида почему-то ожидала увидеть такого же, как Фучик, бородача.

— Познакомьтесь,— сказала Ираскова. — Это к вам пришли от профессора.

— Профессор просил передать,— Лида пыталась говорить официально,— что задерживается по весьма важным обстоятельствам. Ровно в семь он будет здесь.

— Благодарю вас, я подожду.

Анна Ираскова удалилась, оставив молодых людей в кабинете. Клекан присел на краешек дивана напротив девушки. После нескольких натянутых и малозначащих фраз разговор оживился, и скоро Клекан уже рассказывал Лиде об Испании, о Париже. Молодые люди не услышали, как вошел Юлиус.

— Я вижу, Лида, ты с Миреком не скучаешь. Но, как вам ни хорошо, друзья мои, придется немедленно расстаться.

Юлиус приблизился к девушке.

— Сейчас же, Лида, поезжай, в ресторан «Вальдштенська господа»; вблизи него, в известном тебе месте, находится тот, у которого ты была вчера. Предупреди его: сегодня в восемь вечера будут облавы по ресторанам и в смежных с ними зданиях. Не опоздай!

— Лучше я пойду, профессор,— вскочил с места Клекан,— для девушки это слишком опасно.

— Прошу обо мне не беспокоиться,— сухо заметила Лида. Ее рассердил покровительственный тон Клекана.

— Вы, Мирек, еще не отчитались передо мной за проделанное. Это — первое, но не главное,— брови Юлиуса слились на переносице.— Пререкания в таких случаях недопустимы. К тому же Лида лучше любого из нас выполнит это поручение.

Юлиус подошел к двери, придирчиво оглядел девушку, поправил выбившийся из-под ее шляпки локон, улыбнулся ей.

Торопясь к трамвайной остановке, Лида увидела на углу площади легковую машину. За рулем сидел шофер-чех.

— Молю вас, подвезите к Вальдштенськой площади,— голос у нее был жалобный — вот-вот заплачет.— Мне сейчас позвонили, что тетушка при смерти...

Вскоре она оказалась на пустой, полутемной площади, окруженной низкими зданиями. На углу, вблизи ресторана «Вальдштенська господа», Лида заметила нескольких полицейских. От них отделился высокий в сером плаще и вошел в ресторан. Трое полицейских отправились в ближайший двор, остальные скрылись за углом. «Устраивают засаду, во двор уже не пробраться... Туда можно только через кухню ресторана... Остается предупредить старшего кельнера, он найдет способ сказать товарищам».

В вестибюле было мало людей. Когда гардеробщик снимал с Лиды пальто, она заметила высокого в сером плаще, разговаривавшего с очкастым немцем. Оба они разглядывали каждого входящего. «Я, кажется, попала в неловкое положение: сюда приличная девушка одна не зайдет. Придется играть роль...»

Она приблизилась к зеркалу, поправила шляпку, окинула взором вестибюль и медленным шагом вошла в зал.

На этот раз девушка не замечала ни оригинального потолка, ни надписей на плитах стен, в которых была отражена многовековая история ресторана. Старшего кельнера в зале не было. Непринужденно разглядывая людей за столиками, она почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной, и обернулась.

— Вы кого-то разыскиваете? — обратился к Лиде очкастый, прищурив глаза. Девушка поняла, что она уже не сможет подойти к кельнеру: «Я под подозрением, он меня проверяет».

— Да. А скажите, который час? — спросила она по-немецки, решив во что бы то ни стало рассеять его подозрения.

— Половина восьмого.

— Может быть, вы видели молодого капитана в мундире войск «СС»? Он уже должен был быть здесь.

— А я думал, вы одни.

Немец бесцеремонно разглядывал хорошо одетую интересную девушку.

— Одна я никогда не бываю.— Она игриво взглянула на него.— Не придет Фред, я ему смогу отомстить...

— Но чем же, интересно?

— Хотя бы тем, что проведу вечер с вами. Ведь вы не заняты?

— Для такой прекрасной девушки я всегда свободен. Хотелось бы мне, чтобы капитан не пришел.

— Если придет, я уже буду сидеть с вами.

Он раскланялся, показывая ей на столик в дальнем углу. Идя к столику, Лида заметила, с каким пронзительным вниманием очкастый разглядывает присутствующих. «Его дежурство здесь, поэтому он согласился сесть со мной. Но почему нет старшего кельнера?».

— Разрешите узнать, какое вино вы любите? — очкастый предложил Лиде стул, а сам сел лицом к посетителям.

— Вы знакомы с нашей чешской киноактрисой Мандловой? — спросила Лида.— Нет? Ах, жаль. Если бы вы знали, что было на балу в ее честь, который давал на той неделе наместник фюрера Карл Герман Франк. Там подавали настоящее токайское, в нем сладость и огонь!

— Старший кельнер, токайское! — громко крикнул очкастый.

Появился жилистый, с быстрыми движениями чех. Ставя токайское на стол, он подал немцу меню.

— Разрешите, я выберу, мне хочется что-нибудь вкусное.— Лида взяла листок.

Кельнер стоял, полусогнувшись, готовый принять заказ. «Есть опасность, раз Лида пришла сюда... О ее приходе нужно сказать товарищам»,— решил он, но лицо его оставалось бесстрастным, услужливым. «Как удобно было бы сейчас сказать кельнеру два слова,— подумала Лида, изучая меню,— только бы очкастый отвернулся на секунду!»

Немец разлил вино.

— Выпьем за хороший вечер.

Лида, улыбаясь, подняла бокал и в это мгновение увидела на свободном столике букет цветов.

— Да, приятный вечер. Не хватает только цветов. Хотелось бы этот букет получить из ваших рук.— Она глазами показала на соседний столик.

— О, пожалуйста!

Немец поднялся, и только он отошел шага на три, как Лида тихо проговорила:

— В восемь облава! — и стала громко восхищаться букетом, с которым подходил немец.

Старший кельнер, получив заказ, побежал на кухню, а Лида, перебрасываясь с немцем двусмысленными фразами и отпивая маленькими глотками вино, высчитывала: «Сейчас кельнер выходит через черный ход, бежит во двор к соседнему зданию, стучит условно четыре раза в дверь подвала. Вот, наконец, услышали. Гонза Черный посылает человека открыть. Вбегает кельнер, предупреждает об опасности. Черный смотрит на часы. Без трех минут восемь. Он спокойно говорит: «Приготовить оружие; прорываться по двое». Им нужно пять минут, чтобы уйти, пять минут, а через минуту должен показаться кельнер... Немец тоже смотрит на часы, он, видимо, ждет, что ему доложат об удачной облаве. Кто-то идет сюда, должно быть, старший кельнер».

Но в зал быстро вошел высокий немец в сером плаще. Он кипел от гнева.

— Ушли! — прошептали его перекошенные губы.

Очкастый вскочил и, даже не взглянув на девушку, выбежал из зала вслед за сослуживцем.

Лида встала, взяла сумку и медленным шагом направилась к выходу. Проходивший мимо кельнер шепнул ей на пороге: «Скорей!» Гардеробщик накинул на нее пальто, и она выскользнула через парадную дверь.

На улице девушку охватил пронизывающий осенний холод.

Билась мысль: «Удастся ли скрыться Гонзе Черному? Ему из-за больных легких быстро бежать нельзя. Удастся ли исчезнуть его боевикам? У них оружие, они будут отбиваться, если встретят засаду». Лида стремглав пересекла площадь и едва успела свернуть в темный переулок, как раздался выстрел. Она побе-

жала еще быстрее, но услышала, что кто-то догоняет ее. Все ближе топот, прерывистое дыхание человека, который вот-вот настигнет ее. Ноги налились тяжестью, воздуха не хватало. «Сейчас ударят, убьют...» Но вдруг чья-то рука легко коснулась ее плеча.

— Не бойтесь, это я...— услышала она знакомый голос и увидела Клекана.

— Как вы меня напугали...— прошептала Лида. Она вдруг рассмеялась и размеренным шагом, будто гуляя, пошла рядом с Клеканом по переулку.

...Когда Лида ушла, Фучик стал расспрашивать Клекана, как он выполнил свое первое задание. Тот показал себя с лучшей стороны. Он сообщил адреса двух новых явок для связи и передал Фучику пять тысяч крон, собранных группой врачей. Пересчитывая деньги, Фучик заметил, что Клекан волнуется.

— Вы чем-то обеспокоены?

— Думаю о Лиде. Ей не угрожает опасность?

Фучик посмотрел на часы. Половина восьмого.

— Пока нет, но не исключена...

— В таком случае,— настойчиво просил Клекан,— разрешите мне туда.

— Хорошо, идите!

На Вальдштенськой площади Клекан услышал выстрел, раздавшийся где-то по другую сторону гостиницы, увидел на углу переулка Лиду и побежал за ней.

ЗАБАСТОВКА

1

Прямая и длинная Силезская улица, начинающаяся в центре Праги и достигающая ее восточной окраины, в отличие от своего ближайшего соседа, широкого проспекта с гигантским раднодворцом, жила скромно и тихо. На проспекте звенели трамваи, мчались сотни автомашин, в переполненных товарами магазинах с

надписями «Только для немцев» непрерывно хлопали двери, впуская и выпуская крикливых и жадных покупательниц в безвкусных, похожих на солдатские каски шляпах последней берлинской моды. На Силезской улице немцев почти не было видно. С самого раннего утра около магазинов выстраивались длинные очереди. Когда же магазины открывались, оказывалось, что на карточки, кроме хлеба, выдаваемого по мизерным нормам, больше ничего нельзя получить.

В послеобеденный час 16 сентября сорок первого года Анна Ираскова в легкой серой накидке поверх темного осеннего костюма вышла из подъезда дома № 193 по Силезской улице, перешла на противоположный тротуар и не спеша стала прогуливаться до угла и обратно. Со стороны эта невысокая сухощавая женщина не могла вызвать никаких подозрений. Она, казалось, вся ушла в себя, была ко всему безразлична.

Мимо нее торопливо проходили редкие прохожие с усталыми, озабоченными лицами. Проехал ломовик, долго цокали копыта по камням мостовой. За углом со стороны проспекта послышался гудок автомобиля. Анна быстро повернулась лицом к дому. «Если будет малейшая опасность, надо нагнуться и поправить чулок, будто он падает. Лида Плаха следит из окна за каждым моим движением, она даст знать о приближении опасности...» Машина выехала на Силезскую, но это оказался грузовик, да еще с техникой, которая вызывала едкие шутки чехов. Рядом с кабиной торчала черная громоздкая труба. Машина пыхтела, чихала, выбрасывала клубы едкого дыма. Шофер сердито крутил баранку, наверное, в душе ругал фашистов, заставивших его возиться с древесным топливом вместо бензина.

Пока Анна находилась на улице, а Лида следила за ней, в кабинете Алоиза Ирасека шло историческое заседание подпольного Центрального Комитета чехословацкой Компартии.

— Центральный Комитет поручил мне,— отчитывался Фучик,— договориться с руководителями всех групп сопротивления, в том числе, с руководителями «Маффии», о создании Национального революционно-

го комитета Чехословакии, выработать вместе с ними программу этого комитета в форме воззвания к народу. Не буду рассказывать о встрече с доктором Новотным, о ней члены ЦК знают, о ней узнали и рядовые члены «Маффии». Хочу только отметить, что курс Коммунистической партии на объединение всех боевых сил, обращение нашего ЦК к рядовым участникам сопротивления, находящимся вне нашей партии, встречены с глубоким сочувствием и удовлетворением во всех группах. Адвокат Люмир Новотны и его идейные соратники, которые продолжают обманывать своих приверженцев, поспешили спасти остатки своего влияния. По требованию низов они вынуждены были присоединиться к воззванию, выработанному нами, но попытались при этом ослабить важнейшие его формулировки. Это также не удалось им, о чем говорит текст воззвания, который мы вчера вечером подписали.

Разрешите мне прочесть две выдержки из воззвания только что созданного Национального революционного комитета Чехословакии.

Гонза Черный стоял спиной к кафельной печи, запрокинув голову: возможно, так ему легче было дышать больными легкими. Фучик читал:

«Центральный Национальный революционный комитет Чехословакии, как единый верховный орган борьбы за освобождение народов Чехословакии, опирающийся на свободную волю и доверие громадного большинства населения республики и доверие чехословацкой армии и правительства за границей, принял решение провозгласить боевую готовность всех граждан Чехословакии. Со дня опубликования этого воззвания Центральный Национальный революционный комитет Чехословакии принимает на себя всю политическую ответственность за руководство борьбой народов Чехословакии против оккупантов на всей территории республики и проводит подготовку к общенациональной всеобщей стачке и вооруженному восстанию, подготовку к свержению власти оккупантов и всех их органов, включая так называемое протекторатное правительство и так называемое словацкое правительство».

Фучик взглянул на товарищей. Вместе с ними он вырабатывал эту программу. Вместе они боролись за объединение всех боевых сил страны. Они нашли по-

нятные и близкие народу слова и дали ответ на вопрос, кто же должен войти в ряды Национально-революционного фронта.

«Все! Все граждане Чехословакии, полные решимости свергнуть фашистское иго! Сюда войдет любой гражданин Чехословакии, к какой бы партии, к какому бы социальному слою он ни принадлежал, так как перед лицом смерти, которой угрожает нам Гитлер, нас ничто не разделяет, нас все объединяет. Нацизм хочет уничтожить все чешское — все чешское должно подняться, чтобы уничтожить нацизм!»

Готовя воззвание, Фучик, Зика и Черный старались, чтобы оно не было декларативным, чтобы оно давало ясную революционную программу борьбы Национальный революционный комитет призывал всех чехов и словаков повсеместно организовывать единые Национально-революционные комитеты, повсюду создавать вооруженные отряды революционной гвардии как боевые органы вооруженного народа.

— Друзья! — воодушевление звенело в голосе Фучика.— Мы добились серьезного успеха. Коммунистическая партия становится общепризнанным вождем всего народа. Кровью своей, беспредельной преданностью ленинскому знамени, бесстрашием в борьбе с фашизмом члены нашей партии завоевали высочайшее доверие нации.

С самого начала заседания Зике не терпелось рассказать членам ЦК еще об одной приятной вести. По его сияющему лицу товарищи догадывались о важном сообщении, которое он хочет сделать. Наконец наступил его черед.

— Сегодня ночью я имел счастье разговаривать с Клементом Готвальдом. Коротковолновик работает чудесно!

— Что же говорил Клемент? Не тяни! — не выдержал Черный.

— Клемент сказал, что он и все наши друзья из московского руководства довольны нашей деятельностью!

Трое товарищей застыли — подтянутые и взволнованные, словно стояли лицом к лицу с руководителями партии.

Фучнк н Черный не смелн в такую мннуту торопнть Знку. Но он поннмал состоянне друзей.

— Клемент передал вам н всем членам партнн сердечный привет н благодарность за то, что сделано в последнее время. Он одобрнл нашу работу по созданню Нацнонального революцнонного комитета н просил сделать все, чтобы воззвание комнтета дошло до каждого чеха, до каждого словака.

2

Еще не пробнло двенадцатн, еще не настало время начать ночное собранне партнйного актнва Колбенки, а в подвальной квартнре слесаря Крагулнка облако папиросного дыма давно закрыло перекошенную верхушку шкафа. Сизый дым густой завесой прикрыл стол, за которым еле вндны былн лнца Франтишека Вонасека, Ярослава Копты и старого коммуннста мастера сборки Матуша Тонды — сутулого, широкоплечего человека лет под шестьдесят. Ладнслав Пекса устронлся в углу между шкафом н железной койкой так, чтобы вндеть всех товарищей.

Копта рассказывал, как вместе с мастером Тондой он вывез нз склада сборочного цеха деталн генераторов, заказанных в свое время советскнмн органнзациямн, н закопал нх в укромном месте на террнторин завода.

— Фашистам легче превратнть воду Шпрее в вино, чем разыскать этн деталн. Мы соберем генераторы, когда придет время!

Раздался условный звонок: два короткнх н один продолжительный. Крагулнк вышел и через минуту впустнл в комнату раскрасневшегося Милоша Новотного.

— Чест працн! — прнветствовал он старших товарищей.

— Працн чест!

— Все сделано так, как вы велелн, соудруг! — с юношеским пылом сказал Мнлош, обращаясь к Ладнславу Пексе.

— Я был уверен в тебе, Милош.

Новотны не ожидал такой похвалы. Ему улыбались и Пекса, и Вонасек, и даже его суровый сталевар. Юноша сиял пиджак.

— Начинен ты, парень, добротной взрывчаткой,— ласково говорил Вонасек, вынимая из-под рубахи Милоша пачки листовок и газет.— Ох, не поздоровится от них фашистам!

Вскоре стол был завален номерами «Руде право» и листовками с текстом обращения Национального революционного комитета Чехословакии. Ладислав Пекса прочитал текст воззвания, спросил:

— Вы представляете себе, соудрузи, насколько возросла ответственность каждой ячейки, каждого из нас?! Сейчас партия будет судить о нашей деятельности не только по работе коммунистов, а по тому, как борются с оккупантами, с администрацией Колбенки все рабочие, работницы, техники и служащие завода. Подпольный ЦК Компартии Чехословакии — инициатор и вождь боевого единства народа разъясняет в «Руде право» обязанности всех коммунистов в данный момент. Прочитай, Милош, вот здесь!

Пекса показал Новотному помещенный в газете отчет о заседании ЦК 16 сентября сорок первого года. Милош взял газету, но не сразу смог начать. Это было первое его выступление на партийном собрании, и, хотя ему нужно было только прочесть напечатанное, он от этого волновался не меньше, чем если бы ему пришлось произнести большую речь. Наконец он преодолел волнение и стал читать.

«В этот исторический момент, когда решается будущее рабочего класса и целых народов, партия должна проявить максимальную активность. Партия протягивает руку всем, кто полон решимости бороться против Гитлера. Весь свой авторитет партия использует для создания национально-революционного единства. Активность и сплоченность — вот чем должна характеризоваться деятельность всех членов партии... Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии предлагает всем членам партии, всем лицам, входящим в партийно-массовые организации, а также всем сочувствующим внимательно прочитать и изучать воззвание Центрального Национального революционного комитета Чехословакии, везде и всюду распространять

его любыми средствами, строго руководствоваться его указаниями и всей своей деятельностью способствовать проведению их в жизнь».

Коммунисты Колбенки, слушая директиву ЦК, думали о том, как им ответить на призыв своего руководителя, как сплотить вокруг знамени партии новых людей. У каждого были свои думы, и каждый хотел поделиться ими.

В наступившей тишине раздался глухой голос обычно молчаливого Крагулика:

— Простите, соудрузи, если скажу нескладно,— Крагулик держался за впалую грудь, чтобы кашель не мешал ему говорить.— Воскресный отдых отменили, штрафами, угрозами выжимают из нас последние соки. Чего мы еще ждем?

Слесарь сильно закашлялся, на его посиневших губах показалась кровь, и он схватился за косяк двери, чтобы не упасть.

— Садись, Крагулик! — Копта поддержал товарища.— Отдышись. Я скажу за тебя! — Усадив слесаря на табуретку, сталевар решительно произнес:

— Забастовка нужна в литейном, вот что! У людей терпения больше нет.

Поднялся сборщик Тонда. Его седая голова почти касалась потолка.

— Двадцать лет исполнилось нашей партии. Двадцать лет я состою в ней. И всегда старался крепко продумывать директивы ЦК, понять, что к чему, и как мне, члену партии, следует поступать.

Матуш Тонда взглянул на Милоша, и юноше показалось, что именно к нему, самому молодому из коммунистов Колбенки, обращается старый мастер. Сутулые плечи Тонды чуть распрямились.

— Верно: надо бастовать. Но не так, как говоришь ты, Копта. Не только литейщикам — всем колбенцам. Так я понимаю призыв Центрального Комитета? А может, не так?

Не один Тонда,— все ждали, что скажет Ладислав Пекса.

— Соудруг Тонда прав,— ответил он.— О настроениях литейщиков Колбенки я рассказал Старшему

другу, а он членам ЦК. Руководители партии тоже считают, что забастовка созрела, но она принесет пользу лишь в случае, если в ней примут участие рабочие всего завода. Нам, соудрузи, доверено организовать первую за время оккупации массовую забастовку с политическими требованиями.

3

В формовочном пролете литейного цеха стоял непривычный гул сотен голосов. Ночная смена бросила работу задолго до гудка. Прибывшие на дневную смену литейщики спешили к конторе начальника цеха, у которой толпились возмущенные женщины. Далеко доносились их голоса.

— Вздумали, окаянные, заставить нас работать еще десять часов в неделю,— громко жаловалась старая женщина.— А сегодня расценки снизили!

— Чем кормить детей? — спрашивала другая.— Гроши получаем, на карточки ничего не купишь. Что ж, подыхать, значит?

— Мало им, что Поспешила угробили! Скоро на наши головы рухнет крыша литейки.

— Милада пошла к начальнику. Она ему скажет...

У ступенек, ведущих к коридору, где находился кабинет начальника цеха, стояли молодые литейщицы, готовые кинуться на помощь подруге, вошедшей в контору. Но прибегнуть к этому не пришлось. Из конторы вышла рослая, сильная женщина лет сорока. Темный рабочий комбинезон плотно облегал ее крепкую, высокую фигуру.

— Говорила с начальником, Милада?

— Заступилась за нас?

В возгласах работниц, во взорах, устремленных на Миладу Поспешилову, чувствовалось уважение и доверие к ней.

В начале сентября на Поспешилову обрушились два страшных удара. Ее мужа — одного из лучших вагранщиков Колбенки — убило сорвавшейся с крана чугунной отливкой. Через неделю единственного сына

отправили на каторжные работы в Германию. И никто больше не видел улыбки на лице Поспешиловой.

— Начальник не захотел выслушать наши жалобы,— сказала она.— Грозится наказать за то, что мы бросили работу на полчаса раньше.— Голос Милады дрогнул.— Он сказал такое, что кровь похолодела. Пойду к мартеновцам, они первые должны знать, какая новая беда обрушилась на нас...

В это время Ярослав Копта и Милош Новотны неторопливо выходили из раздевалки мартеновцев на рабочую площадку. Они не знали, что происходит в литейных пролетах.

Кипел металл, ночная смена доводила плавку. Сталевар Вацлав Олива с тремя подручными готовился к выпуску. Раскаленная масса поднималась все выше, и, казалось, достаточно бросить еще одну лопату руды, чтобы лавина металла хлынула через пороги, залила площадку.

Заскрипела железная лестница. По ней бегом поднялась Милада Поспешилова.

— Бросай работу, Олива! Хватит тебе танковую сталь варить!

Вацлав Олива удивленно смотрел на Поспешилову.

— Ты что мне за начальник, чтобы приказывать! Танковая?.. Откуда ты взяла? Я варю обыкновенную сталь.

Он хотел пройти к задней стенке подготовить отверстие к выпуску стали.

— Куда! — Поспешилова подбежала к низкорослому сталевару и крепко схватила его за плечо.— Начальник сейчас проговорился: у тебя, Вацлав, танковая сталь в печи. Сегодня литейщики должны начать отливать из нее детали для фашистских танков. Эти танки направят против русских. Позор тебе будет, если выпустишь эту плавку!

По решительному поведению Поспешиловой видно было, что она хочет остановить работу литейного. «Женщины за ней пойдут,— пронеслась мысль у Копты.— Это может быть началом стачки. К ней не готовы другие цехи. Надо остановить Поспешилову».

— Не горячись, Млада! — Копта подошел к женщине. Они были одного роста, но формовщица в эту минуту казалась сильнее Копты.

— Что? И ты, Ярослав, поперек дороги становишься!

Копта исподлобья смотрел на женщину. Он понял, что не сможет ее остановить, и вернулся к Милошу.

— Мигом к Пексе! Он, наверно, в модельном. Предупреди: забастовка может вспыхнуть раньше времени.

Как только Копта отошел от Поспешиловой, она выхватила из рук подручного лопату и кинула ее в сторону.

— Все вниз! — повелительно крикнула Поспешилова, и ее возглас был воспринят, как приказ. Сталевар Вацлав Олива и его подручные, бросив готовую к выпуску плавку, пошли за женщиной. Их догнал Ярослав Копта.

В литейных пролетах никто не думал приступать к работе. Крики мастеров не слышны были в общем гуле. Еще когда Поспешилова побежала на другую сторону цеха, чтобы подняться к мартеновцам, литейщики толпой хлынули к разливочному пролету. Они топтали сделанные собственными руками земляные формы, опрокидывали вагонетки. Толпа, бушуя, докатилась до лестницы, по которой спускались Поспешилова и мартеновцы. Послышались голоса:

— Говори, Млада, что еще придумал начальник!

Поспешилова почувствовала, что за ней пойдут все литейщики, как пошли сейчас мартеновцы. Колбеницы помогут ей отомстить немцам за мужа и сына...

— Мы работали шестьдесят часов в неделю,— с негодованием произнесла она.— Этого мало фашистам. Они еще воскресный день отменили... не пускают беременных женщин в отпуск... снизили расценки... охраны труда нет. Мы становимся хуже рабов!

Она умолкла, а затем с гневом кинула в толпу:

— Нам говорили, что мы делаем мирную продукцию. Обман! Тот, кто приступит сейчас к работе, будет отливать детали для немецких танков.

Вблизи стоял Франтишек Вонасек. Копта успел

шепнуть ему, что Милош побежал за Пексой, и формовщик, волнуясь, высматривал, не идет ли механик: «Только Пекса сможет повлиять на возбужденных литейщиков... иначе...» Его увидела Поспешилова.

— Чего вертишься, Франтишеку? Не терпится работать на немцев? А я лучше руку спалю в вагранке, чем формовать для них танковые детали!

Казалось, огненная сталь вырвалась из мартена и потекла рекой на заводской двор. Гудевшая толпа устремилась к двухэтажной конторе дирекции.

— Что ты им скажешь, Милада? — юркий маленький Вонасек снова оказался впереди Поспешиловой.— У них оружие, а у тебя что?

— У меня вот! — формовщица подняла кулак, угрожающе махнула им в сторону конторы.

Ладислав Пекса догнал толпу, когда из цеха вслед за Поспешиловой и Коптой выходили литейщики. Пекса понял, что остановить стихийно возникшую стачку уже нельзя. «Надо ее возглавить, выставить перед дирекцией требования. Но прежде поднять рабочих других цехов, хотя бы главных. Иначе провалится забастовка».

Ладислав сказал несколько слов Вонасеку, и тот побежал к бетонным громадам сборочного, к мастеру Тонде. Потом из толпы выбрался Копта и широкими шагами направился к зданию механических цехов. Его нагнал Милош.

Из здания дирекции никто не выходил. Не появлялись и вооруженные охранники. Это встревожило Пексу. Около сотни охранников из «веркшуца» ничего не смогли бы сделать с литейщиками. «Не решилась ли дирекция вызвать войска?»

В толпе раздавались то негодующие, то насмешливые возгласы по адресу перепуганных администраторов. Рабочие вспоминали обиды, забыв совсем, что еще час назад они ужаснулись бы, услышав такие речи.

— Гестапо! — раздался вдруг женский пронзительный крик.

На завод ворвались эсэсовцы. Увидев цепь солдат, литейщики стали плотнее друг к другу.

— Пойду к ним, спрошу, чего они автоматы на нас поднимают! — сказала Поспешилова.

Стоявший рядом с ней слесарь Крагулик забеспокоился. Пекса, отошедший в глубь толпы, чтобы договориться с рабочими, кого назначить в делегацию, велел ему сдерживать формовщицу.

— Не лезь черту в пасть,— тихо уговаривал Крагулик озлобленную женщину,— не забывай, у тебя есть сын, он вернется...

Формовщица отмахнулась от слесаря и пошла на эсэсовцев. Крагулик обогнал ее, когда раздалась отрывистая команда офицера и солдаты дали предупредительный залп над головами рабочих.

Толпа дрогнула. Поспешилова подалась назад. Сейчас впереди был Крагулик. Небольшой, тонкий, как палка, с туберкулезным румянцем на впалых щеках, слесарь стоял между колбенцами и солдатами. «Надо отвлечь внимание на себя, чтобы они не стреляли в женщин, чтобы из других цехов успели выйти товарищи». Крагулик сделал еще три шага вперед, и гитлеровец с размаху ударил его автоматом по голове. Крагулик упал, кровь залила его лицо. Он корчился на земле, пытаясь что-то крикнуть убегавшим к воротам литейки нескольким рабочим. Поспешилова поняла, что хочет сказать слесарь. Ее неистовый возглас догнал бежавших:

— Позор вам, трусы!

Собрав последние силы, Крагулик поднялся на ноги. Литейщики увидели в поднятой руке слесаря развернутый носовой платок, которым он только что пытался остановить струившуюся с головы кровь.

И этот алый теплый кусок материи казался маленьким знаменем, зовущим к борьбе. Оно трепетало в худой руке, пока на Крагулика не набросились двое гитлеровцев. Сбив с ног, они топтали Крагулика сапогами, били автоматами и в звериной ярости стреляли в уже безжизненное, распластанное на земле тело.

Маленькое знамя не досталось врагам,— его успела подхватить Поспешилова. Оно переходило из рук

в руки и вскоре очутилось над головой Ладислава Пексы.

Гитлеровцы попытались пробиться к нему, но удары прикладов не могли теперь разъединить сплотившихся литейщиков. И только когда еще трое человек упало замертво, безоружные рабочие начали медленно отходить к своему цеху.

Эсэсовцы, угрожая расстрелом, заставили большинство литейщиков приступить к работе, а те, кто остался на заводском дворе, были окружены многочисленным отрядом солдат. Среди окруженных были Пекса и Поспешилова. Пекса все еще не терял надежды, что товарищи из других цехов помогут спасти раненых. Он не ошибся. Когда закрытые тюремные машины уже въезжали в заводские ворота, из сборочного цеха выбежала многочисленная группа сборщиков во главе с Вонасеком и мастером Тондой, а из механических цехов сотню решнтельных людей вывели Ярослав Копта и Милош Новотны. Увидев угрожавшую товарищам опасность, Копта выхватил из кучи брака тяжелую стальную рейку и пошел наперерез тюремным машинам. Его примеру последовали другие. И тут, впервые в своей жнзни, Милош Новотны ощутил, какая могучая сила таится в молчаливой, идущей на врага толпе рабочих, если даже они вооружены только камнями и кусками железа.

Отряд эсэсовцев не устоял. Автоматчики, не дожидаясь команды, скрылись в литейном цехе. Здесь они выместили свою злобу на тех, кто еще не приступил к работе.

Забастовку подавнли. Рабочих было слишком мало, чтобы заставить войска покинуть завод, а дирекцию выслушать и принять их требования. Опоздавшие с поддержкой литейщиков рабочие других цехов смогли только ограничить разгул разъяренных эсэсовцев.

В тот же вечер листовка Коммунистической партии сообщила чехам о забастовке колбенцев, о героической смерти слесаря Крагулика и зверствах гестаповцев.

Боевое выступление рабочих послужило уроком для других. Газета «Руде право» писала:

«Литейщики Колбенки дали отпор, прекратили работу. И правильно. Ошибка состояла в том, что к ним не присоединился весь завод. Сопротивление не было организованным. Чему нас учит такой опыт? Каждая забастовка, каждый акт сопротивления рабочих оккупантам ведет к столкновению с вооруженной силой. Ввиду этого сопротивление рабочих должно носить характер активного отпора. Создадим на каждом предприятии единый заводской комитет с сетью уполномоченных во всех цехах. Организуем молниеносно функционирующую связь между цехами. Добьемся, чтобы в борьбу всегда вступал весь завод, чтобы все трудящиеся поддерживали бастующих!»

Забастовка на Колбенке была сигналом к могучим выступлениям рабочего класса Чехии, Моравии и Словакии. Прекратили работу две тысячи рабочих «Вальтровки» — пражского авиазавода, рабочие мостостроительного завода в Градце, текстильщики в Находе, строители Витковице. Чехословацкие пролетарии откликнулись на воззвание Национального революционного комитета, на пламенный призыв своей родной Коммунистической партии.

Они пошли в наступление.

РАЗМОЛВКА

1

Вечер, когда Лида Плаха спасла Гонзу Черного и его группу боевиков, оказался переломным в ее жизни. Особенно глубоко и сильно почувствовала она ответственность перед партией. Ей было известно, что Гонза Черный является одним из руководителей коммунистического подполья, что его жизнь дорога народу. «Юлиус доверил мне спасти Черного, я отвечаю за него перед партией». Эта мысль ни на минуту не оставляла ее в ресторане «Вальдштенська господа».

В тот вечер Лида пережила много тревожного и хорошего.

Когда услышала в переулке топот за спиной, она

была уверена, что это гестаповец. Но раздался приятный, полный беспокойства за нее голос, и Лида увидела Клекана. «Он рисковал, чтобы спасти меня»,— подумала она, и что-то новое, неиспытанное наполнило сердце девушки.

Они стали чаще встречаться. Опасность подпольной работы связывала и роднила их. Клекан с увлечением говорил об этой работе, не скрывая от Лиды и своих обид.

— Не понимаю, зачем профессор заставляет меня изо дня в день делать одно и то же? — жаловался он при встрече на квартире Ирасковой.— Вчера связь с группой врачей, завтра — учителей... Я знаю хорошо Кладно, мы бы сумели поднять шахтеров на большие дела. За месяц-два у меня сотни людей были бы вооружены, и Кладно смог бы стать центром восстания. А профессор послал меня к какому-то трамвайщику и расписал его жену, простую служанку, так, словно она по меньшей мере Жанна Д'Арк!

— Мария Елинекова прекрасный человек, активная подпольщица! — возмутилась Лида.— Меня удивляет твое пренебрежение: «простая служанка», «Жанна Д'Арк». Чем Елинекова хуже тебя?

Клекан виновато опустил голову.

— Ну вот, за мою откровенность ты и рассердилась. У меня и в мыслях не было обидеть Елинекову. Но разве можно недооценивать способности каждого работника? Разве ты лично довольна? Ведь и ты, милая, губишь свой талант подпольщицы на мелочах. Поговори с профессором ради себя, ради меня, ради дела, наконец. Пусть он даст нам с тобой более ответственное задание. Все увидят тогда, на что способна маленькая Лида.

И Клекан рисовал девушке заманчивые картины, как они едут вдвоем по городам и селам Чехословакии, организуют партизанские отряды, возглавляют крупные диверсии, руководят вооруженными выступлениями народа. Он говорил страстно, увлеченно. «Какой он смелый, энергичный, хороший,— думала Лида, забыв о мелких размолвках.— Я обязательно посоветуюсь с Юлиусом» Но как только девушка

встречалась с Фучиком, она робела при мысли, что заговорит вдруг о Миреке. Все же в январский вечер разговор о нем состоялся.

Дверь в «комнату Юлиуса», как называли в семье Баксов спальню, где временами жил Фучик, была открыта. Лида вошла. Юлиус что-то писал. Услышав шаги, он обернулся:

— А, это ты, Лида, почитай, пожалуйста.

— С удовольствием.

Лида взяла испещренный пометками и исправлениями оригинал статьи, стала читать:

«Мы, коммунисты, любим жизнь, поэтому не колеблемся, когда нужно пожертвовать собственной жизнью для того, чтобы пробить и расчистить дорогу настоящей, свободной, полнокровной и радостной жизни, заслуживающей этого названия. Жить на коленях, в оковах, порабощенными и эксплуатируемыми — это не жизнь, а прозябание, недостойное человека. Может ли настоящий человек, может ли коммунист довольствоваться такой жизнью, может ли он покорно подчиняться рабовладельцам и эксплуататорам? Никогда! Поэтому коммунисты не щадят сил своих, не боятся жертв в борьбе за настоящую, подлинно человеческую жизнь.. »

Прервав чтение, Лида вспомнила, как Гонза Зика посоветовал Фучику написать к годовщине смерти Владимира Ильича Ленина передовую статью в «Руде право». «Ты в ней должен самым доходчивым языком объяснить простому человеку, что такое коммунист»,— сказал тогда Зика. Юлиус написал статью в двух вариантах, но был ими недоволен и сжег наброски. Теперь он написал все заново, и Лида радовалась удаче Фучика. Он нашел нужные слова.

«...Это касается и тебя, товарищ коммунист, тебя, боец армии Ленина. Где бы ты ни работал, на каком бы форпосте революции ни сражался за свободу человечества, кем бы ты ни был — одиноким дозорным на передовом посту или узником в застенках тиранов,— всегда, каждый день отчитывайся перед собой в своих действиях и своих мыслях, ставь перед собой вопрос, достоин ли ты чести быть воином армии великого Ленина...»

«И я стану коммунисткой,— думала Лида, читая статью.— И мне надо перед своей совестью, перед партией отчитываться за каждый шаг и поступок. Могу

К стр.19

ли я заботиться о своих личных желаниях, когда идет такая жестокая борьба? Имею ли я право даже в мыслях сетовать на то, что мне или Миреку партия предоставила недостаточное поле деятельности? Нет, не имею такого права и никогда не буду жаловаться Юлиусу».

Фучик закончил работу, сложил листы бумаги и поднялся из-за стола.

— Ты почему-то невесела сегодня, Лида. Не Мирек ли виновен в этом?

Отношения молодых людей не могли оставаться тайной для Фучика. «Достоин ли Клекан такой девушки? Будет ли она счастлива с ним?» — спрашивал он себя, замечая, как они становятся ближе друг к другу. Фучик не имел претензии к работе Клекана. Тот добросовестно, нередко с инициативой, выполнял задания. Но в его характере Фучик подмечал черточки надменности, любования своей персоной. О выполнении одного и того же поручения Клекан мог рассказывать по нескольку раз, желая показать себя, свою изворотливость. «Может быть, это от молодости? Со временем, возможно, отпадет эта шелуха. Хорошо бы поговорить с Лидой о Мирекe. Она видит его чаще, чем я».

— Твое молчание, Лида, подтверждает, что я угадал. Может быть, скажешь о причине своей грусти?

Девушка не могла поднять головы. Не ответить нельзя, ведь она доверяла Фучику свои горести и удачи, и мысли, а сказать трудно, ох, как трудно!

— Я, кажется,— произнесла она быстро, неожиданно для самой себя.— Я, кажется, люблю Мирека... Это нехорошо, правда?

— Почему нехорошо? — Юлиус глядел в доверчивые, слегка испуганные глаза Лиды.

Он вспомнил день, когда дал себе слово сказать Густине, что любит ее. Он тоже не мог признаться ей в этом. Спасла его Густина: она так хорошо умела читать его взгляд.

Юлиус усадил девушку, присел возле нее:

— Настоящая любовь, Лида, помогает и жить и бороться. Но только настоящая. Помнишь Горького:

«Девушка и смерть»... Подумай. Проверь себя и Мирека, насколько крепки и постоянны ваши чувства. И, главное, способны ли эти чувства поддержать вас в испытаниях жизни, усиливать вашу стойкость и мужество?

2

После разговора с Лидой Юлиус долгое время не приходил к Баксам. Когда он, наконец, явился, девушка не сразу его узнала. Он шел, не опираясь, как обычно, на палку. На нем было простое, из грубого черного сукна пальто и серое рабочее кепи. Он снял роговые очки, бороду расчесал вширь.

Широкоплечий, сильный, он походил на пожилого грузчика.

Юлиус улыбался:

— Трудно узнать?

— Трудно.

— Это хорошо. Оденься и ты как можно проще, не забудь изменить прическу. Переедешь жить к токарю автогаража. Сегодня.

Девушка вертела в руках поданный ей Юлиусом паспорт.

— Разрешите, профессор, завтра. У меня...

Лида смутилась и не досказала, что она условилась с Миреком встретиться в этот вечер.

— Перейти надо немедленно и никому не давать своего адреса,— сказал Юлиус, недовольный тем, что нужно дважды говорить об одном и том же. Он догадывался, почему девушка смущена.— Буду присылать задания через токаря.

— Неужели квартира Йожки под подозрением? — Лида испугалась за сестру.— Может быть, ей и Павлу тоже надо уйти?

— Не думаю. Но если мы с тобой засидимся здесь, то и сестра может пострадать. Передай ей и Павлу мою благодарность за помощь.— Он повременил секунду.— Попрошу тебя зайти к Густине. Скажи ей, что мы долго с ней не сможем встретиться. Арестована вся группа инженера Штанцля.

В тот же день девушка оказалась на чужой квартире, среди незнакомых ей людей и не знала даже, сможет ли она хотя бы раз еще встретиться с Миреком. «Может быть, с группой Штанцля имел связь и Мирек, тогда и он арестован!» — переживала девушка, но не решалась через токаря узнать от Фучика, что с Миреком и если он на свободе, то может ли она увидеть его.

Неделю спустя Лида поехала к сестре. Если с Миреком ничего не случилось, то он должен был зайти к Йожке, а возможно, и записку ей оставил. Но чем ближе Лида подходила к дому сестры, тем больше охватывало ее чувство тревоги. Куда девалась уверенность, с которой она выполняла самые опасные задания? Лиде казалось, что кто-то следит за ней, она часто оглядывалась. Почти у самого дома сестры, шагах в сорока впереди себя, она увидела человека в очках, который быстро скрылся за углом. «Кажется, это тот самый, что был в ресторане «Вальдштенська господа». Узнал ли меня? А может быть, он следит за квартирой Йожки?

Нет, она сейчас к Йожке не зайдет.

Лида уже собиралась повернуть назад, как увидела знакомую фигуру в светлом демисезонном пальто. «Мирек! Возможно его выслеживают... Пойду навстречу, если надо будет, задержу гестаповца, что бы со мной ни было».

Девушка быстро приблизилась к Клекану:

— Мирек!

Не теряя самообладания, она взяла его под руку и увлекла за собой, подальше от этой улицы.

— Кажется, шпики следят за домом. Что у Йожки?

— Спокойно. Я два раза заходил к ней, чтобы найти тебя, предупредить об опасности! — Он говорил глухим встревоженным голосом.— Скажи, где профессор? Мне надо ему передать чрезвычайно важное.

— Я не вижу его. Говори, что передать, я сообщу через надежного человека.

— А если он придет к Йожке?

— Он к ней больше не придет.

— Ты уверена?

— Уверена. А в чем дело?

— Я беспокоюсь, не случилось ли чего с ним. На прежнюю явку он не приходит. Почему ты не оставила для меня у сестры свой адрес? Прячешься от меня?

Его шепот казался девушке громким криком.

— Если бы я пряталась, то сегодня не пришла бы искать тебя, неблагодарный. Неужели тебе непонятно слово «нельзя»? Хочешь, чтобы я сказала, почему нельзя, а этого я сама не знаю. Запрещено встречаться — и все.

Переулками вышли на более оживленную улицу. Оглянувшись и не увидя никого, кто бы шел за ними, они направились к остановке трамвая. Лида горячо пожимала руку Клекана, она не могла и не хотела сдерживать себя: «Мирек невредим, он рядом со мной. Мои опасения оказались ложными». Девушка украдкой поглядывала на него. «Похудел, работает, видимо, много и, конечно, волновался за меня. А я на него сержусь. Некому о нем позаботиться, наверно, больше одного раза в день и не поест...»

Клекан ложно воспринял ее душевный порыв. Ему показалось, что Лида в чем-то виновата перед ним и хочет оправдаться. «Что, если кто-нибудь полюбил ее?.. Возможно, она шла к Йожке не ради меня, а чтобы взять новое платье, я видел, оно висит в ее комнате...»

— Может быть, ты мне все же что-нибудь скажешь, Мирек?

Ей хотелось, чтобы он поднял голову, улыбнулся, произнес душевное слово. Вместо этого услышала:

— Ты неспроста скрываешь свою квартиру... Я стал безразличен тебе?

Если бы Клекан дал ей пощечину, девушке было бы легче. «К чему бессонные ночи и думы о нем, если он так нечуток, эгоистичен? Он думает только о себе, да, да... Иначе он не стал бы укорять меня. Разве это любовь!»

Только сейчас она заметила, что идет мокрый снег. Он таял в воздухе, не касаясь асфальта. Лида горячими губами ловила снежинки, она едва расслышала Клекана.

— Ты молчишь? Как понять твое молчание?

— Как хочешь, так и понимай. Без доверия не может быть настоящего чувства. Если бы я не верила тебе, ты никогда не увидел бы меня... А если ты мне не доверяешь, тогда иди. Можем не прощаться...— Она вырвала свою руку.

На лице Клекана появился испуг, затем удивление.

— Лидочка, дорогая! — Он снова взял ее под руку, крепко прижал к себе.— Я изнервничался, не знал, что и говорю! Ты не понимаешь, что, если человек глубоко любит, он и ревнует. Ревность замучила меня. Ну, ругай, ругай меня покрепче! Только прости меня, родная...

В эту минуту они приблизились к трамвайной остановке и на противоположном тротуаре Лида опять увидела очкастого.

— Мирек, милый! Скорей, в переулок...

Мелькнула мысль: «Если немец нас заметил, я должна отвлечь его, чтобы Мирек успел скрыться». Она увидела приближающийся к остановке трамвай, быстро подбежала к толпе и, смешавшись с ней, вошла в вагон. Трамвай тронулся, Лида села на свободную скамейку.

— Около вас можно? — спросил тотчас же мужской голос.

Лида подняла голову. Ее бросило в жар. Перед ней стоял человек, которого она заметила около квартиры Йожки. И в тот же миг наполнилась спокойствием — человек в очках, которого она приняла за шпика, оказался отцом ее школьной подруги.

— Садитесь, садитесь, пожалуйста,— сказала она, наполняясь каким-то особенным чувством легкости и молодого задора.

ТИПОГРАФИЯ АНТОНИНА ЩЕТКИ

1

В углу комнаты на тумбочке стоял маленький глянцевитый «филипс». Милош Новотны включил приемник и, пока нагревались лампы, снова проверил

окно: плотные темные двойные шторы не пропускали ни света, ни звука.

— Можете, профессор, сесть сюда, к столику.

Юлиус Фучик придвинул к себе приемник и заметил наклеенную на нем по приказу оккупационных властей грозную этикетку: «За слушание радиопередач врагов рейха — расстрел». Показывая на бумажку, Юлиус спросил:

— А этого ты, Милош, не боишься?

— Боюсь, конечно,— улыбнулся юноша,— но не угрозы полиции, а атмосферных разрядов. Иногда они мешают.

Милош снова приник ухом к приемнику. Что-то зажужжало, затрещало внутри, и затем...

— Говорит Москва! Говорит Москва! Слушай нас, родная Чехия!

Давно ли Юлиус этими же словами обращался из студии радиостанции имени Коминтерна к своим соотечественникам?.. Шесть лет прошло — иной раз кажется, что это было вчера... Каждую среду, за исключением тех, когда он выезжал из Москвы, он участвовал в передачах для Чехословакии. Его называли репортером-импровизатором, прощали ему его экспромты, причуды. Придет в зал радиовещания с заготовленным текстом в руках, но лишь станет перед микрофоном, и тут же забывает о написанном, сунет лист в карман и начинает посылать в эфир то, что рвалось из души и ни в какие записи не могло вместиться. Руководители вещания на заграницу просили у него малость такую: «Товарищ Фучик, следите за временем», но это ему не удавалось. Как было помнить о минутах, если он представлял себе, что вся Чехословакия его слушает, если он видел перед собой знакомых и незнакомых шахтеров и машиностроителей Чехии, крестьян Моравии и Словакии, ученых и студентов, безработных и домохозяек. И всем-всем хотел он ответить на их бесчисленные вопросы.

А сейчас он сам слушатель, к тому же подпольный, и Москва обращается к нему на чешском языке, как и к тысячам других, кто посмел настроиться на позывные столицы Советского государства:

— Слушай нас, родная Чехия! Слушай приказ Народного Комиссара Обороны Союза Советских Социалистических Республик!

Лицо Юлиуса осветилось почти детским восторгом.

— Ты отлично настроил приемник, Милош!

Юноша ликовал. Он положил на столик три самопишущие ручки, бумагу и стал надевать пальто. Ему очень хотелось слушать передачу, но его место было сейчас внизу, в подъезде. Он должен охранять Старшего друга.

Началась передача. Диктор говорил четко, не спеша, и Юлиус успевал записывать каждое слово. Божена Новотнова прильнула к приемнику. «Фашисты хвалились летом,— вспомнила она,— что пройдет два-три месяца и Россия будет сломлена». Но вот: «Враг жестоко просчитался... В короткий срок Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам один за другим удары под Ростовом-на-Дону и Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы...»

Приказ прочитали вторично, и Юлиус сверил записанное. Юноша появился на пороге:

— Успели записать?

— Да. Что случилось?

— Пришли две женщины. Молодая назвалась Густиной. Я их впустил в подъезд, запер дверь и велел подождать.

— Проведите их в гостиную, пани Новотнова.

«Что могло заставить Густину прийти? — думал Юлиус, выйдя из комнаты.— Я ее предупреждал: никогда никого не приводить на мои явочные квартиры без крайней необходимости. Вероятно, старая женщина — связная от Зики».

Как только Юлиус вошел в гостиную, в другой двери показалась раскрасневшаяся от морозного воздуха Густина. В ее лучистых, широко раскрытых глазах Юлиус заметил смущение, какую-то вину,— она не умела скрывать от него своих чувств.

— Прости меня, я не смогла сдержать слова... Приехала мама...

Густина долго не уступала настойчивым просьбам Марии Фучиковой, приехавшей утром из Пльзеня в Прагу. Тяжело больная мать, опасаясь, что дни ее сочтены, хотела повидаться с любимым сыном.

— Почему ты прячешь от меня Юленьку? — не отступала она от Густины.— Не лишай меня последнего утешения, дай благословить сына!

— Клянусь, мама, я не знаю, где он сейчас находится. Сама его не вижу второй месяц.

Но мать не переставала молить и упрашивать:

— Сегодня двадцать третье февраля — день рождения Юльчи. Ему исполнилось тридцать девять. Разве мы можем не поздравить его? Даже Карел, каким уж суровым, нелюдимым стал у меня старик, и тот сказал: «Поезжай, Мария, обними сына».

Слезы матери поколебали Густину. С большим трудом узнала она, где находился в этот вечер Юлиус, и, приняв все меры предосторожности, привела к нему мать.

— Первый и последний раз я нарушила наш уговор,— оправдывалась Густина.— Прости, родной.

— Прощаю, милая.— Он обнял Густину и поцеловал ее.— Большое счастье для меня увидеть мать!

За дверьми послышались голоса Божены и Марии Фучиковой.

Юлиус поспешил навстречу матери:

— Здравствуй, мама!

— Юленька, сынок!

Сгорбившаяся, маленькая, сухая, как тростинка, старушка прижималась к сыну, беззвучно рыдая на его груди.

Потом она подняла мокрое от слез лицо и, печально качая головой, старческими пальцами гладила лоб Юлиуса.

— Отец очень хотел тебя увидеть. Совсем он слабым стал... Но живем мы неплохо,— поспешила Мария поправиться, заметив в глазах Юлиуса беспокойство.— Хорошо живем... Вера и Либуша нас не забывают...

Собираясь к сыну, Мария думала высказать ему свое горе. Опытного токаря по металлу, ее Карела,

прогоняли даже от проходиой завода. Причиной была не столько его иивалидиость,— год прошел, как ему ампутировали ногу до колеиа, ои ходил на протезе и смог бы выполнять легкую работу,— старого Фучика считали иеблагоиадежиым из-за сына. Иногда Мария укоряла за это Юлиуса. А теперь, вглядываясь в измеиившиеся черты своего Юльчи, оиа миогострадальиым, чутким сердцем матери почувствовала, что ему иесравненно тяжелее, чем ей и Карелу, чем тысячам других чехов, думающих больше всего о себе и о своих близких.

— Поздравляю тебя, Юлеиька, с дием рождения! От отца, от сестер прими пожелаиия...

Юлиус хотел усадить мать, ио оиа живо повериулась, ища глазами Густину.

— Будь добра, Густочка, дай мие мою корзиику!

Рассказывая сыиу, как Карел и дочери провожали ее, оиа стала вынимать из корзииы аккуратные, разиой величииы свертки и, разворачивая их, приговаривала:

— Это Либуша с Верой велели тебе передать, а это я потихоиьку связала,— оиа подала Юлиусу теплые носки и шарф, а затем коробку сигарет.

— Это, коиечио, от отца. А вот еще я испекла твои любимые пирожки да немиожко печеиья. Извини, если ие такие вкусиые, как прежде.

— Что ты, дорогая! Зачем оторвала от себя последиее? Ты продала что-иибудь из своих вещей, не прячь глаза, я вижу.

Марию Фучикову выручила Густииа.

— Юлек, милый! Как мие хотелось тебе сделать приятиое, ио я даже ие смела мечтать о встрече... В будущем году получишь от меия два подарка.

Юлиус обнял жеиу, мать и, целуя их, весело проговорил:

— Лучший для меня подарок, что вижу вас обеих.

Божена Новотнова, до этого заиятая чем-то по хозяйству, подошла к подруге.

— В честь дия рождения твоего первеица, Мария, и у меия кое-что иайдется. Прошу, гости мои, за стол!

На белоснежной скатерти появилась бутылка ви-

ноградного вина, были расставлены бокалы из богемского стекла. Мария добавила к закуске Божены свои гостинцы, и получился вполне праздничный ужин.

— Поднимем бокалы за то, чтобы следующий день рождения Юлиуса мы встретили за обильным столом уже свободной Чехословакии! — сказала Божена Новотнова.

— За твое счастье, сынок! — произнесла мать.

— За тебя, любимый! — прошептала Густина.

Юлиусу доставляло большое удовольствие сидеть рядом с Густиной, видеть напротив себя оживленную мать и ее подругу.

— Спасибо, родные, за хорошие пожелания. Разрешите еще раз налить бокалы...

Вслед за ним встали все, зазвенело тонкое стекло.

— Выпьем, милые мои, за большой праздник советского народа, за Красную Армию. И сегодня, в день своей двадцать четвертой годовщины, она ни на секунду не прекращает битвы за счастье человечества. Выпьем за благородных и бесстрашных, за тех, кто высоко несет знамя победы и мира!

Несколько минут тишина царила в комнате. Ничто не нарушало ее. Но Юлиус не разрешил себе долго задерживать мать и Густину. Он не мог делать исключение, не имел права рисковать. Не позволил он себе, как ему ни хотелось, положить голову на плечо матери, спеть ей, как в детстве, веселую песню. Надо было за короткий час поговорить о многом — кто знает, когда они снова встретятся...

Юлиус сел рядом с матерью, гладил ее сухую старческую руку, говорил о самом неотложном.

— Если к вам еще раз придут искать меня, скажите, что больше года нет никаких известий. Временами обо мне будет сообщать отцу его приятель со Шкодовки... Скажи, мама, о Мартине Соукупе слышно что-нибудь?

— Да, совсем забыла, память подводит... Пан Соукуп заходил недели три тому назад, он зачем-то приезжал в Пльзень. Опять напугал меня,— подумала, не тебя ли ищет. Он уговаривал отца спросить у тебя: уйти ли ему из полиции или там делать полезное для

чехов. Отец убеждал его, что мы не знаем, где ты, жив ли ты, а он свое бубнит: «Нечего секретничать, Соукуп не враг вашему сыну».

— Он, мама, действительно не враг, хотя и не друг еще. Если придет опять, скажите ему: и в полиции найдется доброе дело для доброго чеха.

— Ах, эта полиция! Страшно мне за тебя, Юленька...

— Ты же мужественный человек, мама, и всегда понимала меня. Тем более теперь поймешь... Прости, что я столько горя приношу тебе.

— Нет, нет, не надо так думать... Разве я не понимаю?..

Она спрятала в сердце свои страдания, чтобы он их не видел, чтобы они не мешали ему в его великом деле.

— Благословляю тебя, Юльча, и тебя, Густинька, и всех-всех, кто с вами. Благословляю и горжусь вами!

2

В эту февральскую ночь Милош Новотны впервые получил от Фучика особое поручение. Еще ощущая теплоту его руки и гордый его доверием, юноша быстро шагал по уснувшим улицам города. Он не замечал ни скованной льдом широкой Влтавы, ни сказочных, точно посеребренных шпилей дворцов, ни круглых башенок старинных храмов,— всего очарования ночной Праги. Выбирая глухие, темные переулки — их избегали немецкие патрули,— он все же вынужден был переходить широкие улицы центра и здесь принимал вид человека, торопящегося на работу. В кармане у него пропуск на право ночного хождения на завод, и патруль мог придраться только к тому, зачем он идет не на север, в сторону Колбенки, а на юг — в район Панкраца. Но и на этот случай у Милоша было припасено объяснение.

Вскоре он очутился на узкой, тихой и темной улице района Панкрац. Вдали чернели высокие стены тюрьмы. Силуэты сторожевых вышек словно предупреждали юношу об опасности.

Остановившись у ворот одного из серых огромных домов, Милош пристально огляделся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он торопливо вошел во двор. Витая лестница привела его вниз, в полуподвальное помещение. Все было так, как говорил Фучик: и звонок за войлочной обивкой справа от двери, и долгая тишина, и, наконец, женский, с зевотой, голос из темноты:

— Кого святая Мария тащит в такую пору?

— Дедушка Вацлав захворал,— прошептал Милош в щель двери.

— Что-то не верится,— чуть громче послышалось из-за двери,— только в четверг видела его здоровым.

— Не в четверг, а в субботу,— проговорил Милош. Фучик предупредил его, что хозяева могут назвать любой день, а ему необходимо назвать третий по счету. Милошу очень нравился этот изменявшийся под диктовку хозяев пароль, и он повторил уже громче: «в субботу», тем более, что не был уверен, хорошо ли его слышит хозяйка.

Дверь мгновенно раскрылась и с такой же быстротой захлопнулась за ним. Несколько секунд вокруг было темно, потом кто-то включил свет, и Милош увидел хрупкую женщину с усталым лицом, а за ее спиной сутулого старика лет шестидесяти пяти.

— Вы пан Антонин Щетка?

— Я! — хрипло и недовольно ответил старик с огромной лысиной и клинообразной бородкой.— Чего это мальчишкам позволяют шляться по ночам?

Брови его насупились, прикрывая голубые, как у ребенка, глаза. «Как точно нарисовал его Старший друг»,— подумал Милош, разглядывая старика.

— Профессор кланяется вам и вашей супруге,— произнес он учтиво.

— Многие шлют поклоны дворнику Щетке,— сердито перебил старик,— а мне от них какая польза: ни хлеба из них не испечешь, ни трубку ими не набьешь. Выкладывайте, что у вас, кроме поклона, имеется?

Милош нагнулся, расшнуровал ботинок и, надорвав подкладку, вынул сложенный лист бумаги.

— Вот!

Повернувшись к свету, Антоннн Щетка стал внимательно чнтать.

— Верушка, слушай, как русские бьют немцев!

В дом Щетки будто вошел праздник. Жена Антонина забегала вокруг Милоша. Она ввела его в комнату с низким потолком и, усадив в единственное мягкое кресло, стала искать, чем бы угостить дорогого гостя.

— Спасибо, я ужинал,— сказал Милош, тронутый вниманием хозяйки.— К тому же, пан Щетка, времени у нас мало. Надо успеть к утру набрать и отпечатать листовку.

— К утру? Тот, кто вас прислал, знает, что у меня нет ни линотипа, ни ротационной машины.

— Профессор прислал к вам в помощь меня, пан Щетка. Мое имя Милош Новотны...

— Новотны? Сын Богумила Новотного? — переспросил старик и холодно добавил:

— Мне помощники не нужны!

Недоверие Щетки обидело Милоша. Он поднялся. Ему не терпелось высказать, что накипело на душе, за все обиды, причиненные отцом и ему и его матери. Но к чему все это, если его, Милоша, прислали с заданием!

— Профессор просил передать,— сдержанно произнес Милош,— чтобы вы без меня эту работу не делали. Если вам не по душе моя помощь, разрешите оригинал, я напечатаю листовку в другой типографии.

Хозяйка вмешалась в разговор.

— Не смей ночью отпускать мальчика, Антонин. Опомнись. Профессор лучше знает, кому можно доверять, кому нельзя.

Старик задумался. Жена права. Он не может ослушаться партийного руководителя, да еще в таком деле. Не отдаст он этот оригинал, еслн даже все гестаповцы Праги ворвутся к нему в квартиру. А если так, тогда ему надо сейчас открыть этому мальчишке вход в святилище, порог которого не переступал ннкто, кроме Юлиуса Фучика.

В упор, все еще нсподлобья глядел старик в глаза юноши. «Нет, Юлиус не может ошибиться, видимо,

парень не в отца, а в мать пошел. Коли у него такое сердце, как у Божены Новотновой, ему можно довериться». Говорил же мне когда-то Фучик: «Умная вера в человека перерождает его, соудруг Щетка. Не забывайте этого...»

Щетка зажег фонарик, проводил Милоша в кухню и, указывая ему на квадратную крышку подполья, произнес:

— Поднимай... Большая честь тебе оказана!

Бочки, поленья дров лежали у стенок, обитых дубовыми досками. Старик быстро орудовал в тесноте подвала: отодвинул бочки, откинул горку поленьев и острым ломиком приподнял у стенки две доски. За ними чернела пустота.

— Осторожно спускайся, голову, гляди, разобьешь.

Лестница вела в темную яму. Нащупав ногами землю, Милош посторонился, чтобы дать сойти Щетке. Прежде чем спуститься, тот повозился немного с потайным входом, задвинул доски в гнезда и закрепил их изнутри болтом. Кряхтя и что-то нашептывая, спускался он по шаткой лестнице. Очутившись внизу, старый наборщик направил луч фонарика на стену и, найдя выключатель, повернул его. Три электролампы ровным светом залили помещение. Потолок, стены и пол его были аккуратно выложены досками, темными от просачивавшихся грунтовых вод. Шесть столбов надежно подпирали потолок. Железная крышка с кольцом, похожая на крышку люка в башне танка, была вделана в потолок в самом углу. Милош никак не мог понять, зачем она устроена.

— Нравится, а? — воскликнул старик, наблюдая за тем, как Милош подошел к миниатюрным кассам с текстовыми и заголовочными шрифтами, стоявшими в ряд у стены, с каким восторгом прикасался к их гнездам.— Это что, это обыкновенно. Ты смотри сюда, вот где чудо!

У противоположной стены стоял метровой высоты станок. Шершавыми ладонями старый наборщик погладил станину, повертел валики и, нажав на ножную педаль, легко заставил машину работать. Маховик погнал друг другу навстречу талер с набором и ти-

гельную подушку с бумагой. Милошу показалось, что перед ним обыкновенная печатная машина «Либерти», но, приглядевшись, он заметил, что здесь установлены части облегченного типа из машин разных марок.

— Хороша, правда? — и Щетка стал сильнее нажимать на педаль.— Она дает в час пятьсот оттисков, а если ты будешь помогать, а я только накладывать, то дадим восемьсот, словно от электропривода. За сорок пять лет работы в типографиях я видел много всевозможных машин, но ни одну так не любил, как эту.

Через минуту Новотны и Щетка, надев комбинезоны, начали набор приказа. Юноша быстро ставил в верстатку металлические палочки шрифта. Оба долго молчали.

Первый нарушил тишину старик. Он поставил готовую колонку на обитый жестью стол и вполголоса, как бы про себя, заговорил:

— Помню, в тридцать первом году возник спор в редакции «Руде право». В передовой статье профессор призывал учиться у русских коммунистов служить народу, и уже тогда он разъяснил чехам истинное значение слова «патриот». Он писал тогда: «Мы, коммунисты, настоящие и самые верные патриоты Чехословакии». Многие, даже некоторые сотрудники редакции, считали слово «патриот» равнозначащим слову «националист». Но профессор оказался прав.

Перевернув листок оригинала, Щетка продолжал:

— Пришел ко мне профессор прошлым летом, как раз в те дни, когда Гитлер напал на Советский Союз. Увидев незнакомца с бородой, жена, конечно, перепугалась. А я по голосу узнал, кто мой гость. Остались мы одни, он мне прямо и говорит: «Вы, соудруг Щетка, единственный человек, кому я могу доверить создать типографию для партии, такую типографию, чтобы никто, никогда не смог бы ее раскрыть». Соображаешь,— создали, работаем, слово партии набираем!

И юноша понял, почему старый Щетка перед спуском в подполье сказал ему: «Большая честь тебе оказана».

Вечером двадцать четвертого февраля листовки читала вся Прага, а на следующий день — вся Чехословакия. Вести о разгроме немцев под Москвой, о победоносном наступлении Красной Армии вселяли в сердца людей веру в победу, взывали к совести тех, кто выжидал, прятался в своей норе, кто безропотно работал на врага. Поднялась вторая волна забастовок, рос саботаж на предприятиях. На поле битвы под Москвой советские солдаты находили неразорвавшиеся снаряды, а в них записки: «Делаем, что можем. Братья-чехи». На каменной стене самого большого пражского кладбища в Ольшанах появилась надпись:

«Встаньте, здешние мертвецы!
Уступите место вооруженным силам рейха!»

Слова были написаны несмываемыми химическими красками, и, чтобы удалить надпись, полицейским пришлось вырывать из стены камни.

В те зимние месяцы Фучик выпускал дополнительно к «Руде право» нелегальные газеты и журналы для самых широких масс: «Табор», «Ческе новины», «Ческа жена», сатирический «Трнавечек» — «Маленькая колючка». В первом номере «Трнавечка» Фучик поместил свое стихотворение по поводу нацистской кампании «зимней помощи».

Пишет из Берлина
Геббельс-образина:
Мол, ботинки
Прохудились,
Порвалась штанина.
    Плачет, бьет поклоны,
    Не слова, а стоны:
    Помогите,
    Подарите,
    Хоть одни кальсоны.
Дескать, мы б хотели,
Чтоб вы нас одели.
Мол, иначе
Доконают
Русские метели...
    Мерзнем, да к тому же
    Что ни день, то хуже.
    А советские

Солдаты . . . . . .
Не боятся стужи!
Раньше фриц от скуки
Брал часы и брюки.
Но зато
Теперь берет
Только ноги в руки.
Фюрер еле дышит.
— Помогите,— пишет,—
А не то
Россия нам
Ижицу пропишет.
Нет с зимою сладу,
Пляшем до упаду.
Помогите —
Мы потом
Вздернем вас в награду!
Дудки, Геббельс! С вами
Нам не быть друзьями!
Сами кашу
Заварили —
И хлебайте сами.
Чтобы вас, канальи,
Вьюги доконали!
Мы вам
Завтра же пошлем
Дырки от сандалий!

На объявленный фашистами сбор зимней одежды, лыж для солдат и железного лома чехи ответили издевкой. Во всех домах топили печи лыжами. Вместо теплой одежды приносили на пункты сбора летние дамские шляпы, тонкие чулки. Железные предметы, которые невозможно было надежно спрятать, ночами бросали в реки и пруды.

Оккупационные власти не могли все это скрыть от Берлина. Сообщения о забастовках, о провале кампании «зимней помощи» легли на стол Геббельса рядом с последней листовкой ЦК Компартии и сатирическими стихами Фучика в «Трнавечке».

В первых числах марта гитлеровский наместник в Чехии и Моравии Карл Герман Франк получил от Геббельса молнию. Единственный глаз Франка едва не вылез из орбиты.

«Вы заставили фюрера усомниться в ваших способностях,— гласила телеграмма.— Примите жесточай-

шие меры подавления. Не жалея средств, подготовьте антибольшевистскую выставку. Инструкции высылаю. Скоро прибуду лично».

ВЫСТАВКА

1

Имперский министр просвещения и пропаганды гаулейтер Берлина Иозеф Геббельс стоял у окна бывшего президентского дворца в Градчанах. Перед ним простиралась панорама Праги. По мутной Влтаве лениво плыли льдины. Лучи яркого мартовского солнца позолотили островерхие крыши Старого города и возвышающуюся над ними колокольню Тынского храма, над которой снежинками летали тысячи голубей.

— Рим севера у ваших ног, господин министр,— услышал Геббельс за своей спиной.— С этого древнего Пражского Кремля три года тому назад смотрел на Прагу сам фюрер!

— Вы льстите мне, Карл,— не оборачиваясь, сказал Геббельс.

Длинный и худой статс-секретарь протектората Карл Герман Франк, одетый в черный военный костюм генерала войск «СС», держался прямо, как палка. Его единственный глаз преданно глядел на министра пропаганды...

— Вы являетесь вторым человеком в рейхе, господин министр. Не забывайте этого. Я хочу предложить вам сфотографироваться на фоне Градчан. Ваш портрет украсит витрины города, как и портрет фюрера.

— Не хотел бы я, чтобы чехи издевались над моим портретом,— заметил Геббельс. Облокотившись на подоконник, он смотрел вдаль, за реку, где виднелись очертания Нового города.

— Чехи обнаглели из-за беспомощности фон Нейрата. Я давно говорил фюреру о его мягком, совершенно негодном для протектора характере. Не оказался ли я прав, господин министр? Фюрер вспомнил

мои слова и в сентябре отозвал Нейрата. Конечно, у Гейдриха тяжелая рука, он не щадит никого, однако...

На секунду в живом глазе Франка блеснула тревога: «Как бы не дошло до Гейдриха!» Но он знал, что Геббельс ненавидит всех, кого выделяет своим вниманием фюрер, особенно Гейдриха, и поэтому с той же прямотой закончил фразу:

— Новый протектор не учитывает специфики Чехии. Он допустил грубую ошибку.

— Например? — Геббельс повернул голову к собеседнику. Он понимал, почему Карл Герман Франк старался подкопаться под Гейдриха: Франк сам метил в протекторы, мечтал стать единоличным диктатором в Чехии и Моравии.

— Ошибка была сделана тотчас же после его приезда, в октябре прошлого года,— ответил Франк.— Сперва мы с ним провели удачные массовые аресты, 10 227 одних только коммунистов бросили за месяц в тюрьмы. Все это было в порядке вещей. Но Гейдрих вздумал без меня арестовать еще десяток чехов. И знаете, господин министр, кого? Друзей рейха, из той маленькой горсточки идейно близких нам людей, которых в протекторате единицы. Вместо того, чтобы оберегать, сохранить этих чехов, как своих нынешних и, что еще важнее, будущих союзников, он одним актом их ареста восстановил против нас верхний слой. А ведь надо же нам на кого-нибудь опираться!

Геббельс терпеливо ждал, когда Франк закончит свою тираду.

— А вы, Карл, дальновидны, вы мне все больше нравитесь.— Геббельс небрежным движением поправил галстук, пригладил и без того прилизанные волосы и, слегка прихрамывая на укороченную ногу, направился к столу.

— С такими людьми, как вы, Карл, мы с корнем вырвем большевизм! Гиммлер и Гейдрих думают, что все можно сделать гильотиной. Они недооценивают мою прессу, мое радио, мои выставки. А я своей пропагандой восстановлю против русских не только англичан и американцев — там мы давно имеем верных друзей,— но и вызову у чехов ненависть к русским.

Будьте уверены, Карл, чехн станут безропотнымн, как камнн на пражской мостовой. Прндет время, н мы с вамн переселнм всю эту мразь в Снбирь и на острова Северного Ледовитого океана, обречем их на голод н смерть, как н русскнх. Но пока — сегодня и завтра — нам иужиы чешскне рабочие рукн. Пусть они выпускают побольше моторов и танков. В этой маленькой стране — большой потенциал, это наш второй Рур!

Геббельс поднял сморщенную руку, глаза его лихорадочно блестелн, голос становился пронзительней.

— Я зиаю, чем взять чеха. Он любит комфорт, добротные вещи, боится потерять свон удобства. Через неделн трн иа выставке я им покажу такое, что оин не только перестанут вернть в Россню, но будут бояться ее, да-да, бояться!

Геббельс нажал кнопку электрнческого звонка. Вошел секретарь.

— Штрамберга сюда!

Резиые дверн красного дерева раскрылись. Перед Геббельсом стоял человек средннх лет с тонкой фнгурой н сухощавым лнцом. Светлые глаза прямо глядели на миннстра пропаганды.

— Какие экспонаты предлагает для выставкн генеральный штаб?

— Он, как я выясннл, располагает несколькнми вндами вооружения русских,— непрннужденно ответнл вошедшнй.— Но нельзя показывать подобное оружне, такую технику, господнн рейхсмнннстр. Онн могут вызвать восторг, а не разочарованне у чехов. Единствеииое, что можно показать,— это бутылкн с горючей смесью. Но н тут нмеется недостаток — онн применялись нашнм противннком лишь в начале войны.

— Вы забываете, что вы арнец, Штрамберг! Нам нечего церемоинться с чехами. Мы покажем им и русские бутылки, и русские таики. И то н другое используем в свонх целях. Чехи мне поверят!

2

Когда стемиело, Штрамберг, сделав на автомобиле большой круг, велел шоферу остановнться н ждать его возвращення на Малостранской площади. Готн-

ческие здания слились в одну сплошную громаду, темные переулки были безлюдны. Один из них, самый темный и извилистый, поглотил Штрамберга.

Ближе к Влтаве он замедлил шаги, вглядываясь в слабоосвещенную фонарем старую поблекшую вывеску. Рядом с огромным посеревшим изображением бокала пива едва виднелась надпись «Святой Томаш».

Штрамберг вошел в ворота. Через пять шагов мрачный двор осветился пучком лучей, шедших из раскрытой двери подвального помещения. Оттуда долетали приглушенные звуки танго. Осторожно сойдя по скользким ступеням, Штрамберг очутился в узком вестибюле. Молчаливый швейцар снял с него пальто, и он, оставшись в черном гражданском костюме, который ничем не выделял его среди других посетителей, повернул влево, в первый зал.

Большая квадратная комната с низким каменным сводом была сплошь заставлена длинными дубовыми столами. Сразу за дверьми, если можно так назвать выдолбленный в камне овальной формы проход, на миниатюрной эстраде чудом уместились пианино, барабан и пюпитр дирижера.

Протиснувшись в узком проходе между оркестром и столами, кельнер провел Штрамберга в соседнюю комнату. Здесь было меньше света и меньше людей. Квадратные дубовые столики в каменных нишах почти все были свободны. Штрамберг выбрал место в самой темной нише. Отсюда он мог видеть всех, оставаясь незамеченным.

— Вам пльзеньское или смиховское? — спросил кельнер.

— По бокалу каждого, на пробу. И подогрейте, я промерз,— ответил Штрамберг. Темные глаза кельнера хитро прищурились.

— Пражский климат вам мало подходит, господин...

— Климат, что и говорить, не берлинский... Ну, поторапливайтесь!

Кельнер ушел. Штрамберг долго смотрел на каменные плиты стен, от которых веяло сыростью и холодом. Лет двести тому назад на них были нарисованы

картины. Краски давно поблекли, но кое-что можно было разобрать. На стене, напротив Штрамберга, верхом на бочке восседал Вакх. Безвестный художник изобразил его поглощающим чешское пиво, о чем свидетельствовали и стишки, воспевавшие вполне достойный богов пенистый напиток.

Поставив кружки на стол, кельнер нагнулся к Штрамбергу:

— Вы теряете время, господин Шлегер вас ждет...

— Кто? Шлегер?

— Я, кажется, не ошибся... Ваша фамилия?

— Штрамберг.

— Можете выйти через пять минут, я провожу вас...

На улице спина маленького кельнера была едва видна. Штрамберг старался от него не отстать. Наконец кельнер свернул в подъезд двухэтажного дома и куда-то исчез. Штрамберг поднялся на несколько ступенек, вошел через раскрытые двери в длинный коридор и внезапно остановился. Яркий свет электрического фонарика ослепил его. Он машинально опустил руку в карман, нащупал пистолет.

— Без глупостей, Курт, перед тобой друг.

Штрамберг отдернул руку.

Луч фонарика проложил дорожку по каменному коридору.

В комнате с плотными портьерами человек повернулся лицом к Штрамбергу.

— Ты меня не узнаешь, Курт?

— Теперь узнал, по голосу узнал, Юлиус!

Мужское, сильное рукопожатие, и на несколько мгновений застыли, обнявшись, Курт Штрамберг, эксперт министерства пропаганды по экономическим вопросам, и Юлиус Фучик.

Открыто, как Зике и Черному, говорил Юлиус давнему другу, немецкому коммунисту-подпольщику, о том, как слить воедино действия антифашистов стран центральной Европы с войной советского народа против гитлеровских армий.

— Второй фронт изнутри. В Германии прежде всего!

— С кем создавать этот фронт, Юля?! Партия разгромлена. Многие коммунисты казнены. Еще больше в концентрационных лагерях. А уцелевшие...— Курт произнес это с досадой и болью,— уцелевшие растерялись, в лучшем случае работают в одиночку.

— А ты, а друзья твои из «Красного оркестра»?.. Вас же около ста человек!

Желваки заиграли на остром лице Курта.

— Нас было несколько сот тысяч, и то...

— И будут! В феврале прошлого года нас разнесли «вдребезги», как утверждали Гиммлер и Геббельс. А мы живем. Центральный Комитет действует. Вновь создана сеть подпольных организаций. Связь руководства с ячейками в городах, на заводах стала надежней прежнего. Даже до Берлина, до тебя дотянулись — значит, есть кому работать.

Отошел на шаг от Курта, окинул его спортивную, ловкую фигуру, хотел сказать, что Курт, пожалуй, и сейчас смог бы, как в двадцатых годах, возглавить отряд альпинистов, но ничего такого не сказал, а спросил:

— С Тельманом имеете связь?

— Да.

— Как он?

— Скала. Девять лет в одиночке и несокрушим. Полон бодрости. Из Моабита перевели в ганноверскую тюрьму. Задумали мы вырвать его, да, оказалось, не на кого по-настоящему опереться. А ты толкуешь: второй фронт... изнутри...

Юлиус тряхнул друга за плечо:

— Не узнаю тебя, Курт! Подумай над тем, как использовать молодые силы. Они же огромные!

— Где — в Германии?.. Сейчас?.. — поразился Курт.

— Сколько вывезено из России в трудовые лагеря?

— Около миллиона. Геринг хвастал, что эту цифру удесятерит. Но к чему это ты вдруг!

— К тому, что этот миллион может стать опорой немецким коммунистам.

— Что ты, Юля! Подростки, пятнадцати-семнадцати лет — что с них возьмешь?

— Много возьмешь, много! Мы были с тобой в России, видели: у советских ребят мужество зрелых. Окажись они в Чехословакии, честное слово, я доверил бы им самое трудное, и знаю — справились бы!

То, что сказал Юлиус, было для Курта, как свежая вода для истомившегося от жажды. В министерстве Геббельса — льстивое лицемерие, Монблань лжи — душа Курта в глубокой глубине запряталась. А тут она оттаяла, и мир обернулся к нему солнечной стороной.

— Если судить по Ораниенбургу, то ты, пожалуй, прав.

— А что в Ораниенбурге?

— Девушка, лет двадцати, говорят. Создала подпольную организацию «Интернациональный Союз» — русские, французы, чехи... Большинство работает на авиазаводах.

— Вот как! Видишь! Тебе бы самому встретить ее, помочь советом. Она же на чужбине, ей во много раз тяжелее, чем нам.

— Постараюсь, Юля.

— Так-то, брат Курт... А теперь присядем, обмозгуем выставку. Какие будут экспонаты? Ты лично, что готовишь?

Курт передал в деталях разговор с Геббельсом.

— Путеводитель только на немецком?

— Да.

— Каким угодно способом убеди своего шефа, что нужно на двух языках — Геббельс любит, когда его читают, он согласится на чешский. Если тебе удастся склонить его, доставишь мне первый оттиск, предназначенный для корректуры.

Глаза Юлиуса сделались по-мальчишечьи игривыми, подмигнули:

— Раз Геббельсу взбрело на ум испугать чехов советским танком, постарайся, чтобы вывели на улицы самый лучший советский танк.

— Понял, умница-фантазер! — рассмеялся и Курт, но быстро оборвал себя. Пришло время сказать о главном, о том, ради чего он пошел на риск личной встречи с Фучиком.

— Протекторатное правительство намерено осуществить всеобщую воинскую мобилизацию чехов. Генеральный штаб вермахта проектирует три этапа. Гитлер одобрил.

Блеклые красные пятна выступили на щеки, на лоб Юлиуса.

Он резко поднялся.

— От кого узнал?

— Мой товарищ устроился в осведомительном отделе генерального штаба. И другой источник подтверждает.

— Время этапов? Цели?

— Первый через несколько дней — все войска протекторатного правительства перевозятся из Чехии в Норвегию и, во избежание мятежа или попыток к бегству, включаются там в состав немецких соединений. Второй — через месяц за первым — мобилизация трех возрастов, прошедших ранее военную подготовку в чехословацкой армии, и отправка их в качестве полицейских частей в Финляндию или в другую оккупированную страну. В случае благополучного, без эксцессов, исхода этих двух акций, в кратчайшие сроки проводится заключительная мобилизация чехов всех возрастов, от семнадцати до пятидесяти лет.

Слушая Курта, Фучик сгреб в кулак свою черную бороду, будто вцепился в противника.

— Правительство изменников! Продают чехов Гитлеру в солдаты. Не выйдет! Не будут чехи воевать против советских людей. Предупредим. Народ не допустит!

На другой день состоялось экстренное заседание Центрального Комитета. По поручению ЦК Фучик написал и отпечатал в типографии Антонина Щетки обращение-молнию к народу. Даже суток не прошло, как слово партии коммунистов достигло всех уголков страны.

«Гитлеру нужны чешские солдаты? — говорилось в листовке.— Он их обязательно получит, но лишь на фронте, который воюет против него и который в

ближайшее время уничтожит всю его свору убийц и изменников».

Предательский замысел протекторатного правительства и его берлинских покровителей вызвал в народе грозу. Забастовали, уничтожая оборудование шахт, горняки Кладно. На автомобильных заводах были выпущены сотни негодных машин. Железнодорожники сожгли состав, груженный самолетами. Созданные коммунистами Злинской области диверсионные отряды взрывали воинские поезда, склады оружия и обмундирования гитлеровцев и частей протекторатного правительства. В Полицком округе сжигались поместья оккупантов и предателей-чехов.

Возмущение приняло опасные для оккупантов формы. Уж на что самонадеянными были главари гестапо, и те сообщили в Берлин:

«Положение настолько обострилось, что в ближайшее время в протекторате может вспыхнуть вооруженное восстание. Подпольная коммунистическая партия Чехословакии уже дала указания подготовить оружие и взрывчатые вещества».

Народ заставил оккупантов и изменников из протекторатного правительства отказаться от плана мобилизации чехов в армию — отказаться навсегда.

3

В день открытия выставки начальник литейного цеха Колбенки приказал мастерам:

— По окончании смены — всех на заводской двор! Литейщики должны быть на выставке первыми. Пообещайте мужчинам талоны на папиросы, женщинам — на сто граммов масла. Кто вздумает противиться, тому предоставим местечко в Терезине!

Мастера, толпившиеся у стола начальника, переглянулись. Двое из них, которые всегда безропотно следовали за своим фашистским вожаком, и те были удивлены. Из-за нежелания пойти на выставку угрожать терезинским концентрационным лагерем — тако-

го еще не было! Один лишь Франтишек Вонасек был невозмутим:

— Не извольте беспокоиться, паи ведущий инженер,— заговорил медоточивым голоском формовщик,— все пойдут. Я им покажу — не пойти!

Вонасек повернулся к окну. Солнечные лучи щедро легли на его лицо, выражавшее глубочайшую преданность. Довольный ответом формовщика, начальник подал ему пачку брошюр.

— Вот вам, Вонасек. Перед входом на выставку — раздайте!

— Покорно благодарю за честь, пан ведущий инженер.

На обложке верхней брошюры Вонасек и мастера, которые стояли рядом, прочли: «Путеводитель по выставке».

Обеими руками прижимая к себе пачку брошюр, Вонасек попятился к двери, спиной толкнул ее и засеменил по направлению к мартеновской печи.

На передней площадке он увидел Ярослава Копту и Милоша, работавшего уже первым подручным сталевара. Как только мастер был вызван к иачальнику цеха, сталевар отослал на шихтовый двор других подручных и с Милошем начал давать в печь воздуха меньше иормы, а газ — только с правой насадки, добиваясь этим охлаждения плавки. Заметив поднимающегося по лестнице Вонасека, Копта шагнул ему навстречу.

— Все ушли от начальника?— шепотом спросил он.— Мой мастер не идет за тобой, Франтишеку?

— Нет, у него еще будет долгий разговор с начальником за очередную бракованную плавку. Через полчаса дожидайся от него, Коптушка, горячей бани.

— А я встречу фашистского подхалима новым гостинцем,— сталевар многозначительно подмигнул формовщику,— отплачу ему за слежку. Разнюхал ли он что-нибудь или не разнюхал — об этом тебе надо узнать, ты ближе к иачальству. Но вчера мы с Милошем еле отделались от этой ищейки, когда пробирались в механический.

— Успокойся, Коптушка, он ничего не знает. Начальник приказал мастерам не спускать глаз с рабочих, вот он и ищет случая разделаться с тобой. Правда, ему это трудно будет сделать: я наговорил начальнику, что твой новый мастер неопытен, мешает тебе осваивать новые марки стали. Пока я из доверия не вышел, ты будешь целехонек.

Милош стоял в стороне, обтирал платком разгоряченное лицо.

— Это что у вас за книжки?— спросил Милош, заметив под мышкой у формовщика пачку брошюр.

— Книжечки мне начальник велел раздать, когда на выставку придем.

— Покажите,— попросил Милош, прочитав на верхней обложке название брошюры.

Он взял протянутую пачку, и она моментально полетела в раскрытое окно печи.

— Ах!— успел только воскликнуть Вонасек и невольно рванулся к огню.

— Испугался, Франтишеку? Чуть сам в огонь не бросился. Ну, теперь тебе крышка, повесит тебя начальник.— Сталевар хохотал, наблюдая, как формовщик побежал догонять Новотного, который быстрыми шагами направился к душевой.

— Погоди, стой тут!— произнес Копта. Вонасек, ничего не понимая, остановился.

...Вскоре Милош возвратился и протянул Вонасеку точно такую же пачку брошюр, какую он две минуты тому назад бросил в огонь.

— Ты что, фокусником стал?— изумился формовщик. Брошюры были точно такого же цвета и формата с надписью на плотной обложке: «Путеводитель по выставке».

— Мастерски, а!— твердил Копта восхищенно.— Учиться да учиться нам такое сработать!

— Старший друг доверил вам распространить их среди литейщиков, только ни в коем случае не раньше, чем придем на место,— предупредил Милош Вонасека.

4

Вацлавская площадь, проспект Пржикопе, Гибернская и другие близлежащие к выставке улицы были оцеплены полицейскими. Одетые в серо-зеленые мундиры, вооруженные пистолетами и саблями, они стояли у края тротуаров и не сводили глаз с колонн чехов, насильно пригнанных сюда. Карл Герман Франк лично приказал шефу пражского гестапо арестовать всех, кто попытается избежать посещения выставки.

Чехи шли мирно. Но если кто вгляделся бы в их глаза, то увидел бы досаду и ненависть — горячую, неистребимую.

Завернув за угол Гибернской улицы, колонна колбенцев оказалась у центрального входа в многоэтажное здание. Начальник литейного, одетый по-праздничному, со свастикой на лацкане пиджака, поднял руку. Рабочие стали по двое, и Франтишек Вонасек начал раздавать литейщикам брошюры. Острая на язык Поспешилова на этот раз молчала. Она не посмела на глазах у полиции отказаться от брошюры, но все же изловчилась плюнуть под ноги Вонасеку так, чтобы начальник не мог видеть. Поднимаясь по широкой лестнице, формовщица заметила, что ее сосед, вагранщик Зденек Червинка, не обращает ни малейшего внимания на пышное убранство площадки, на которую они только что вступили. Он глядел в раскрытую брошюру и совсем, по ее мнению, некстати улыбался.

— Чего скалишь зубы, Зденку?— зло спросила она.

К удивлению Поспешиловой, вагранщик не обиделся, а, наклонившись к ней, шепнул:

— Читай про себя чешский текст. Кто-то обманул Вонасека... Он и не предполагает, какую книжицу вручил.

Литейщики приблизились к двери, на которой красовалась крупная ярко-синяя надпись: «Большевистская угроза западной цивилизации». За дверьми,

в большом светлом помещении, чехи увидели направленные прямо на них разнокалиберные орудия и пулеметы. На стенах висели диаграммы. Колонки цифр поднимались до потолка. Экскурсовод, приставленный к колбенцам, энергично двигая челюстью, выкрикивал из немецкого текста путеводителя изречения Геббельса.

«Большевики желают разорвать Европу на куски, уничтожить древнюю западную культуру. Огнем из этих пушек русские хотят стереть с лица земли музеи Лейпцига и Праги, Парижа и Вены, уничтожить детей Берлина и Братиславы. Выполняйте волю фюрера, и вы навеки обеспечите новый порядок».

Поспешилова раскрыла ту самую страницу, которую читал экскурсовод, и справа от колонки напечатанных немецких фраз увидела чешские слова.

«Братья и сестры!— читала она жадными удивленными глазами.— Геббельс хитро задумал выставку и неплохо осуществил ее. Но получилось как раз обратное тому, что он задумал. С Советским Союзом к победе — об этом и только об этом говорит нам, чехам, выставка. Смотрите на эти прекрасные орудия! Они демонстрируют мощь и совершенство советской промышленности. Их делали советские люди, чтобы спасти не только свою страну, но спасти и тебя, друг, от проклятого гитлеровского нового порядка».

Щеки формовщицы раскраснелись от волнения. Впервые Поспешилова читала такие смелые слова, да еще на виду у оккупантов, на устроенной ими выставке.

Она приблизилась к большому орудию, устремившему вверх свой длинный матовый ствол, и на секунду, словно невзначай, прижалась горячей щекой к прохладному телу пушки.

В следующем зале экспонаты и фотографии должны были, по замыслу Геббельса, показать посетителям отсталость Советского Союза, некультурность советских людей. Снятые с военнопленных и убитых красноармейцев гимнастерки, белье, обувь были рваными и грязными.

«Разве наденет европеец такое рубище?» — вопрошал чиновник, читая текст Геббельса.

«Разве не видишь, друг, крови наших братьев на этой военной одежде? — спрашивал Фучик в своем тексте и добавлял: — Никакой обман не скроет от нас правды!»

Ярослав Копта ощупывал глазами гимнастерки, брюки, грубые, из толстой кожи ботинки, нагибался к ним, вдыхал запах пота, пороха и крови. Он мысленно преклонялся перед людьми, которые носили эту одежду, воевали с захватчиками. Милош Новотны, шедший в паре со сталеваром, услышал его шепот:

— Запомни, Милоше, мы должны за это отомстить!

Фашистский чиновник дошел до бутылок с горючей жидкостью.

— Смотрите, чем воюют русские против наших танков! Они неспособны пользоваться настоящей техникой! — воскликнул он и расхохотался.

В эту минуту вагранщик Зденек Червинка прочитал слова Фучика: «Никто, кроме советского человека, не способен с такой бутылкой пойти против танка. Но бутылки были в первые месяцы войны. Почему Геббельс и Франк не показали нам русскую «Катюшу»? Не дается она в руки, обжигает хвастунов!»

Червинка рассмеялся еще громче немца. Агенты гестапо, расставленные в зале, восприняли смех литейщика как признак успеха выставки среди чешских рабочих.

Юркий фотокорреспондент «Фелькишер беобахтер» подбежал к Зденеку Червинке и щелкнул маленьким изящным аппаратом: сенсация, Геббельс будет доволен!..

Мелко семеня короткими ногами, Вонасек спешил за начальником цеха, и лишь только тот приближался к рабочему, читавшему брошюру Фучика, Вонасек о чем нибудь громко заговаривал, предупреждая об опасности. Девушки в темных костюмах с блестящими медными пуговицами продолжали раздавать

путеводители, и Вонасек был спокоен: «Не поймешь, кто какой дал, никто никого не поймает».

Колбенцы переходили из одного зала в другой. Теперь они с интересом разглядывали экспонаты. Чешский текст помогал им разобраться во всем увиденном.

Один из разделов выставки был назван: «Генерал Мороз помог русским». Юлиус назвал этот раздел по-своему: «Не генерал Мороз, а сила Красной Армии,— вот что заставляет гитлеровцев отступать».

«На полях России еще зима, усиливайте зимнюю помощь!»— призывала левая сторона путеводителя.

«Единственный подарок, достойный нацистов,— хорошая пеньковая петля! — отвечала правая сторона и добавляла: — Пошлите Геббельса к черту — там тепло».

«Вы, чехи, работаете медленно, вы отстаете от немцев. Делайте больше, и Европа победит варварство!» — уговаривал Геббельс.

«Да, вы, чехи, еще плохо действуете против Гитлера, вы отстаете от русских,— напоминал Фучик.— Бейтесь с фашизмом так, как бьются советские люди, и вы будете свободны и счастливы навеки».

«Выставка показывает страшную угрозу, идущую на вас с востока. Стойте за фюрера, иначе у вас все отберут»,— пугал чехов министр пропаганды.

«Выставка не вырвет советский народ и Красную Армию из сердца чешского народа. Никакой обман Геббельса не скроет от нас света с востока, правду социализма!»— говорил в своем «переводе» Юлиус Фучик.

В гуще колбенцев виднелась высокая фигура Ладислава Пексы. Он шел от экспоната к экспонату, настороженный и неторопливый. Среди шпиков, расставленных по залам, были хорошо владевшие чешским языком. Если один из них увидит, прочтет путеводитель с текстом Фучика, десятки людей неизбежно попадут в гестапо. «До чего предусмотрительны члены ЦК,— подумал Пекса.— Хорошо, что активисты были предупреждены и раздавали брошюры не всем посетителям подряд, поэтому все

К стр. 179

идет благополучно. Чехи сердцем чувствуют, как важно скрыть полученные ими брошюры». Он с удовольствием подметил, что Поспешилова незаметно покосилась на приближавшегося к ней подозрительного человека в шляпе, и, быстро закрыв путеводитель, начала оживленный разговор с вагранщиком Червинкой. Во взглядах, в мимолетных улыбках людей Пекса улавливал и удивление, и гордость Советским Союзом и его верными чешскими друзьями, которые своим путеводителем так отважно разоблачали наглую ложь Геббельса.

Когда рабочие вышли на улицу и смешались с густой толпой, до Пексы все чаще стали доноситься насмешливые реплики чехов по адресу незадачливых организаторов выставки. Как хотел Ладислав, чтобы Юлиус Фучик был сейчас среди наэлектризованных его словами пражан!

Со стороны Вацлавской площади послышался нарастающий гул мотора. Из-за угла проспекта сперва показался хобот орудия, а через секунду, яростно гудя и покачивая массивным корпусом, выкатился тяжелый советский танк, подбитый на поле брани немцами и плененный ими.

На его башне большими буквами было выведено: «Фюрер спасет вас от русских танков». Но чехи, глядя на советскую машину, повторяли слова, написанные Фучиком в путеводителе: «Смелее боритесь, друзья, и вы скоро увидите несметное количество таких чудесных танков на улицах родной Праги. Ими будут управлять советские люди, воины-освободители».

Когда советский танк развернулся и стал двигаться к зданию выставки, он, словно огромный магнит, стал притягивать к себе людей. Полицейские отталкивали их от машины, поднимали над головами дубинки, угрожающе кричали. Но нет силы, способной сковать душу народа! Десятки, а через минуту сотни чехов прорвались к танку и огрубевшими от труда руками нежно прикасались к его стальным бокам.

— На здар!

Высокий голос Милады Поспешиловой вырвался из толпы. Жаркое слово привета Советскому Союзу прогремело иад оккупированиой Прагой.

К Миладе бросились полицейские и переодетые в граждаиское гестаповцы. Казалось, что формовщице ие уйти от расплаты за смело брошениый в лицо врагу клич. Но сотии рабочих Колбеики, тысячи пражаи плотиой стеиой прикрыли Миладу Поспешилову, дали ей возможность иезаметно скрыться в густом лабириите переулков Старого города.

ПЕРВЫЙ ДОПРОС

1

Апрель сорок второго года. Шесть пополудни. Сорок минут осталось до встречи с Зикой. И Юлиус, оказавшись в тихом зеленом райоие Ореховки, разрешил себе полюбоваться вечерией, чуть-чуть печальной и от этого еще более прекрасиой Прагой.

Искусница весиа успела приодеть растения в робкую зелень. Ветви каштаиов покрылись клейкими почками. Приземистый кустарник разбросал по поляне искристые рыжие веточки-волосы. Засветились вишиевые заросли, еще деиь-два — и вспыхиут белым пламеием цветов.

Тихо, как бы боясь вспугиуть эту робкую красоту, Юлиус поднялся по аллее бульвара иа возвышеииость севериее Градчан.

Лучи заходящего солица плавили остроклювые шпили храма святого Витта, венчающего древиий и величественный Пражский Кремль — много раз Юлиус иаслаждался и ие мог иасладиться этим гордым творением чехов — Матвея из Арраса и Петра Парлежа. И храм, и весь Кремль, и парки, и извилистые улочки Старого города,— все это было в голубоватой дымке: гляди и иаслаждайся — краше ничего иа свете иет!

...Это же слова Густины. Она говорила ему точно так, когда они года три назад в такой же чудиый

вечер спускались к Влтаве по крутой улице Неруды мимо Пражского Кремля.

Юлиусу даже послышался голос Густины, вероятно, потому, что весь этот час, пока он гулял вблизи пражского Града, он думал о ней.

С мыслями о предстоящей поздним вечером встрече с Густиной Юлиус сел в трамвай, шедший к западной окраине Праги, в его родной рабочий Смихов.

Трехэтажные, с ободранной штукатуркой, давно не крашенные дома тянулись длинными кварталами. И здесь росли деревья, но никто в годы оккупации не ухаживал за ними, тонкие стволы их сгибались от слабости, и даже весной они чахли, точно рахитичные дети. Юлиус сошел с трамвая и направился к дальней улице окраины. Ему встречались на пути молчаливые, с хмурыми желтыми лицами рабочие. «Даже в самые тяжелые годы безработицы,— думал он,— когда половина рабочих Смихова была лишена заработка, на этих улицах не было подобной тишины, не видно было таких суровых лиц. Это тишина перед бурей».

В подъезде одного из стандартных домов Юлиуса дожидался Гонза Зика.

— Вышел встретить. Мою квартиру не так легко найти.

Они поднялись по винтовой лестнице до самого чердака. В темном его углу находилась крохотная с покатым потолком комнатка одинокого токаря, ушедшего в ночную смену. Зика своим ключом открыл дверь.

— Имеешь известия от Черного?— спросил Юлиус, как только они вошли в комнату.

— Он прислал связного с важным сообщением. В Пльзене Черный встретился с товарищем, с которым сражался в Испании, и помогает ему создать в каждом районе ячейку. Работает несколько групп саботажа, самая сильная — на заводе Шкода. Члены этой группы делают мины из металлических трубок.

— Шкодовка... Я же туда бегал мальцом, отцу обеды носил — все цеха знаю... Мне бы туда!

— У тебя в Праге гора работы, не надорвался бы. Ну, говори, что с комитетом? Удается?

Юлиус рассказал, что в революционном комитете чешской интеллигенции начали работать такие авторитетные в народе люди, как писатель Ванчура, доктор Штих, историк искусств Кропачек. Да и на Колбенке хорошие новости. После забастовки в литейном и провала геббельсовской выставки рабочие еще сильнее потянулись в партию.

— В одном только литейном группа из одиннадцати коммунистов. Пекса назвал эту группу «десяткой» и поставил во главе сталевара Копту. Такие же десятки появились в механическом и сборочном цехах завода «Татра». Выходит, массовая партия в условиях подполья не только наша мечта!

«Ты остался молодым, Юлиус,— думал про себя Зика, слушая друга.— Мы хорошо сделали, что дважды посылали тебя в Советский Союз. Ты там многому научился. В сравнительно спокойное время легальной борьбы большая сила накопилась в тебе. Теперь развернулась она!.. Тебе всего тридцать девять. Сколько хорошего ты еще принесешь народу. Надо только время от времени сдерживать тебя, ты бываешь слишком горяч, забываешь о себе...»

— Почему молчишь, Гонза? Рассматриваешь меня, будто впервые видишь.

— Хорошо, что ты поспешил с созданием комитета интеллигенции. Я согласен с его составом, и Черный не будет возражать. Я только хотел тебя попросить дней на десять отложить все твои встречи. С завтрашнего дня до первого мая никуда нельзя показываться, гестапо уже начало шнырять повсюду. К тому же все необходимое к празднику сделали. Твое воззвание к народу написано умно и темпераментно, удачен также материал для первого номера журнала «Творба» и для первомайского «Руде право». Посиди на одном месте и не выходи: нечего рисковать, когда в этом нет нужды.

— Хорошо, Гонза. Сейчас только пойду на встречу с Миреком. С тобой увидимся здесь же второго мая.

2

Клекан привел в этот вечер на квартиру Елинека двух товарищей из группы интеллигенции. Они хотели лично передать Фучику собранные для партии деньги и вместе с Клеканом похвалиться размноженным на стеклографе первомайским номером «Руде право». Клекан рассказывал, какие известия поступают с Восточного фронта. Мария Елинекова готовила кофе.

— Уже без пятнадцати десять, Иозеф,— обратилась Мария к мужу.— Скоро закроют ворота. Почему не идет шеф?— Не зная имени и фамилии Фучика, Мария называла его шефом.

Действительно, почему его нет? Собравшимся было известно, как пунктуален профессор Горак, и то что он запаздывал, вызвало у них тревогу. Несколько раз хозяйка переставляла со стола на буфет и обратно вазочку с цветами, которые она купила для шефа. Клекан поднялся и нервно прошелся по комнате. Наконец раздались два продолжительных звонка.

— Это он,— облегченно вздохнула хозяйка,— открывай быстрее!

Иозеф Елинек пропустил гостя и задержался на кухне, чтобы посмотреть, не закипел ли кофе. Через полуоткрытую дверь он услышал, как шеф возмутился тем, что столько коммунистов без особой нужды собрались вместе. «Зачем вы устроили сборище, будто сейчас легальное время,— долетал до хозяина голос шефа.— Этак мы с вами легко угодим в тюрьму». Клекан стал оправдываться. Сняв с огня кофе, Елинек подумал: «Сейчас скажу шефу, что я обнаружил ячейку на заводе «Юнкерс». Обрадую его». Елинек узнал, что коммунисты завода «Юнкерс» не могут установить связи с руководством партии, и обещал товарищу, который сообщил ему об этом, помочь ячейке.

Иозеф внес кофе в комнату и, сделав несколько шагов к Юлиусу, услышал, как тот тихо предупредил Клекана:

— До первого мая больше никаких встреч!

— Как же мне поступить, профессор? Я назначил на двадцать девятое свидание с организатором группы врачей. Нельзя же не прийти, если условлено...

— Постарайтесь предупредить товарища, а на свидание не ходите.

Юлиус повернулся к хозяевам:

— А сейчас, друзья, разойдемся. Немедленно!

— Выпейте чашечку, пан шеф,— взмолилась Мария Елинекова. Ее добрые глаза так просили Юлиуса, что он готов был уже уступить. В этот момент раздался резкий звонок.

— Кто это, Иозеф?

Повторный настойчивый звонок, затем сильный стук. Так стучать могла только полиция. Сама не зная зачем, Мария Елинекова дрожащими руками схватила маленькую вазочку с цветами. Она не слышала, что сказал ей побледневший муж, до ее сознания дошел лишь голос Юлиуса:

— По одному!.. Через окно!..

В спальне, куда все вбежали, Мария увидела в руках у Юлиуса два револьвера. Он стал у дверей, чтобы прикрывать отход товарищей. Елинек помог жене подняться на подоконник. Она уже раскрыла створки окна, чтобы прыгнуть в темноту садика, но снизу раздался голос:

— Куда, милашка? Стрелять будем!

Юлиус понял, что дом окружен, и решил пробиться с оружием через цепь полицейских. Но было уже поздно. В квартиру ворвалась группа гестаповцев. В первые секунды Юлиус оставался вне поля их зрения. Он стоял в углу, за распахнутой дверью и лихорадочно думал: «Если я выстрелю, погибнут прежде всего товарищи... Застрелиться самому — они все равно станут жертвами стрельбы... Не открою огня,— они посидят несколько месяцев до восстания, которое их освободит. А может, нам удастся бежать по дороге в тюрьму или из тюрьмы...»

— Обыскать квартиру!— приказал гестаповец новой группе эсэсовцев.

Заметив Фучика, они набросились на него.

3

Через час в отделении гестапо по борьбе с коммунизмом долговязый, с острым лисьим лицом и быстрыми хитрыми глазами следователь Бем начал допрос Юлиуса.

В этот вечер гестаповцу повезло, и ему не терпелось узнать, кто же скрывается под именем профессора Ярослава Горака.

— Паспорт твой подложный, лучше будет, если назовешь себя,— уговаривал Бем.

Юлиус в ответ засмеялся. Два молодых эсэсовца сорвали с него одежду. Под ударами резиновых дубинок широкая спина его стала багровой. Юлиус сделал над собой усилие и снова засмеялся в глаза следователю, сменившему Бема. Этот костлявый угловатый человек, по имени Фридрих, требовал назвать имена, адреса. Молчание арестованного привело гестаповца в бешенство.

— Нергр!— крикнул он своему помощнику чеху.— Познакомь новичка с твоим изобретением!

Шел час за часом. Юлиус заставлял себя считать удары и думать, упорно думать только об одном: «Ни слова, ни слова!» Внезапно его перестали мучить. В комнату вернулся Бем. Насмешливо-спокойный тон его голоса был страшнее ударов:

— К нам попал Юлиус Фучик!

«Кто им сказал? Кто назвал меня?»

— Теперь говори, кто еще входит в Центральный Комитет?

Жгучая тревога за товарищей заглушала боль от ударов дубинки по голым ступням. Он уже не был в состоянии видеть тех, кто его мучил, и едва слышал возгласы рассвирепевших палачей. Лишь один раз Юлиус встрепенулся.

— О том, что ты выпускал «Руде право» мне тоже сказали!— язвительно произнес Бем.— Где типография? Радиопередатчики? Не скажешь — умрешь сейчас же!

Пусть в мозг вбивали бы раскаленные гвозди, было бы не так больно, как знать: кто-то из близких

людей предал. Эта мысль была для Юлиуса мучительнее пыток.

Он больше не ощущал ударов, впал в забытье. Струя ледяной воды вновь привела его в чувство, разорвала слипшиеся от крови веки. «Что это? Неужели брезжит рассвет?» За окном плыл синеватый утренний туман, сквозь него пробивались бледно-желтые полосы. «Может быть, все это кошмарный сон и не было никакого ареста?» Он хорошо помнит, что от Елинеков собирался к Густине. Хозяйка приготовила для него пучок свежих ландышей, их можно было принести Густине, она так любит цветы! Но взял ли он их? Принес ли домой? Конечно, принес, иначе откуда взялась Густина? Она идет к нему от дверей, хочет что-то сказать, но почему-то молчит. Может быть, она боится призраков, которые внезапно окружили ее?

И вдруг Юлиус вспомнил все и понял, что в комнате не призраки, а Фридрих и Бем, что не у себя дома он видит Густину... Она стояла в трех шагах от него — бледная, с застывшим взглядом широко открытых глаз. Он видел в них страдание и страх за него.

Когда в комнату пыток ввели Густину и она увидела залитые кровью лицо и грудь Юлиуса, то едва сдержалась, чтобы не броситься, не обнять его. Взгляд Юлиуса вовремя остановил ее — Густина вспомнила уговор: не узнавать, если он попадет в руки врагов. Разве давая такое обещание, она могла знать, как невыносимо тяжело будет ей сдержать слово. Она произнесла: «Не знаю»,— и этим словом приговорила себя к мукам небывалым. Но внезапно ей стало легче: Юлиус улыбнулся ей благодарно. Его взгляд говорил: «Мы сильны, Густина, нас не сломить!»

А в это время первые лучи солнца залили золотом прекрасный сад Небозизек на восточном склоне холма Петржин. Они заиграли на голубом поясе Влтавы, вспыхнули на яркой зелени многочисленных парков и скверов города. Жители раскрывали окна, впуская в свои дома солнце и аромат весны. Люди не спеша завтракали и так же как вчера и позавче-

ра, деловитые, скрытные, угрюмые шли к станкам и в канцелярии к своим бюро. И никто из них не знал, что этой ночью враг лишил их частицы весеннего тепла.

ПРЕДАТЕЛЬ

1

Теплым майским вечером, возвращаясь с работы, Милош увидел у подъезда дома две легковые машины. Болезненно сжалось сердце. Он взбежал наверх, к матери.

В разгромленной комнате были гестаповцы. Из гардероба все выброшено, постель раскидана, столик, за которым мать любила вышивать, перевернут. Она стояла посреди этого хаоса, точно ничего не случилось. Длинный костлявый гестаповец приказал матери одеваться. Божена Новотнова надела летнее пальто, шляпу и вдруг увидела Милоша. В это мгновение что-то в ней надломилось, она потянулась к сыну, но эсэсовец преградил дорогу.

Милош бросился к матери:

— Не пущу!

Эсэсовец ударил Милоша по голове рукоятью пистолета. Милош упал. Божену повели вниз.

...Два дня ее не вызывали. Она сидела на краю железной откидной койки в одиночной камере пражской подследственной тюрьмы Панкрац, не притрагиваясь к клейкому черному хлебу и зеленоватой грязной бурде. На третий день ее повезли в отделение гестапо по борьбе с коммунизмом. В хорошо освещенной продолговатой комнате, на столе у окна, сидел, болтая длинными ногами, гестаповец, который ее арестовал. На другом столе лежали резиновые палки, щипцы, плетки с металлическими наконечниками.

— Вы, надеюсь, отдохнули?— Фридрих громко рассмеялся, показывая ряд гнилых зубов.— Скажите, для кого печатали паспортные бланки? Живо!

Божена Новотнова давно слышала о пытках в гестапо и старалась подготовить себя к худшему, но страх сковал ее.

— Нергр! Переведи на чешский, может быть, она не понимает.

Помощник подошел к старой женщине, ударил ее по лицу.

Фридрих смеялся:

— Ай-ай-ай! Чех ударил чешку!

К Божене Новотновой вернулось обычное, уравновешенное состояние:

— Любая чешская мать удавится, если узнает, что у нее такой сын...

— Заговорила! — обрадовался Фридрих.— Отвечай на мои вопросы.

— Ничего не знаю.

— Нергр, за дело!

Нестерпимая боль обожгла грудь.

— Будешь говорить?!

«Господи, помоги. Господи, дай мне сил».

— Кому давали бланки?

«Они, кажется, знают только о паспортных бланках,— подумала она.— Надо вытерпеть, может быть, они проговорятся...»

— Я вырву у тебя язык, если будешь молчать!— крикнул Нергр.

— Не мешай. Видишь, госпожа деликатная. Она очень любит своего младшего сына, скучает по нем. Хорошо, что я его вчера прихватил, устроим ей сейчас встречу.

«Неужели Милоша взяли?»

— Говори, старая, кто был у тебя? Кому ты продавала бланки? Если подтвердишь показания сына, оба будете свободны.

«Неправда! Милош умрет, но ничего не скажет...»

— Отвечай! Не то на твоих глазах буду пытать сына до смерти.

«Как быть? Надо взять все на себя. А то этот изверг замучит Милоша».

— Сыновья мои никакого отношения к типографии не имели. Я выполняла заказ полиции и сама от-

давала бланки заказчику. Может быть, недосмотрела, лишний выдала.

— Лишний? Это занятно, стоит записать. Кому выдала?

— Не припомню.

Ее стали избивать. Она потеряла сознание. Очнулась Божена уже в другой комнате.

— Знаешь его? Подними глаза!

Перед Боженой Новотновой стоял Юлиус Фучик. Она забыла о собственной боли, когда увидела его рассеченный лоб, его лицо, ставшее неузнаваемым. Только глаза были прежними. Пытки не погасили в них огня.

Словно теплая рука коснулась ее. «Конечно, Юлиус ничего не сказал. Теперь я знаю, как надо себя вести, Юльча».

Фучик узнал Божену Новотнову, как только ее внесли в комнату, где его допрашивали. «Какие у них могут быть улики против Божены? — думал Фучик.— Из тех, кто арестован, бланк паспорта получил от меня один Мирек. Он, вероятно, молчит, так же как и я. К тому же он даже не знал, у кого я добывал удостоверения личности. Одна лишь улика может быть против Новотновой: паспорт Мирека... Как сделать, чтобы она показала на меня, это облегчит и ее участь, и участь Милоша. Если же она ничего не скажет, негодяи могут арестовать юношу, а ее убить!»

— Узнаешь? Этот был у тебя?

Новотнова правой рукой держалась за стену, левой прикрывала обнаженную грудь.

— Нет, я этого человека никогда не видела!

Несколько раз плетка хлестнула ее по спине.

— Признавайся, кому ты продала лишний бланк?

— Перестаньте бить, и она вспомнит, как я пришел, просил продать бланк за тысячу крон...

— Молчать!

От удара дубинкой Фучик пошатнулся, но удержался на ногах. «Нельзя терять сознания: идет поединок за жизнь матушки Новотновой, держись, Юля!»

Он улыбнулся ей глазами. Она, кажется, поняла.

— Он был у тебя?

— Да, он, припоминаю... Единственный раз был... Продала ему один бланк... Думала — бродяга.

— Как его зовут? Что знаешь о нем?

С окровавленных губ еле слышно срывались слова:

— Я могу только сказать, что он хромал на левую ногу, ходил с палкой, предполагаю, у него протез. Больше ничего о нем не знаю.

— Уведите ее!

Божену Новотнову выволокли из комнаты.

Всю свою ярость Фридрих готов был обрушить на Фучика. Но в это время раздался телефонный звонок. Шеф основного отделения гестапо вызывал следователей к себе, и Фучика отвели в «четырехсотку».

2

Просторное помещение на четвертом этаже, куда помощник Бема препроводил Юлиуса, получило свое название от цифры «400», тщательно выведенной белилами на желтой двери. Желая облегчить себе ведение допросов, следователи гестапо устроили комнату ожидания для подследственных коммунистов тут же, рядом со своими канцеляриями. Главные заправилы отделения по борьбе с коммунизмом были довольны своим налаженным конвейером. В тупой самоуверенности и кичливости они не замечали, что делалось в «четырехсотке».

Между тем для мучеников гестапо помещение под номером «400» стало спасительным островком. Здесь заключенные чувствовали себя свободнее, так как в «четырехсотке» за ними наблюдали в большинстве случаев чешские инспекторы и переводчики, часть которых втайне сочувствовала и поддерживала заключенных. Но не это было главным. На физически истерзанных людей целительное действие оказывала здесь атмосфера дружбы, дух боевого коллектива, не поддающегося ни провокациям, ни запугиванию. Еле заметный кивок или товарищеское рукопожатие, улыбка и ободряющее слово нередко спасали тех, кому уже казалось, что нет никаких сил продолжать борь-

бу. «Четырехсотка» стала школой мужества. Героическое поведение руководителей Коммуиистической партни сильнее всякнх слов звало коллектнв не только обороияться, но и иаступать.

Едва иа пороге показался Фучик, заскрнпели длииные скамьи. Люди с красиыми леиточками, пришитыми к левому рукаву, повериулись к вошедшему.

Аииа Ираскова подиялась с места иа задией скамье. Ее помутиевшие глаза залил свет. Аина видела Юлнуса в Паикраце через пять дней после его ареста, когда его прниесли в мрачную каицелярию тюрьмы для очной ставки. Трудио было узиать в полуживом, истерзаииом человеке Юлиуса. Как заклинаиие, повторял ои тогда два слова: «Не зиаю»; и его почериевшее лицо и сгустки крови на губах казались предвестииками близкой смерти. После той очной ставки передавали, будто Юлиус, ие выдержав пыток, скоичался, потом распростраиился слух, что ои повесился в своей камере. Все эти слухи доходили до Густниы, посажеииой в одииочиую камеру. Трудио было поверить, что можно пережить мукн, которым подвергали Юлиуса. И вдруг Аииа увидела его, воскресшего нз мертвых. Как жаль, что Густину перевели из одииочки, и Аииа ие сможет постучать ей вечером, сообщить, что Юля жив, что ои без постороиией помощн вошел в «четырехсотку» и стоит с высоко подиятой головой, словио хочет сказать всем: «Друзья мои любимые, будьте стойки!»

Не только те, кто зиал прежде Юлиуса,— все заключеииые встретили его теплыми, благодарными взглядами. О его мужествеииом поведеиии передавали из камеры в камеру Паикраца. Заключеиные стралнсь хотя бы в щелке тюремиых дверей увндеть этого иесгибаемого человека, чья стойкость преодолела иепрерывиые миогодневиые пытки, чьн отказы отвечать иа вопросы о подпольиой деятельиости коммунистов вызывали бешеиую злобу гестаповцев.

Служащий гестапо, приставлеииый караулить Юлиуса, велел ему сесть у самого окиа иа отдельный стул. Отсюда Юлиус мог видеть всех товарищей, а через окио, затянутое решеткой,— родиую Прагу. Но он

не смотрел на цветущие сады и бульвары района Летны, его ни на минуту не покидала мысль: кто мог в ночь на 25 апреля назвать его имя н этим выдал гестаповцам Густину.

Через несколько минут двое караульных ввели в «четырехсотку» Клекана и супругов Елинеков. Руки Иозефа были перебиты в запястьях.

Снова открылась дверь, и не знакомый еще с порядками в «четырехсотке» человек громко произнес:

— Добрый день, соудрузи!

Юлиусу показалось, что гестаповец ударил его, а не новичка, члена Революционного комитета чешской интеллигенции. «Никто, кроме меня и Клекана, не знал его как работнника подполья. Кто же его выдал? А Штиха?.. О нем, как об организаторе группы врачей, опять-таки знали только я да Клекан...»

Караульный втолкнул в помещение еще одного заключенного.

Ладя Ванчура! Юлиус до крови закусил губу, чтобы не вскрикнуть. Появление писателя, которого он страстно любнл и воспитывал как политического бойца, окончательно потрясло его. За спиной Ванчуры он увндел Кропачека и других членов революционного комитета чешской ннтеллигенции. Гестапо могло их арестовать только при наличии показаний человека, близкого к ним в последнее время. А этим человеком был Клекан. Значит, он?!

Это был единственный ответ. И Фучик заметил то, чего до сих пор не замечал: испуганные, вороватые глаза Клекана, его втянутую в плечи голову. Всего минута прошла, а Фучик уже размотал запутанный клубок неясностей, которым не мог найти объясненнй за несколько мучительно длинных, прошедших со дня ареста недель. «Предатель! — с презрением произнес про себя Фучик, глядя на Клекана.— Его кажущиеся отвага, искренность убеждений исчезли после первых же ударов. На воле, среди смелых н сильных, он и сам казался отважным и стойким бойцом. Но как только остался однн, с глазу на глаз с врагом, сразу же раскрылось его гнилое нутро, и он растерял даже видимость благородства и чести. Клекан мне говорил на

квартире у Елинека, что ему предстоит встреча с организатором группы врачей. Выходит, он проговорился гестаповцам о месте предстоящей встречи, иначе не могли арестовать Штиха: Клекан не знал его подпольного адреса. Показания Клекана навели на след Ванчуры и всех, кто вошел или должен был войти в революционный комитет деятелей культуры. В первую же ночь после ареста, в первый же час допроса он назвал мое имя и этим погубил Густину. Он выдал явки и предал Анну Ираскову. Клекан рассказал гестаповцам, что я его снабдил паспортом, и облегчил розыски Божены Новотновой. Неужели он выдал и Лиду Плаху?..»

Когда гестаповцы уверили Клекана, что Фучик скончался, Клекан, не боясь больше встречи с ним, назвал все имена, которые мог припомнить. Ему трудно было остановиться даже тогда, когда от него потребовали назвать связного Фучика. И Клекан выдал Лиду. Теперь он то и дело оглядывался на заднюю скамью, где сидели женщины. Ему мерещилось, что Лида уже здесь, в «четырехсотке».

Клекан попытался выдержать взгляд Фучика, но этот взгляд заставил Клекана содрогнуться. Перед Фучиком был враг, существо, которое предало великое дело ради своего спасения. Он глядел на Клекана с ненавистью. «Это ничтожество еще может сеять смерть среди подпольщиков! Надо обезоружить его, раздавить...» Если бы караульный гестаповец не стоял все время на страже около Фучика, он подскочил бы к Клекану, схватил его за горло и громко объявил бы:

— Вот он, трус и предатель, остерегайтесь его, как прокаженного, он опаснее открытых врагов!

Вечером эти слова перестуками и записками передавались из камеры в камеру по всей тюрьме.

3

В первые же недели Юлиусу Фучику удалось установить связь со всеми камерами. 29 мая коридорный из заключенных сообщил ему, что арестовали Гонзу Зику.

В те дни, в связи с убийством чешскими патриотами гитлеровского протектора Гейдриха, в Праге шли массовые облавы. Полицейские ворвались в квартиру, где находился Зика, и он, не желая подводить хозяев, неудачно выпрыгнул из окна третьего этажа и повредил себе позвоночник. Состояние Зики было очень тяжелым, и тюремщики вынуждены были поместить его в больницу. Фучик переслал записку Гонзе и получил ответ.

«Хвалю тебя и горжусь тобой,— писал Зика.— Показания для протокола можешь давать, придерживаясь своего решения: брать на себя вину товарищей, находящихся на воле, чтобы их перестали искать; говорить о заключенных то, что им не повредит, а поможет. Впрочем, ты прошел здесь такую школу, что не мне тебя учить. Мое здоровье скверное, долго не продержусь. Обнимаю. Твой друг».

Теперь они регулярно обменивались краткими письмами. Будучи в разных корпусах, разделенные толстыми тюремными стенами, два члена ЦК искали возможности установить связь с подпольем, обсуждали планы действий и в тюрьме и на воле. Внезапно переписка прервалась.

Коридорный сообщил Фучику, что пробраться в больницу нельзя будет. В тот же день Фучика привезли в гестапо. В комнате Бема было несколько следователей.

— Смотри, он уже без посторонней помощи ходит! — удивился Фридрих.

Бем приказал Фучику сесть.

— Что за женщина приходила к тебе на квартиру? С кем она еще была связана?

— Не знаю никакой женщины. Я сам вступал в непосредственный контакт с нужными людьми.

— Отдайте мне его! Он слишком здоров, чтобы признаваться,— попросил Фридрих.

Бем не обратил внимания на Фридриха.

— Мы узнаем об этой женщине у Зики.

— Никто вам ничего не может сказать о ней по той простой причине, что эта женщина существует лишь в вашем воображении.

— Привести! — скомандовал Бем своему помощнику. Прошла минута, и в комнату ввели сгорбленного Гонзу. Лицо его, обтянутое дряблой кожей, казалось восковым. Увидев поднявшегося со стула Фучика, Гонза шагнул навстречу. Мягкая улыбка на его лице говорила: «Нам уже нечего скрывать, что мы знакомы, Юля!» В последний раз они подали друг другу руки.

Зику начали допрашивать. Он отказался отвечать. Тогда к нему подскочил Фридрих. Это была его добыча, и он уже не спрашивал у Бема разрешения. Пока Гонза не упал, палач бил его по спине и лицу.

Фучик остался вдвоем со следователем. Бем поглаживал смуглые худые щеки.

Фучик сидел неподвижно, малейшее движение отзывалось болью.

— У моих коллег весь ум в кулаке. Хорошо, что ты попал ко мне, а то Фридрих давно отправил бы тебя на тот свет,— сказал Бем, прищурив глаза.

— Приходится жалеть, что я попал к вам.

— Разве? Ты ведь так любишь жизнь. Не могу до сих пор понять одного, почему ты не попробовал спасти себя, когда я ворвался на квартиру к Елинекам. Тебя никто не заметил, в руках было два заряженных револьвера, да еще восемнадцать патронов в запасе. Ты мог стрелять мне в спину!

— Мог, да не пожелал,— Фучик повернулся к следователю.— Было бы неразумно применять оружие при тех обстоятельствах. Кроме вас, было еще восемь вооруженных, вы бы успели убить двух женщин и трех безоружных мужчин, которые, я надеюсь, дождутся свободы. Знал бы я тогда, что Клецан выдаст, я бы воспользовался оружием: одну пулю — Клецану, другую себе.

У Бема разгорелись глаза.

— Хорошо сказано. Стоит занести такие слова в протокол.

Следователь быстро записывал. Надо же в конце концов составить хотя бы один протокол допроса, начальство уже высказало недовольство его возней с Фучиком. Пора добиться каких-нибудь показаний.

— Сколько раз ты сидел в тюрьме до нашего прихода в протекторат? Сколько раз тебя арестовывала чешская полиция? — спрашивал Бем, не отрываясь от бумаг.

— Лишние вопросы. Министры чешского буржуазного правительства давно передали Карлу Герману Франку все документы о революционной работе коммунистов до марта тридцать девятого года. Один из этих документов — в ваших руках. Зачем мне повторять?

— Отвечай! — вспылил Бем.

— Что ж, вам, видно, мало записей старой полиции. Могу повторить. Пишите: в тридцатых годах прокурор Чехословацкой республики восемь раз начинал дело против меня за активную работу в Коммунистической партии. Десять раз, кроме того, я сидел в полиции. Правительству не нравились мои поездки в Советский Союз, выступления с докладами об этих поездках, мои статьи и книга о стране социализма — та самая книга, которая лежит сейчас перед вами.

— Что ты мне скажешь о подпольщике Беране? — перебил вдруг следователь.— Назови его настоящее имя! Расскажи о его деятельности!

Фучика встревожил вопрос следователя.— «Беран — подпольное имя Гонзы Черного! Неужели показания Клекана навели гестапо на его след!» Но внешне Фучик оставался спокойным, пронзительный взгляд Бема не мог обнаружить внутреннего волнения подследственного.

— Никакого Берана я никогда не знал.

— Я дам тебе очную ставку с Клеканом, и ты заговоришь, когда он изобличит тебя во лжи!

— Сам хотел бы встретить его,— многозначительно ответил Фучик.

Бем давно собирался устроить эту очную ставку, но боялся, что его подследственный может так повлиять на Клекана, что тот, пожалуй, откажется на суде от прежних показаний.

Теперь он окончательно убедился, что очная ставка может только ухудшить и без того вялое течение следствия.

— Так с кем ты имел непосредственную связь? Назови имена!

— Я имел дело с людьми, которых вы по своей оплошности поспешили за последний месяц расстрелять. С Анной Ирасковой, с инженером Штанцлем; от него я получал материальную поддержку.

— Так ты подпишешься под протоколом? — воскликнул Бем. Юлиус уловил, что следователь потерял терпение, что ему теперь важно уже только одно: не испортить своей репутации, доказать начальству, что его двухмесячные старания не пропали даром. Юлиус понял, что сейчас наиболее удачный момент для того, чтобы свести на нет показания Клекана о Лиде и других подпольщиках.

— Хорошо, я подпишусь, но только в том случае, если вы зафиксируете, что Лида Плаха не имела никакого представления о моей нелегальной деятельности и сопровождала меня на свидания, не зная, кто я такой и что я делаю. Дальше! Радиосвязь с Москвой до самого дня ареста не была установлена. Ярослав Клекан сказал вам неправду.

Бем торопливо писал под диктовку подследственного...

— Пишите дальше: я не знал ни о какой военной организации в Пльзене. Клекан перед вами просто бахвалился своей осведомленностью. Он лгал, что я был членом Центрального Комитета, опять-таки с целью добиться вашего расположения.

Бем отложил перо и стал набивать трубку. Ему очень хотелось зацепиться за какой-нибудь факт, чтобы можно было поохотиться за оставшимися на свободе.

— Так ты теперь скажешь, что за женщина приходила к тебе на квартиру в конце прошлого года? Фамилия?

Юлиус насторожился. Бем кое-что знает, раз он вторично спрашивает о ней. Надо попытаться сбить его с пути, чтобы он не мог нащупать следы молодой работницы телеграфа, представляющей важную информацию для партии. К тому же, если Бем запишет в протокол, что женщина приходила в качестве

связиой от нензвестного мне члеиа ЦК, то этнм будут опровергаться показаиня Клекана, что я был членом Центральиого Комнтета...

— Нн фамилии жеищины, ин того, кто ее посылал, я не зиаю. Лишь догадывался по заданиям, что это был члеи Цeнтральиого Комнтета.

— Говорн о женщине все, что зиаешь.

— В начале ноября,— начал рассказывать Юлиус,— на условленное место у Вышеградского вокзала прншла иезиакомая жеищина. Она обратнлась ко мне с паролем: «Вы господин профессор?» — н сообщила, что десятого ноября в 16.30 здесь же на вокзале я могу встретнть того, кто мне иужеи.

— Опиши ее внешность.

С минуту Юлнус помедлнл. Потом ои, слегка иаклоинв голову н зажав подбородок в развилке большого н указательиого пальцев, стал рисовать черты одной нз вымышлеиных героинь своего иезаконченного ромаиа.

— Ей около сорока лет. Сто шестьдесят пять — сто семьдесят саитнметров ростом. Полиая,— ои сделал паузу, словно вспомниая подробностн.— Прнпомнаются темиые волосы, прнятный голос. Оиа была очень хорошо одета и производила впечатленне человека из нителлигентиых кругов.

Бем, пыхтя трубкой, запнсывал. Но, когда Юлнус стал вдаваться в общне, инчего не значащне подробностн, он бросил ручку и потяиулся.

— Удивнтельиые вы людн, коммуннсты,— проговорнл склонный пофнлософствовать следователь.— Больше всех вреднте иам, а поймать вас трудно. А когда коммуннста посаднщь, то он ведет себя так, словно все богатство рейха в его руках. Скажн по совести, что тебя в тюрьме поддержнвает?

— Меня поддержнвает сознанне того, что вы в Чехословакнн не только непрошеиые, ио и временные гостн. В теченне трех лет не моглн меия поймать не столько нз-за того, что я нзменнл свою внешность нлн из-за моей способностн скрывать организацню, а потому, что меня окружали простые, верные сердца.

— Ты неисправим,— перебил его Бем.— С тобой сердца, а с нами оружие! Попробуй, повоюй одними сердцами против наших танков!

Лицо Юлиуса разгорелось.

— И у меня есть танки, и у меня есть армия, господин Бем, и армия посильнее вашей. Это Красная Армия Советского Союза! Я верю в ее силу, знаю, что она уничтожает и скоро уничтожит фашизм.

— Ты забываешь,— разозлился Бем,— что если твоя мечта когда-нибудь осуществится, то ты уже к тому времени будешь мертвецом. Чем хуже дела будут у нас, тем скорее наступит твоя смерть.

— Смерть никогда не устрашала коммунистов. Я погибну, зная, что дело мое побеждает, что и моею кровью добыта победа. А вы? С какими мыслями вы уйдете из этого мира, когда ваш гитлеровский рейх лопнет?

Не найдя, что ответить подследственному, Бем вернулся к допросу:

— Вернемся к делу. Тебя, я вижу, ничем не проймешь.

Но к допросу вернуться не пришлось. В комнату ввалился пьяный Фридрих и, дыша винным перегаром, прохрипел:

— Отдал богу душу твой дружок. Позвоночник совсем сломался, надвое!

Юлиус понял: Фридрих замучил Зику, нет больше обаятельного человека со светлым умом и большой душой. Юлиус не мог сдержать себя и бросился на Фридриха с тяжелым пресс-папье.

...Когда дверь камеры № 267 на Панкраце закрылась за надзирателем, старый шестидесятилетний учитель Пешек склонился над телом Юлиуса и прошептал в отчаянии:

— Теперь, видимо, конец...

ВЗРЫВ

1

Неподвижно и задумчиво стояла у зеркала Альбина Вонасекова, словно видела в нем чужое отражение и изучала его. Впервые за четыре года оккупации она так внимательно всматривалась в свое лицо и с горечью думала, как постарела для своих сорока лет. Больно было признаваться, что ее красота быстро исчезает.

Погруженная в свои мысли, Альбина не заметила, как вошла дочь и стала с ней рядом.

— Ах, Власта! Как ты напугала меня,— с нежностью глядя на дочь, сказала Альбина.— Тебе к лицу новое платье!

Мать, не скрывая, любовалась дочерью. Она видела в ней повторение самой себя. «А ведь, кажется, совсем недавно была такой же...»

— Ты, мамочка, почему грустишь? — спрашивала девушка.— Я хочу, чтобы ты в новогодний вечер была веселой-веселой. Мне почему-то так радостно сегодня! — и Власта крепко обняла мать.

— Ну, хватит! — Альбина легко отстранила дочь.— Нужно накрыть на стол. Возьми в шкафу праздничную скатерть, а я переоденусь.

Уже лет пять, как Франтишек купил жене и дочери отрез шелка, но безрадостная, подневольная жизнь в годы оккупации Чехии не располагала к нарядам. Все же за несколько дней до Нового года Франтишек заставил жену сшить платья. «Скоро наступит настоящий праздник. Не в рваных же платьях тебе и Власте встречать свободу».

С утра Альбина и Власта приводили в праздничный вид квартиру, чтобы до возвращения Франтишека с работы приготовить все дела семейного новогоднего вечера.

До прихода мужа оставалось полчаса, и Альбина, надев новое платье, спешила поставить на стол скромные праздничные блюда, которые она умудрилась приготовить из мизерного пайка.

— Вашек, где ты? Помоги мне перенести в столовую посуду! — позвала Альбина.

Из детской вышел десятилетний мальчик. Синяя праздничная рубашка еще резче выделяла его бледное лицо.

— Снова зачитался, сынок? Тебе нельзя переутомляться.— Мать поцеловала мальчика.— Иди к Власте, сейчас придет папа.

Все расставлено по своим местам, уже несколько раз Альбина подогревала традиционные новогодние блюда, а Франтишека не было. Альбину охватывало все большее беспокойство. Уже не раз выходила она навстречу мужу за ворота домика. Власта бродила по комнатам, не зная, чем заняться. Вашек то и дело подбегал к матери.

— Когда же папа придет?

— Не знаю, сынок, почему-то он задержался. Хочешь, выйди ненадолго, может, встретишь его.

Стенные часы пробили десять. «Что же это? Начальник службы охраны,— подумала Альбина,— на все способен. То, что Франтишек у начальника цеха на хорошем счету, еще ничего не значит». Муж стал замкнутым и молчаливым, и, сколько она ни расспрашивает, не добьется, что у него делается на заводе.

Наконец послышались шаги мальчика. Еще с порога он предупредил:

— К нам гости.

— Гости? — обрадовалась мать, предположив, что Франтишек привел своих старых друзей. Накинув шаль, она вышла навстречу.

На крыльце стоял Ярослав Копта. Он усердно очищал сапоги от снега.

— Где Франтишек? — дрогнувшим голосом спросила Альбина, забыв пригласить Копту в дом.

— Франтишек просил передать, что задержится на заводе часа на два. Ему предстоит срочная работа... Свою семью я на время отослал в Мораву, так что меня сегодня никто не ждет... А у вас тепло, уютно!

Последние слова Копта произнес уже в комнате. Власта вопросительно смотрела на сталевара, на

сверток, который он начал бережно развертывать. Копта лукаво и многообещающе подмигнул детям.

— Ага, вот оно! Отец прислал. Ну, пожелаю вам счастливого года!

На широкой ладони сталевара стояла маленькая елка. Вашек и Власта с восторгом разглядывали миниатюрные игрушки, искусно сделанные из тонких стальных стружек. Вершину елки украшала пятиконечная, выточенная из красной меди звездочка.

— Красиво как! — воскликнул Вашек, а Власта, не отводя восторженного взгляда от звезды, спросила:

— Как ее делали? Ведь гестаповцы...

— Мало ли что гестаповцы,— неопределенно ответил Копта и поставил елочку посреди стола.

Хозяйка, захлопотав у плиты, пригласила гостя поужинать.

— Спасибо, я сыт.— Он снял с себя пальто и сел в сторонке.— Франтишек просил, чтобы вы накормили детей и уложили их спать... А мы с вами подождем его.

Пока дети ели, Альбина украдкой поглядывала на гостя. Копта рассказывал Вашеку народную сказку о новогоднем вечере, улыбался Власте, но, как только они ушли спать, лицо его посуровело. Он покручивал кончики усов и, казалось, к чему-то прислушивался. Убедившись, что дети заснули, Альбина стала жаловаться сталевару:

— Кажется, и Франтишек немало зарабатывает, и я до полуночи не отхожу от швейной машины, а жить трудно! По пять дней в неделю дети не видят ни жиров, ни сахара. Боюсь за Вашека, вы слышали, как он подозрительно кашляет? Ему бы молока с салом растопить, а где это найдешь? Немцы все забрали у крестьян. Тут недалеко, в деревне, люди втихомолку весь скот зарезали, троих за это в тюрьму бросили. И сколько может еще длиться такое? Четыре года страдаем!

— Скоро все изменится, пани Вонасекова. Русские охватили армии Гитлера клещами величиной с нашу Чехию и Моравию. Ну, а чехи, как вы знаете, любят хороший пример: кое-кто и пособляет русским...

Альбина Вонасекова насторожилась:

— Франтишек что-то опасное придумал?

— Ничего не придумал... Не позже, как через час, он будет дома.

Но Альбина чувствовала, что сталевар что-то от нее скрывает.

2

После смены Ладислав Пекса сказал Ярославу Копте:

— Сегодня в полночь. У вас готово?

От волнения Копта не мог сразу ответить. Сколько времени он вынашивал свой план, готовился с товарищами, ежедневно рискуя попасть в руки гестаповцев. И вот, наконец, пришло время.

— Все готово.

— Сколько достали толовых шашек?

— На десяток больше, чем вы советовали. Остается снести их в одно место. Я и Милош поможем Тонде.

— Вы уйдете с завода немедленно. С Тондой останутся Милош и Вонасек.

У сталевара задергалась щека. Он понимал, что без сборщика Тонды, который лучше всех знал подземные ходы под сборочным цехом, обойтись нельзя. Милоша Новотного он сам назначил в боевую группу. Но почему Вонасек? Разве Копта хуже формовщика?

— Мне не доверяют?..

— Начальство оставило Вонасека заканчивать срочный заказ,— помедлив, объяснил Пекса.— Его пребывание ночью на заводе не вызовет подозрения. К тому же вам нельзя каждый раз самим подставлять голову — Центральный Комитет утвердил вас руководителем заводской организации, и вы отвечаете, соудруг Копта, не только за себя, а за всех товарищей, за все, что происходит на заводе.

— А вы?

— Перехожу на другую работу, связь будем держать через Милоша.

Радость, что партия оказывает ему такое доверие, омрачилась для Копты: он должен уйти с завода в

опасный для товарищей час... Пекса удалился. Копта постоял в раздумье, а потом быстро направился к формовочному пролету. «Встретить бы Вонасека, пожать ему руку».

— Куда ты это? — Перед сталеваром, словно из-под земли, появился формовщик.— Иди и не волнуйся. Все будет как нельзя лучше... Если тебе не трудно, передай это детям, они ждут к празднику.

Он вручил сталевару маленький сверток и подался в глубь цеха.

...К десяти часам вечера Вонасек отправил домой формовщиц из своей бригады и, оглянув опустевший цех, зашагал к конторке. Начальника, как он и предполагал, давно уже не было. «Поспешил Новый год встречать. Что ж, желаю...» Вонасек вышел через узкие двери литейного и направился к сборочному, держась поближе к стене. Хотя и было условлено, что часового уберут до его прихода, Франтишек все же помедлил, осмотрелся возле входа в тоннель, где всегда стоял часовой, и, убедившись, что солдата действительно нет, стал спускаться по ступенькам вниз. Там, где тоннель поворачивал вправо, перед формовщиком вырос Милош.

— Часового убрали и тол принесли. Можно приступать?

Ежедневно, в течение нескольких недель, члены боевой группы Ярослава Копты приносили сборщику Матушу Тонде четырехсотграммовые толовые шашки. Сейчас Милош и Тонда снесли эти шашки в одно место.

— Ты не ошибся? — спросил Вонасек подошедшего Тонду.— Мы находимся между конвейером и складом?

— Еще четверть века назад я здесь скрывался от австро-венгерской полиции,— с укоризной ответил Тонда.— Меньше спрашивай, надо быстрее копать!

Тонда установил, что пост у входа в тоннель меняется через каждые четыре часа, а в промежутках между сменами проверяется редко. Так что примерно до часу ночи навряд ли кто мог заглянуть в этот далекий заводской закоулок. Оглушив часового, Тонда с

Милошем убрали его в глубину тоннеля. Однако надо было спешить — мало ли что может взбрести на ум начальнику заводской охраны в новогоднюю ночь!

Рабочие короткими лопатами подкапывались под стены: Вонасек и Тонда — под фундамент конвейера, Милош — под фундамент центральной площадки склада готовых моторов. Тонда тяжело дышал: ныло, глухо и ощутимо билось больное сердце, не давало быстро копать. «Отстану — задержу всю работу»,— с тревогой думал он. Но на помощь старому сборщику подоспел Милош.

Вонасек стал укладывать заряды, считая про себя,— в каждую щель пятьдесят килограммов тола. Наконец позвал Новотного.

— Начинай соединять, пора! — приказал формовщик.

Милош вынул из кармана детонирующий шнур и прилег на землю. Вонасек карманным фонариком освещал углубление, в которое ловкие пальцы Милоша вставляли шнур с капсюлем-детонатором на конце. Прошло еще минут пятнадцать, и концы шнуров из крайних ям, засыпанных землей и слегка утрамбованных, потянулись к средней яме. Здесь Милош соединил все три конца еще с одним капсюлем-детонатором, а от него сделал метровый отвод огнепроводного шнура.

Два вечера Ладислав Пекса объяснял Милошу, как надо произвести взрыв, чтобы он охватил как можно большее пространство и мог разрушить основное крыло сборки и склад готовых моторов. Все было продумано Пексой до мельчайшей детали, и вот юноша под контролем требовательных глаз формовщика выполняет план своих руководителей.

— Спички! — сказал Вонасек.— У Карла Германа Франка собрались на новогодний бал, поздравим его и гостей с Новым годом!

Тонда дал Милошу спички. Какое-то мгновение все трое не могли оторваться от огненной змейки, которая медленно пожирала шнур. Одна секунда — один сантиметр, полтора метра будут гореть около трех минут. Они успеют выбежать из тоннеля и удалиться от цеха

на достаточное расстояние, чтобы взрыв не мог их достичь.

— Беги, Тонда! — поторопил Вонасек и, все еще оглядываясь на скользивший по земле огонек, бросился за сборщиком по темному подземному коридору. Милош догнал его у поворота тоннеля. Они обогнали сборщика, начали подниматься по крутой лестнице.

— Краузе! — неожиданно донеслись до них пьяные крики немцев и послышалось топанье у самого входа в тоннель. Трое отпрянули: кто знает, сколько дружков этого Краузе пришли выпить ради Нового года? Вонасек выхватил острый длинный нож и прижался к стене, лицом к выходу. Милош присел за камнем со стальной палицей. Тонда подумал: «Они задержат у входа в тоннель немцев, не пустят их к зарядам, а я побегу проверю, если откажет огнепроводный шнур или капсюль-детонатор, заменю их запасной зажигательной трубкой».

Добежав до места, где тоннель поворачивал вправо, Тонда заметил огонек, струившийся по земле. Секунда-две нужны ему были, чтобы повернуть обратно, оказаться за углом, где взрывная волна не могла бы с большой силой ударить его. Но Матушу Тонде суждено было увидеть им же подготовленный взрыв.

...Милоша отбросило к стене. Несколько секунд он был без сознания. Придя в себя, он поднял окровавленную голову, окликнул товарищей, но в ушах так гудело, что он не услышал собственного голоса. Тогда он ощупью стал пробираться ниже, туда, где за его спиной остановился Тонда. Еще несколько шагов, и стальные плиты свода, камни, вырванные с огромной силой из стен, преградили ему путь. Спотыкаясь, Милош возвратился к выходу и наткнулся на Вонасека.

— Ты Милош? Где Тонда?

— Его нет, он, должно быть, повернул назад.

— Беги! Охранников, наверное, засыпало. Я идти не смогу: нога...

— Я вынесу.

Милош с трудом поднял Вонасека, взвалил на плечи, поднялся по лестнице. У выхода громоздились гора искромсанных железных конструкций, глыба бе-

тона, которые похоронили под собой охранников, пришедших побалагурить со своим приятелем Краузе.

Юноша задыхался под тяжелой ношей.

— Оставь меня, вместе с завода не уйдем,— прошептал Вонасек.— Слышишь гудки? Сейчас займут все выходы... Ты один сможешь пробраться. Скажешь Пексе — сделали все, что могли.

Но Милош продолжал нести формовщика. Он решил незаметно добраться до литейки. «Сталевар Олива работает ночью, он не оставит в беде рабочего»,— подумал юноша.

— Куда несешь? — хрипло спросил обессиленный формовщик.

— К мартену, там Вацлав Олива.

— Он меня скорее в печь бросит, чем поможет... Положи на землю, незачем пропадать обоим.

Где-то позади, должно быть, у проходных ворот, загудели машины. Милош протиснулся через пролом в стене цеха и положил Вонасека в темном углу под лестницей, что вела к рабочей площадке мартена.

3

От мощного взрыва взлетело в воздух несколько секций главного конвейера сборки и часть склада, где лежали сотни готовых моторов. Огромный сборочный цех, склад и соседний с ним механический цех были объяты огнем. Рабочих в эту новогоднюю ночь на заводе почти не было, и городские пожарные команды долго не могли потушить гигантское пламя. Из десятка охранников внутри сборочного цеха остались в живых четверо. Раненых полицейских не отвезли сразу в больницу, их сперва допрашивал следователь гестапо Фридрих, который примчался через двадцать минут после взрыва. Начальник эсэсовского отряда, окружившего по приказу Фридриха завод, доложил, что собаки-ищейки не нашли вокруг Колбенки никаких следов диверсантов. Фридрих был взбешен.

— Привести немедленно всех начальников цехов! — крикнул он.

Пьяного начальника литейного эсэсовцы вытащили из квартиры. Услышав взрыв, он успокоил своих гостей, что это на карьерах проводятся взрывные работы. Но на заводе начальник сразу отрезвел. В сопровождении Фридриха и нескольких эсэсовцев он вошел в литейку.

От сильного сотрясения из-под крыши сорвалось в формовочный пролет несколько балок, цех застилала густая черная пыль.

— Кто оставался работать ночью? — допрашивал Фридрих. Ему в эту ночь ни в чем не везло. Схваченный гестаповцами член ЦК компартии Гонза Черный, несмотря на утонченные пытки, не давал никаких показаний. Этот человек с простреленным легким только выплевывал кровь и, услышав взрыв, дерзко сказал Фридриху: «Вот вам мой ответ на все вопросы!» Разъяренным примчался гестаповец на Колбенку. Он готов был растерзать всех, кто допустил взрыв, даже начальника литейного цеха, чешского фашиста.

— Отвечайте, когда спрашиваю! Кто работает сейчас?

— Бригада сталевара Оливы, а в формовочном пролете формовщик Вонасек. Люди надежные.

— Надежные! — с издевкой процедил сквозь зубы Фридрих.— Покажите-ка мне этих надежных.

Они поднялись по лестнице к мартеновской печи. Здесь пыль была еще гуще. Словно сквозь сетку, маячил на рабочей площадке сталевар Олива. Трое его подручных убирали сорванное с крыши листовое железо. У одного рабочего была забинтована голова.

— Вы куда выходили из цеха после одиннадцати часов? — спросил Фридрих, вплотную подойдя к сталевару.

Олива выдержал колючий взгляд гестаповца.

— Никуда не отлучался от печи. Плавку выпускали. Можете проверить.

Осторожно ступая по площадке, Фридрих повернул в сторону подручного, на голове которого белела свежая марлевая повязка.

— А это что за маскарад?!

— Задело осколком с крыши,— спокойно ответил

Милош, не открывая лица и тщательно сгребая битое стекло брезентовыми рукавицами.

Он до крови закусил губу: «Если подниму голову, Олива пропал. Начальник цеха спросит, как я оказался в чужой бригаде, да и гестаповец может узнать меня — это он приходил арестовывать маму...»

Олива стоял позади Фридриха и торопливо соображал, как отвлечь гестаповца от Милоша. «Начальник не знает, что у меня заболел подручный и сегодня работали только двое. Не разоблачат Милоша, и, возможно, тучу пронесет».

— Я слышал в формовочном пролете крик, да не мог отлучиться от печи,— тоном оправдания сказал сталевар, обращаясь к Фридриху.

— Может быть, это Вонасек? Пойдемте туда, господин следователь,— предложил начальник цеха.

Фридрих отвернулся от Милоша, поспешил вниз, приказав трем своим помощникам:

— Осмотрите все кругом и вот там, под лестницей!

Начальник литейного старался не отстать от длинноногого гестаповца. Чем ближе к формовочному пролету, тем плотнее были пыль и смрад. Фридрих невольно морщился, чихал, но шел вперед, прикидывая, когда ему приступить к арестам: сейчас или утром. Как только гестаповцы удалились, Милош подбежал к перилам у задней стенки печи и, напрягая зрение, смотрел им вслед: «Что будет с Вонасеком?» — с беспокойством думал он.

...Полчаса назад Милош поднялся на рабочую площадку и попросил сталевара помочь формовщику.

— Неужели ты водишься с пройдохой?! — с презрением ответил Олива.

— Вы ошибаетесь, Вонасек наш человек, клянусь вам...

Неожиданное появление Милоша сразу же после взрыва подсказало Вацлаву Оливе, что взрыв не случаен. После забастовки молчаливый сталевар стал задумываться. Он видел перемену в своем друге Ярославе Копте, догадывался, куда последний клонит, рассказывая ему о России и ее борьбе. Но сам продолжал стоять в сторонке, не решаясь подвергать себя

опасностям. Теперь Новотны прямо предложил ему помочь товарищу, и Олива не мог произнести «нет».

Он спустился с Милошем под лестницу и, увидев бескровное лицо Вонасека, его скрюченное от боли тело, понял то, о чем не мог ему сказать Милош.

— Почему такая пыль, Вацлав? — спросил Вонасек, когда сталевар присел к нему.

— Балки сорвались над твоей формовкой... Давай-ка наверх, в душевую, обмоем, перевяжем тебя...

— Нет, наверх нельзя,— тревога в глазах Вонасека сменилась надеждой.— Перевязывать меня не нужно. Сделай перевязку Милошу. Ты можешь его оставить у печи до утра?

— Могу. А ты как?

— Меня быстрее несите на формовку...

Когда Милош и Олива принесли его на формовочный пролет, Вонасек упросил их приподнять упавшую балку и конец ее положить на перебитую ногу. Боль в ноге, придавленной балкой, стала невыносимой, но Франтишек заставил товарищей покинуть его, и только они удалились, потерял сознание...

Первым увидел Вонасека начальник цеха. Он еле приподнял балку. Гестаповец Фридрих подозрительно осматривал лежавшего в беспамятстве формовщика.

НОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1

На далекую окраину, где стоял домик Франтишека Вонасека, донесся глухой, огромной силы гром. Ярослав Копта отвел глаза, избегая взгляда Альбины Вонасековой. Она безмолвно испытующе смотрела на сталевара. До этой минуты Копта больше всего боялся, чтобы кто-нибудь не помешал товарищам. Услышав взрыв, он почувствовал сильное беспокойство за них. «Остались ли в живых?.. Вонасек, Тонда и Милош — основная опора заводской ячейки... Смогу ли я без них, да еще без Ладислава Пексы вести работу, порученную подпольным ЦК?.. Но зачем допускать

худшее? Взрыв совершен. Товарищи выберутся невредимыми». И он заговорил уверенно:

— Незачем волноваться, пани Альбина. Ваш муж, как я вам сказал, обязательно придет к часу ночи. Хотите, я пойду ему навстречу?

Не попрощавшись и пообещав возвратиться вместе с Франтишеком, Копта вышел. Альбина осталась стоять у двери, прислушиваясь к удалявшемуся скрипу. Что-то сковывало ее, и она долго не могла тронуться с места. Пробило половину первого, потом час ночи, но ни Франтишека, ни Копты не было. Альбина закрыла глаза, и ей померещилось, что Франтишек входит в дом в светлом костюме, сияющий, молодой, и говорит ей: «Идем, Альбина... Весна пришла...»

Услышав кашель сына, она очнулась, зашла в спальню, застыла возле детей. «Что бы ни произошло, не надо теряться, я обязана сохранить их».

Тревожные мысли не оставляли ни на минуту,— она не ложилась всю ночь.

Чуть свет проснулась Власта.

— Папа не пришел?

— Был да снова ушел, у него срочная работа.— Мать отвернулась и вышла из спальни, чтобы дочь не заметила слез.

В девять утра Альбина накормила детей, собрала Вашека на новогодний утренник и попросила дочь:

— Проводи Вашека в школу. Да и тебе полезно пройтись по воздуху.

Когда дети ушли, Альбина стала собираться на завод. Едва успела одеться, как послышался шум автомобиля. Она замерла в ожидании: «К нам, на далекую окраину, автомобили приезжают редко, это не к добру». Альбина удивилась стуку в дверь: «Зачем гестаповцам спрашивать разрешения?..»

Не дождавшись ответа, человек вошел.

— А я думал, никого нет. Пани Вонасекова? Доброе утро!

Перед Альбиной стоял начальник литейного цеха. Его корявое узкое лицо было ей знакомо — Франтишек ей однажды показал начальника в городе. «Что ему нужно?»

— Я приехал,— сказал он участливо,— чтобы лично сообщить вам, что ваш муж легко ранен во время взрыва. Поверьте, сущие пустяки. Немного пострадала нога. Я не мог не заехать к вам: Вонасек такой старательный рабочий!

— Где же он?

— В лучшей больнице, пани Вонасекова.— Он осклабился большим тонкогубым ртом.— Хотите, повезу вас к нему. Он вас хотел видеть. Любит, наверно. Да как не любить такую женщину!

Ей стало холодно от его взгляда.

— Сейчас поехать с вами?

— Конечно!

Они ехали долго, через весь город до Масарикова вокзала. Потом свернули к мосту через Влтаву, и машина помчалась вверх, к району Бубенеч.

Автомобиль остановился у больницы, и Альбина Вонасекова с удивлением взглянула на начальника цеха. До этой минуты она ни одному его слову не верила.

2

Франтишек Вонасек появился перед начальником цеха в первых числах февраля. Он опирался на палку, щеки были бледны, но на похудевшем лице сияла улыбка.

— Пан ведущий инженер, позвольте поблагодарить за заботу. Попросил врачей скорее выписать меня. Разрешите вернуться на участок?

— К сожалению, пан Вонасек, администрация прислала на формовку другого бригадира. Мне предписано отправить вас в распоряжение управления чешско-моравских заводов.

Вонасек изумленно уставился на начальника: «Не уловка ли гестапо?.. Но, если им нужно было бы забрать меня, они могли это сделать в больнице...»

Ярослав Копта информировал формовщика через Альбину обо всем, что происходило на заводе. Первого января, когда следователи гестапо пробирались

в тоннель, они набрели на убитого взрывной волной Тонду. Чешская администрация доказывала Фридриху, что взрыв — дело рук одного сборщика. У гестаповца не было других улик, но он не изменил своему правилу, о котором с цинизмом говорил: «Чем меньше живых чехов, тем лучше для немцев». Он арестовал двенадцать сборщиков, которые кое-кому казались близкими к Тонде. Больше этих рабочих на заводе не видели.

Франтишек Вонасек вышел из конторки начальника и остановился посреди цеха, которому он отдал тридцать шесть лет жизни. Хотелось поговорить с рабочими, подняться на площадку мартеновской печи к Копте, к Милошу. Может быть, они знают, почему его отправляют с завода... Но не следят ли за ним? Надо пойти прямо туда, куда посылают.

Минут через двадцать Вонасек был у серого многоэтажного здания управления чешско-моравскими заводами. Из этого здания немецкие промышленники, посаженные Гитлером на высокие посты, руководили комбинатом из нескольких заводов, подобных Колбенке. В помощь себе они вынуждены были взять чешских инженеров, экономистов, администраторов,— без них невозможно было руководить внушительным хозяйственным организмом. Управление простирало свое влияние и на другие крупные предприятия страны, куда направлялись из комбината на Высочанах моторы, трансформаторные установки. В последнее время отсюда шли некоторые важные части к самолетам и танкам, которые проходили окончательную сборку в других районах Праги, в Пльзене и в Моравской Остраве. «Куда меня черт несет? — ругал себя Вонасек, тихо ковыляя по широкой лестнице вверх.— Не лезу ли я сам, как кролик, в пасть удава?»

По лестницам, бесконечным коридорам шныряли взад и вперед высокопоставленные нацисты с неизменной свастикой на лацканах сюртуков. Из военных здесь были только генералы да полковники, а если попадался навстречу кто-нибудь чином пониже, то он был, как правило, в черном эсэсовском мундире, и на лице у него читалось презрение не только к чехам, но

даже к своим немецким генералам. Служащие-чехи старались не задерживаться и лишней секунды в коридорах, торопились скрыться в кабинетах.

На четвертом этаже, в коридоре потемнее, где людей было меньше, чем в нижних этажах, Вонасек нашел, наконец, комнату номер 123. Сюда ему велел обратиться начальник цеха. Формовщик постоял, огляделся по сторонам, затем нерешительно постучал. Некоторое время никто не отзывался, но вот послышались шаги, и дверь раскрылась.

Вонасек увидел Ладислава Пексу! На нем новый синий костюм, редкие волосы тщательно зачесаны назад. Он отступил на шаг, молча впустил формовщика и затворил дверь. Здесь, в большом, уставленном мягкой мебелью кабинете, Пекса ничем не напоминал бывшего механика цеха. Формовщик молча, с нескрываемым удивлением смотрел на него.

— Щастный новый рок! — неожиданно для себя произнес Вонасек, вспомнив вдруг, что в этом году он еще не видел механика и не поздравил его с Новым годом.

— Щастный рок! — тихо ответил Пекса.— Мы будем иметь настоящий счастливый год, соудруг!

Последние слова Пекса проговорил, подойдя к формовщику и ласково обнимая его взглядом.

— Члены ЦК просили передать вам горячее спасибо за то, что вы сделали, и пожелать вам много лет здоровья.

Бледные щеки Вонасека покрыл слабый румянец. Но когда он садился в кресло, то снова стал оглядываться. Ему казалось, что и шепот Пексы может быть услышан теми, черными, в коридоре.

— Вы удивлены, что вас ко мне послал начальник цеха? Так было удобнее забрать вас с Колбенки. Это я прислал бригадира на формовку. Вы нужны партии в другом месте.

Если бы в кабинет вошел какой-нибудь человек, он мог бы подумать, что Пекса говорит с пустым креслом. Глубокое, с высокими подлокотниками, оно почти с головой скрывало Вонасека.

— Немцы хотят наладить массовое производство

новых танков типа «Тигр» на Витковицком комбинате в Моравской Остраве. Поедете туда с хорошими рекомендациями, поступите в литейный цех. Вам предстоит научить товарищей делать ваши знаменитые отливки. Заодно поможете организовать по примеру Колбенки партийные десятки. Они должны быть по всей стране.

...С документами, подписанными высокопоставленными нацистами, вышел Вонасек из здания управления. Пекса предупредил его, чтобы он ни с кем из колбенцев больше не встречался, Франтишек поспешил домой, чтобы до отъезда побыть с женой и детьми.

Альбина встретила мужа в слезах.

— Вашеку плохо. Опять высокая температура. Вечером Власта приведет врача.

— Почему только вечером?

Альбина не ответила. Они направились в спальню, встали у изголовья сына, вглядывались в его высохшее, обтянутое прозрачной кожей лицо.

— Кажется, папа? — спросил мальчик, раскрывая глаза.— Что же ты так быстро ушел сегодня? Ничего даже не рассказал мне.

Вонасек сел возле сына, стал расспрашивать о школе, о прочитанных книгах, с болью думая, что ему придется уехать. Трудно было оставлять семью, лишать их единственной рабочей карточки, по которой все же иногда можно было кое-что купить. Он мучился, не знал, как сообщить жене и сыну об отъезде, когда Альбина неожиданно сказала:

— Мы знаем, тебе надо уехать... Нам помогли устроить Власту. Не беспокойся за нас, Франтишеку. Вашек выздоровеет.

— Куда Власту?

— На твою родную Колбенку.

3

В то утро могучий заводской гудок, знакомый Власте Вонасековой с детства, заставил тревожно забиться сердце. Впервые вошла она в экспресс-лабораторию литейного цеха не для того, чтобы поиграть

пробирками, как она это делала несколько лет тому назад при отце, а чтобы зарабатывать на жизнь. Бригадир — пожилая женщина в очках — объяснила Власте ее обязанности и стала заниматься анализом плавки стали. Заходил Ярослав Копта. Он поздоровался с девушкой и о чем-то долго беседовал с бригадиром — Власте показалось, что они говорят о ней. Потом пришла рослая женщина, остановилась около Власты и с суровой лаской произнесла:

— С отцом твоим я, правда, иногда ругалась. Но об этом забудем... Теперь ты в нашей семье. И если тебя задумают обидеть, скажи только слово Миладе Поспешиловой...

Накануне Поспешилова получила письмо от сына, который работал на военном заводе около Берлина. Намеками сообщал он, как ему тяжело в неволе! Долго плакала Милада над письмом. Но утром на лице этой неугомонной, решительной женщины никто не заметил следов слез. Узнав, что в литейке начала работать дочь Вонасека, она направилась в лабораторию. «Молоденькая, ровесница моего мальчика,— думала Поспешилова, глядя на девушку.— Неспроста Копта о тебе заботится... видать, я напрасно ругала твоего отца...»

За грубоватой внешностью женщины Власта почувствовала столько теплоты и сердечности, что у нее невольно вырвалось:

— Какая вы хорошая, спасибо вам!

Хотя Власта и не хотела признаться себе в этом, но она весь день ждала появления Милоша Новотного. Перед сменой она заметила его, когда он поднимался к мартену, и задумала: если он к ней зайдет, значит, не случайно он задержался у них дома в тот январский вечер.

...Вскоре после взрыва Копта послал Милоша проведать семью Вонасека и отнести Альбине килограмм масла, которое товарищи достали для больного мальчика. Альбина никак не хотела отпустить Милоша в город в темную морозную ночь. «Ваша матушка не будет волноваться, если вы не придете домой? — спросила она, и по тому, как юноша мрачно опустил

голову, поняла, что дотронулась невзначай до чувствительной душевной раны.— У вас нет матери?» «Она в Панкраце»,— ответил он.

Альбина уговорила его остаться ночевать и ушла, чтобы приготовить ужин. А Власта испытывала непонятное волнение всякий раз, как поднимала глаза, чтобы взглянуть в лицо юноши.

«Глупо, он обо мне, наверное, забыл! Разве мало девушек в Праге?» — думала теперь Власта.

Занятая работой, она и не заметила, как вошел Милош и остановился у дверей. Он смотрел на высокий чистый лоб девушки, на ее нежное лицо, на опущенные ресницы, прикрывающие большие голубые глаза. Пальцы ее маленькой руки дрожали, когда она переливала раствор из одной пробирки в другую. «Нельзя ей мешать»,— решил юноша и тихо вышел.

После смены Власта поспешила к проходной. У ворот ее дожидался Милош.

— Хочу вас поздравить,— сказал он, подавая ей руку.— В хороший день начали работать.

Она зарделась и не посмела спросить, чем же сегодня день хороший.

— Можно проводить вас домой?

— Я в центр, вызвать к брату врача.

— Поедемте вместе.

— Вы сказали, что я начала работать в хороший день,— спросила, наконец, девушка, когда они вышли из трамвая.— Что в нем особенного?

— Посмотрите, Власта, вокруг!

Тут только девушка заметила небывалое. Со всех балконов многоэтажных зданий на Вацлавской площади, с окон учреждений, с высоких подъездов магазинов свешивались черные траурные флаги, а по тротуарам ходили улыбающиеся чехи и громко поздравляли друг друга то с днем рождения, то с именинами.

Около гостиницы «Злата Гуса» полицейский приказывал проходить быстрее, так как из дверей вот-вот должно выйти высокое начальство.

— Увидят вас — плохо будет,— пригрозил полицейский.

И вдруг послышался звонкий голос какой-то девушки в белом берете:

— Не хуже, чем вам в Сталинграде!

Полицейский шагнул было к ней, но несколько крепких парней выступили вперед, позволив девушке юркнуть в толпу, исчезнуть с глаз. Один парень бросил в лицо полицейскому:

— Радуйся, что ты здесь, а не там, а то и по тебе был бы объявлен траур.

— По ком это траур, Милош?

— По армии Паулюса. Красная Армия разгромила триста тысяч немцев под Сталинградом, и Гитлер объявил трехдневный траур. Слышите, Власта, похоронный звон церковных колоколов? Нацисты оплакивают свои отборные дивизии, погибшие на берегах Волги. Представляете, какой сегодня праздник для русских, для чехов, для всех честных людей в мире?!

Проходивший мимо чех напевал песенку «Почему бы нам не радоваться!» из оперы Сметаны «Проданная невеста».

Милош и Власта подхватили веселый мотив и влились в ликующую толпу.

ПОСЛАНЕЦ НА ВОЛЮ

1

За год типография Антонина Щетки несколько изменила свой вид. Жена помогла старику оклеить стены и потолок светлыми обоями, переставить самодельную печатную машину в дальний угол, а напротив наборных касс оборудовать маленький уютный уголок, который Антонин торжественно именовал «редакцией».

В «редакции» за небольшим столиком работал Ладислав Пекса. Электролампа под абажуром освещала его сосредоточенное лицо, лежащие перед ним оттиски набора, макеты газетных страниц. Пока Пекса дописывал статью, Щетка и Милош заканчивали разбор шрифта выпущенной недавно листовки.

Несмотря на усталость после напряженной смены на заводе, Милош работал с увлечением. Он гордился тем, что Пекса все чаще привлекает его к выпуску газеты, да и в семье Щетки Милоша принимали теперь, как родного.

В типографии было тихо.

Слышалось только поскрипывание пера Пексы да глухой звон шрифта, падавшего в гнезда наборных касс. Вдруг тишину нарушили троекратные удары в потолок. Старый Щетка еле слышно проговорил:

— Жена стучит... Полиция...

Почти два года Антонин Щетка ежедневно спускался в подвал, каждый раз будучи готовым услышать это предупреждение. Из его квартиры уже были вынесены сотни тысяч экземпляров листовок, десятки тысяч газет, но упорные поиски гестаповцев оставались тщетными. Кто знает, может быть, за квартирой давно наблюдают. Может быть, вчера, когда он выносил листовки товарищу с авиазавода, кто-нибудь выследил его...

Антонин положил верстатку и взглянул на железную крышку в потолке. Когда-то еще в дни организации типографии Юлиус Фучик посоветовал наборщику сделать запасной выход через старую бездействующую канализационную систему. Тогда Щетка только пожал плечами. Ему казалось, что типография скрыта совершенно надежно. Но Щетка не привык противоречить Фучику. После его ареста старик стал более осторожным и часто проверял, как открываются крышки, особенно там, в глубине двора, за мусорным ящиком.

— Выходите запасным выходом, соудруг,— сказал наборщик, обращаясь к Пексе.— Труба широкая, внутри ее, справа, сделана лесенка для подъема.

— А вдруг полиция заняла весь двор? — вмешался Милош.— Я выйду, разведаю. Если никого нет, тогда и вы поднимитесь.

Ладислав стоял у своего столика, как всегда, уравновешенный. На худом лице ни малейшего признака волнения.

— Выйти, может быть, более опасно, чем оставаться здесь. Вы же, соудруг Щетка, не знаете, сколько пришло полицейских и с какой целью. Возможно, обыкновенная проверка документов.

Тон и поведение Пексы несколько успокоили старика: «Действительно, может быть, Верушка просто испугалась, а большой опасности нет? Надо самому посмотреть». Щетка снял с себя рабочий фартук, надел теплую фуфайку, в которой зимой и летом спускался в подвал, взял в руки моток шпагата, веник и начал приоткрывать крышку запасного выхода.

— Лучше всего мне самому выяснить, что и как,— сказал старик,— случись, кто-нибудь обнаружит меня у входа, я сброшу моток вам. Задержат — скажу, чистил канализационную систему. Вот и веник...

Милош помог старику подтянуться. Из раскрытой канализационной трубы повеяло сыростью и гнилью. Было слышно, как Щетка царапает чугунные стенки, нащупывая лесенку.

За сараем, в глубине двора, Щетка никого не встретил. Он смахнул с фуфайки и брюк грязь, обтер снегом сапоги и через отверстие в заборе пробрался в соседний переулок: «Приду домой будто из города». Сделав небольшой круг, старик вышел на улицу и внимательно осмотрел ее из конца в конец. Ничего подозрительного он не заметил.

Наружная дверь в квартиру была не заперта, и от этого лоб Щетки покрылся испариной. «Тряпка ты, Антонин,— мысленно укорял себя старик,— волнуешься, как мальчишка».

На кухне его встретила встревоженная жена.

— Сидит... Ждет...— прошептала она.

— Кто?

— Эсэсовец,— жена показала на темную шинель. которую пришедший оставил на вешалке.

Слово «эсэсовец» больно кольнуло. «Но он один. Держись, Щетка!»

Старик открыл дверь, переступил порог и увидел за столом человека лет тридцати восьми, с острыми скулами на удлиненном лице и пронизывающе зорким взглядом. На нем был серо-зеленый мундир со

знаками охранника-эсэсовца. «Если бы Милош был со мной, вдвоем одолели бы его...»

— Я вижу дворника Антонина Щетку? — спросил эсэсовец, поднимаясь и с любопытством разглядывая старика.

— Да меня зовут Антонином Щеткой. Можете говорить со мной по-немецки, я понимаю ваш язык.

— Я чех и с чехом не привык по-иному объясняться... Мы можем с вами остаться наедине?

Жена Щетки вздрогнула, но Антонин указал ей глазами на дверь, и она вышла.

— Ваша жена оказалась учтивей вас, она пригласила меня сесть.— Эсэсовец произнес эти слова, врастяжку, напевно, как говорят коренные жители Моравии.— Неужели мы будем беседовать стоя?

— Мои ноги еще достаточно крепки, чтобы постоять. А вы? Как вам будет угодно!

Щетку выводил из себя и правильный чешский язык этого человека, и его пытливый острый взгляд, и особенно то, что он держал себя желанным гостем.

— Разрешите посмотреть ваш паспорт, прежде чем мы приступим к разговору.

— Смотрите! — Щетка вынул из бокового кармана удостоверение личности, развернул страницу, заполненную по-немецки, и подал.

О, если бы он мог сейчас передать Пексе и Милошу, чтобы они убирались, пока этот тип перелистывает его паспорт и рассматривает фотографию! Но эсэсовец возвратил документ и тихо, так, что старуха за дверью ничего не услышала, сказал:

— Теперь могу вручить вам письмо.

— Письмо? Кто же мне будет передавать письма через вас? — иронически спросил Щетка.

— Письмо от человека, который вам знаком под именем Старший друг.

Щетка замер. Он ожидал обыска, ареста, пыток — ко всему был готов. Но услышать из уст эсэсовца подпольную кличку Юлиуса Фучика?! «Это провокатор, нет сомнения, провокатор. Пользуясь именем мертвого, он хочет подловить живых!» Стараясь не потерять самообладания, старик едва выговорил:

— Я таких друзей не имел чести знать. Вы с кем-то меня перепутали...

— Нет, я не ошибся. Известный вам под этим именем человек жив и просил передать письмо товарищу по имени Ладислав, передать только через вас.

«Ладислав! Он знает имя Пексы! Это Ладислав, а не ты, старый дурень, нужен эсэсовцу. Вот как он ловко вздумал подойти. Ну уж нет, на приманку не возьмешь!»

Эсэсовец раскрыл желтокожий портфель, вынул из-под брезентовой подкладки лист аккуратно сложенной вчетверо бумаги и молча протянул старику. Не сознавая, зачем он это делает, Щетка развернул тонкий лист, узнал убористый фучиковский почерк. У старика подкашивались ноги. Он рукой нащупал за собой спинку стула, сел, начал читать письмо, датированное 6 февраля сорок третьего года.

— Кто вы такой? — едва выговорил старик, поднимая заслезившиеся глаза на пришельца.

— Чех Адольф Колинский, надзиратель тюрьмы Панкрац. Ваши сомнения мне понятны, но смею вас уверить, что человек по имени Ладислав захочет увидеть меня, как только прочитает письмо, и будет без боязни беседовать со мной. Когда вы сможете устроить нам встречу?

Медленно приходил в себя Щетка. Он глядел то на письмо Фучика, то на гостя, взгляд которого казался ему теперь открытым и честным. «А вдруг я своей непомерной осторожностью лишу связи Фучика с Пексой! Если он шпик, то навряд ли отпустит меня. А ну-ка, старина, пришла пора хитрить и тебе».

— Вы можете подождать меня здесь часа два? — спросил он, следя за тем, как примет гость это предложение.

— Сколько вам будет угодно. У меня сегодня вечер свободный.

На кухне Щетка шепотом предупредил жену:

— Если он будет дожидаться меня, дай через двадцать минут сигнал.

Тем же запасным ходом Щетка возвратился к Пексе и Милошу.

— Читайте, соудруг, узнаете почерк?

В руках у Ладислава дрожало письмо. Милош увидел на лице Пексы удивление, затем выражение горя и, наконец, радость, даже восторг. Сперва про себя, потом вслух прерывистым голосом Ладислав читал письмо Фучика:

«Ладислав! Верный мой друг!

Колинский проверен мною. Через него будем держать связь. Гонзу Зику замучили во время пыток. Ванчуру и Анну Ираскову расстреляли в Кобылисах. Моя связная и матушка держатся геройски, как и остальные товарищи. Клекан оказался предателем. Надеюсь, вы уже давно переменили все явки и связи, которые были ему известны. Проверяйте свои ряды, вырывайте гниль с корнем. Распознавайте врагов, под какой бы личиной они ни скрывались.

Жажду услышать, как вы отметили Сталинград. Там советские люди сражались не только за свободу своей Родины, но и за свободу и счастье чехов и словаков, за нашу золотую Прагу. В Сталинграде, кроме немецких фашистов, потерпели поражение и те за Ла-Маншем и за океаном, которые ожидали распада Советского государства, кому ненависть к социализму закрывает глаза на человека нового мира, на могущество Советского государства. К потерпевшим поражение следует отнести и наших чешских мещан, продолжающих молиться западным божкам. Победы Красной Армии — это вместе с тем и моральная победа нашей Коммунистической партии. Она одна в Чехословакии противостояла и противостоит политическим слепцам. Она одна ведет народ по ясному, единственно возможному пути к свободе — по пути непримиримой борьбы против оккупантов, непримиримой борьбы против чешской реакции во всех ее формах...»

Никаких сомнений у Пексы не было. Разве мог он не узнать руки Юлиуса и его горячие мысли?!

— Что за человек принес?

— В форме тюремного надзирателя-эсэсовца. Назвал себя Адольфом Колинским.

Над головой раздался звон разбитой тарелки. Жена Щетки сигнализировала, что гость дожидается.

2

Вскоре Адольф Колинский и Ладислав Пекса стояли друг против друга.

— Вы можете показать мне паспорт? — Пекса пристально смотрел на человека в эсэсовском мундире, не вынимая правой руки из кармана.

— Прошу вас.— Надзиратель раскрыл удостоверение и положил его на стол.

На фотографии Пекса увидел то же типичное чешское лицо и тот же настороженный взгляд замкнутого человека.

— Вы немец?

— Нет, чех.

— Зачем вы назвали себя немцем?

— Чтобы легче было помогать нашим товарищам в Краловом Градце. Двум я помог бежать.

— Их фамилии? Где они сейчас?

— Билан и Местек. Первый порекомендовал мне перебраться в Прагу.

Последние слова Колинского окончательно убедили Пексу. Билан действительно рассказывал о надзирателе, который помог ему избежать смерти. Так вот он — перед ним. Пекса подошел к Колинскому, дружески пожал ему руку.

Они сели. Колинский стал рассказывать обо всем, что пережил Фучик в тюрьме.

— После смерти Гонзы Зики Фучик проболел месяц. В это время я предложил ему писать, мне казалось, что он после пережитых пыток даже несколько дней не выдержит и вместе с ним уйдет то, о чем должен был бы знать народ. Фучик не поверил мне, он ничего не знал о Билане и остерегался предательства. Теперь другое дело.

— Он пишет?

— Пишет книгу для будущего. По два-три листка за каждое мое дежурство. Я их выношу под подкладкой портфеля. Он назвал книгу: «Репортаж с петлей на шее». Вот несколько листков.

Бережно взял Пекса переданные ему небольшие продолговатые листки и стал читать:

«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Я хотел бы, чтобы павшие были всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!»

Было около полуночи. Казалось, Пекса уже все узнал, все уточнил. Они поднялись, и Колинский надел свою шинель эсэсовца, которая служила ему пропуском в стан врага.

— А можно с Фучиком повторить то, что было с Биланом? — неожиданно спросил Пекса.

Вопрос не застал надзирателя врасплох. Он думал об этом и раньше.

— Здесь все сложнее, чем в Краловом Градце. Фучика водят на допросы под сильным конвоем. В последнее время и того хуже: его не вывозят из тюрьмы, там и допрашивают.

— Думаете, значит, что нельзя ничего сделать?

— Я так не думаю. Поведение Фучика в тюрьме показало мне, что для коммунистов нет ничего невозможного.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ПРАГЕ

1

За окном, по ту сторону решетки, Божена Новотнова видела единственную звездочку в весеннем небе, Божена думала о том, как бы она была счастлива увидеть Милоша... Мало на это надежд! Три дня тому назад Божену допрашивали в последний раз, предупредив, что в конце мая ее будут судить. Гестаповцы не особенно добивались от нее новых показаний. Они

приобщили к делу паспорт Клекана, так как этот паспорт являлся неоспоримым свидетельством ее деятельности протнв рейха. Она проснла свидания с сыновьями, а к ней допустилн одного Люмира. Божена говорила с ним всего пять минут. Желая успокоить мать, Люмир рассказал, что немецкие адвокаты, к которым он обращался, уверены, что приговор будет мягким: дадут не более четырех-пяти лет лагерей. «Неужели ты не видишь, что я и двух не выдержу?»— хотелось ей сказать, но она лишь с грустью посмотрела на сына и поблагодарила его за заботу. Люмир передал ей привет от Милоша.

— Он просил поцеловать тебя, мама. .

Она хотела побольше узнать о Милоше, а Люмир начал распространяться о том, как он добивается разрешення снова открыть нздательство. Больше он ничего не успел сообщить матери. Стражник объявил, что свидание окончено. С тяжелым чувством отошла Божена от железной решетки.

В эту ночь она долго думала о Мнлоше и лишь к утру забылась в беспокойном сне. Но ее рано подняли.

— Поздравляю, матушка, с Первым мая!

Сильно похудевшая, еще более похожая на подростка, Лида Плаха и в тюрьме не теряла жизнерадостности. Сейчас она перебегала от койки к койке, будила подруг по камере и поздравляла их с праздником. Подняв женщин, Лида начала растнрать распухшие ноги Новотновой, как делала каждое утро и вечер.

К празднику женщины готовились давно. Гладкой деревянной чушкой они погладили свои платья. Лишь одна пожилая заключенная угрюмо и безмолвно сидела на своей койке, не имея сил ни встать, ни радоваться вместе с подругами наступившему солнечному дню. Ей казалось, что все они, даже Божена Новотнова, не хотят понять ее. Неожиданный стук позади койки испугал эту женщину.

— Стучаг нз дальней камеры,— догадалась Лида. Она подбежала к отопнтельной батарее и, присев на корточки, стала принимать передачу. После каждого слова она одним ударом палочки подтверждала тому, далекому, что все поняла. Девушка повторяла вслух:

— Соудружки, милые! Выше головы! Красная Армия готовит Гитлеру второй Сталинград. Мужайтесь и боритесь, день нашего освобождения близок. Поздравляю с праздником Первого мая матушку Новотнову, Лиду и всех, всех сестер. Жму ваши руки, Юля.

— Родной наш Юльча! — произнесла Божена ласковым слабым голосом и, едва передвигая ноги, доплелась от койки до окна.

Лида выстукивала ответ.

— Сердечно поздравляем Юлиуса и батю Пешека... Обнимаем вас... Новотнову скоро на суд. Держится бодро...

Трубы центрального отопления, стены тюрьмы гудели от праздничного перестукивания. Но вскоре шум в женской камере умолк. Надзирательница объявила выход на прогулку.

Не успели еще все женщины выйти, а надзирательница прикрыть двери, как шустрая Лида побежала по коридору и, наклоняясь к замочным скважинам, задорно призывала заключенных спеть известную им русскую песню:

Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней...

Догнав Лиду, надзирательница накричала на нее, но, к удивлению девушки, не вернула в камеру.

Выйдя на тюремный двор, Божена Новотнова уверена была, что увидит Фучика в окне камеры. Она не ошиблась. В окошке на втором этаже показалась его голова с вьющимися волосами, а затем и фигура до пояса. Встав на стол, он приветствовал женщин поднятой рукой.

А когда на прогулку вывели мужчин, Фучик под видом гимнастических упражнений стал изображать удары молотом. Товарищи поняли: он призывает их выразить свою солидарность с трудовым антифашистским наступающим фронтом, со всеми борцами за человеческое счастье.

Заключенные поднимали над головой руки и ударяли по воображаемой наковальне воображаемым молотом. Затем они по примеру Фучика действовали

воображаемым серпом. Глаза горели, люди словно находились не во дворе Панкраца, а на Вацлавской площади в праздничной демонстрации уже освобожденной Праги. И мысли многих устремлялись к Москве, где в этот час мимо Мавзолея Ленина проходили молчаливые, суровые колонны народа-брата и его армии, той армии, которая схватилась насмерть с фашистским зверьем и одолевает его в невиданных, неслыханных битвах.

Конвойные поспешили прекратить прогулку, но в камерах заключенные продолжали петь революционные песни, объединенные сознанием того, что дело, за которое они борются, восторжествует.

В коридоре послышались шаги. Звякнул ключ, и в камеру вошел надзиратель Колинский. Фучик благодарно пожал ему руку. Колинский передал Фучику десять листков тонкой бумаги и карандаш.

— Пишите. Сегодня должно быть спокойно.

— Спасибо, это для меня лучший подарок к празднику.

Иозеф Пешек помог Фучику придвинуть столик к стене, вправо от двери. В этом месте Фучика не было видно через «глазок». В случае внезапного появления начальства он успел бы спрятать карандаш и бумагу в соломенный тюфяк.

«Сегодня Первое мая 1943 года,— начал Фучик.— И дежурит тот, при ком можно писать. Какое счастье снова хотя бы на минуту быть в этот день коммунистическим журналистом и писать о майском смотре боевых сил нового мира!»

Старый учитель стоял настороже у дверей. Он хорошо изучил походку всех надзирателей. Пока слышны мерные шаги Колинского, который время от времени подходит к окошечку и стучит в его дверце один раз, можно работать спокойно. Если же кто-либо приближается, Колинский стучит два раза, тогда надо быстрее прятать листки и карандаш. Батя Пешек готов задержать у двери кого угодно, даже начальника тюрьмы, если Фучик не успеет сунуть в тюфяк бумагу.

На минуту Юлиус положил карандаш и задумался. Его мысли были заняты давно задуманной книгой.

Сколько раз читал он Густине первые наброски книги о своем поколении. Но нет, у него сейчас иная задача, и он снова брался за карандаш, чтобы успеть закончить свои короткие тюремные записки.

Он писал о людях Панкраца, прошедших сквозь самый жестокий огонь и превращавшихся при этом не в пепел, а в сталь, о первомайской бессловесной клятве заключенных: пойдем на смерть, но не изменим.

«Девять часов. Сейчас часы на Кремлевской башне бьют десять, и на Красной площади начинается парад». Юлиус сомкнул веки и увидел Мавзолей и на его трибуне руководителей Коммунистической партии и Советского правительства, приветствующих колонны демонстрантов, весь советский народ. Нет, не только советский! Они приветствуют и его, Юлиуса, и Гонзу Черного, и отца Пешека, и Божену Новотнову, и Лиду Плаху, и родную Густину — всех, всех товарищей, которые сквозь тюрьмы и пытки гордо проносят славное коммунистическое знамя и не перестают бороться с врагом до последнего вздоха.

В коридоре и в камере — тишина. Батя Пешек только дважды стучал Колинскому, чтобы тот заострил карандаш. Юлиус думал в эти минуты о Гонзе Черном. Его уже нет в Панкраце. Пять дней тому назад Черного увезли неизвестно куда — наверно, на смерть...

На маленьких листках Юлиус рассказывал о мужественных борцах — Зике и Черном, супругах Елинеков и Лиде Плахе, писал о предательстве Клекана, дезертира славной армии, который обрек себя на презрение даже врагов. Но уцелеют ли эти записки? Дойдут ли они когда-нибудь до его ближайших боевых друзей, до Густины? Только она да Ладислав в состоянии привести в порядок эти разбросанные по листкам мысли и факты.

Ему вдруг захотелось сказать людям и о Густине, о ее верности.

«Голова и сердце полны Густиной. Она всегда была благородна и глубоко искренна, всегда предана — верный друг моей суровой и беспокойной жизни.

Каждый вечер я пою ее любимую песню: о синем

степном ковыле, что шумит о славных партизанских боях, о казачке, которая билась за свободу бок о бок с мужчинами, и о том, как в одном из боев «ей подняться с земли не пришлось».

Вот она, мой дружок боевой! Как много силы в этой маленькой женщине с четкими чертами лица и большими детскими глазами, в которых столько нежности! Жизнь в борьбе и частые разлуки сохраняли в нас чувство первых дней: не однажды, а сотни раз мы переживали пылкие минуты первых объятий. И всегда одним биением бились наши сердца, и одним дыханием дышали мы в часы радости и тревоги, волнения и печали.

Годами мы работали вместе, по-товарищески помогая друг другу, она была моим первым читателем и критиком, и мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее ласковый взгляд. Все годы мы вели борьбу плечом к плечу,— а борьба не прекращалась ни на час,— и все годы рука об руку мы бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали и много больших радостей, мы были богаты богатством бедняков — тем, что внутри нас.

Густина? Вот какова Густина.

Это было в июне прошлого года, в дни осадного положения. Она увидела меня через шесть недель после нашего ареста, после мучительных дней в одиночке, полных дум о моей смерти. Ее вызвали, чтобы она «повлияла» на меня.

— Уговорите его,— сказал ей на очной ставке начальник отдела.— Уговорите его, пусть образумится. Не хочет думать о себе, пусть подумает хоть о вас. Даю вам час на размышление. Если он будет упорствовать, расстреляем вас обоих сегодня вечером.

Густина приласкала меня взглядом и сказала просто:

— Господин следователь, для меня это не угроза. Это моя последняя просьба: если убьете его, убейте и меня.

Такова Густина — любовь и твердость.

Жизнь у нас могут отнять, Густина, но нашу честь и любовь у нас не отнимет никто.

Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы жили, если бы нам довелось снова встретиться после всех этих страданий? Снова встретиться в вольной жизни, озаренной свободой и творчеством. Жить, когда свершится все, о чем мы мечтали, к чему стремились, за что сейчас идем умирать!

Но и мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него нашу жизнь. В этом наша радость, хоть и грустно расставание.

Не позволили нам ни проститься, ни обнять друг друга, ни обменяться рукопожатием. Но тюремный коллектив, который связывает Панкрац даже с Карловой площадью, передает каждому из нас вести о наших судьбах.

Ты знаешь, и я знаю, Густина, что мы никогда уже не увидимся, и все же я слышу издалека твой голос:

«До свидания, мой милый!»

До свидания, моя Густина!»

Приближалось время обеда. Колинский открыл дверь и предупредил:

— На сегодня хватит, в следующее мое дежурство будете продолжать.

Слово Колинского — приказ. Юлиус отдал исписанные листки и карандаш надзирателю, но образ жены все еще неотступно стоял перед ним. Как ему передали, Густину собираются увезти в концентрационный лагерь. Что ожидает ее там? Дождется ли она освобождения? Юлиус вспомнил утро, когда они виделись в отделении гестапо. Это было 7 ноября сорок второго года — день двадцатипятилетия Советского государства. Он, Густина и еще группа коммунистов находились в «четырехсотке». В тот день дежурил чешский стражник, служивший еще до войны в пражском полицейском управлении. Он давно знал Фучика, бывало, сам допрашивал его. Но тут, в гестапо, наблюдая волю и стойкость Юлиуса, проникся к нему глубоким уважением. Юлиус решил воспользоваться благосклонностью полицейского и тихо сказал:

— До чертиков надоело просиживать штаны...

Скомандуйте в десять, чтобы все встали. Пусть постоят... только три минуты.

Ровно в десять часов в «четырехсотке» прозвучала команда полицейского:

— Встать!

Первым поднялся Юлиус. По его горевшему взору, торжественной улыбке товарищи поняли, что он задумал. Подошла, улыбаясь ему, Густина, поднялись Иозеф Елинек, Божена Новотнова, Лида Плаха, встали избитые, измученные пытками товарищи. Перед их взором были Красная площадь, Мавзолей Ленина, родные советские люди. В полном молчании приветствовали заключенные своего великого друга — мужественный советский народ. Чешские коммунисты отдавали честь Великой Октябрьской революции.

А разве сегодня нельзя приветствовать советский народ, говорить на прекрасном языке борьбы и революции? Можно, конечно, можно. А вдруг и Густина в тюрьме на Карловой площади поет сейчас о казачке, которая вместе с мужчинами пошла воевать за свободу.

— Споем, батя!

Он подошел к окну, втянул в легкие воздух и запел. Батя Пешек встал ближе к нему и, как всегда, невпопад, но с увлечением подтягивал. Баритон Юлиуса звучал все сильнее, и до женской камеры донеслось:

Расшумелся ковыль,
Голубая трава,
Голубая трава-бирюза,
Ой, геройская быль
Не забыта, жива,
Хоть давно отгремела гроза.

Женщины столпились у окна и подхватили песню:

Она русой была,
Как пшеница в жнивье,
Золотая папаха волос.
Она храброй была,
Но в одном из боев
Ей подняться с земли не пришлось.

Камера за камерой, старые и молодые, обреченные на смерть или на концентрационный лагерь люди

включали свои голоса в общий хор. Чехи произносили русские слова с трудом, иные не совсем понимали их смысл, но песня захватывала и покоряла души людей.

Божена Новотнова пела со всеми, а мысли ее были о Юлиусе. Как этот человек, которого подвергали невероятным пыткам, мог ободрять других? Она знала его с малых лет, дружила с его матерью, помнила его отца — простого рабочего. Кто воспитал в нем такую силу, такое мужество? Одна семья, хотя бы и очень хорошая, трудолюбивая семья, не могла так закалить его... «Это сделала,— ответила она себе,— партия коммунистов, это народ воспитал такого сына. Все лучшее, что есть в народе, впитал в себя Юлиус. Он — воплощение гордости чехов, их умения бороться за свободу. Да, он сын народа, его национальный герой!»

А песня летела через тюремные стены:

Рыли яму клинки,
На просторе степи,
Выстилали могилу травой,
У прохладной реки
Спи, любимая, спи,
Наш товарищ, дружок боевой!

3

Утром двадцать первого мая Юлиуса вызвали на допрос. Вот уже пришло время обеда, а он все не возвращался. Иозеф Пешек не знал, что и думать. Такие длительные допросы бывали только в сорок втором году, когда Юлиуса привозили назад в камеру избитым, без чувств. А теперь? Неужели гестаповцы начали все сызнова? А может быть, ему устроили побег? Но об этом вызове не знал Колинский. Кто же мог передать товарищам на волю, что Юлиуса после долгого перерыва снова повезли? Но куда? На допрос, или...

Наконец Пешек услышал шаги. Вошел Юлиус. Старый учитель отшатнулся.

— Что они сделали?

— Фотографировали, батя, По-гестаповски.

В последняя время борода Юлиуса выросла так,

что закрывала почти всю грудь. А сейчас вместо нее какие-то клочки, да и усы не то подстрижены, не то просто выщипаны.

— Для чего же это они?

— Наверно, чтобы судьям было приятно на меня глядеть... Меня, батя, готовят к суду. Сегодня объявили постановление.

После тринадцати месяцев содержания в тюрьме фашистские чиновники объявили Юлиусу о передаче его дела в суд. Неподвижный, с застывшими, словно оловянными глазами, советник министерства юстиции велел секретарю прочитать постановление. Монотонным голосом чиновник читал «дело». Внезапно Юлиус услышал еще не известные ему слова. Вероятно, по рассеянности секретарь стал читать и отношение прокурора, вклеенное в «дело».

«Ввиду того, что Юлиус Фучик очень опытный преступник, то...»

Он не успел дочитать. Советник перебил его на полуслове и отобрал папку. Это рассмешило Юлиуса:

— Преступник опытный, и надо опасаться побега... Так ведь написано!

Секретарь побелел. Он страшно боялся потерять свое место, а тут такая оплошность! Но советнику лень было ругаться. К тому же он был озадачен проницательностью Фучика. Хорошо еще, что секретарь не стал читать документ тайной государственной полиции, в котором было сказано: «В случае, если не будет оснований для оправдания ареста, ходатайствуем о возвращении Фучика тайной государственной полиции в Праге с целью проверки».

«Проверка» — так назывался расстрел без суда. «Вот доложить бы главе гестапо Гиммлеру,— мысленно позабавился советник,— что его пражское отделение больше года держало Фучика в тюрьме и еще не уверено, готово ли его дело для суда. Была бы потеха! Нет, имперская прокуратура уже не отдаст Фучика обратно, она постарается заработать на нем толику славы...»

Советник приказал секретарю подготовить подследственного к фотографированию.

Юлиуса привели в просторную квадратную комнату. Сквозь ее большие, раскрытые настежь окна обильно проникали солнечные лучи. Лишь железные решетки омрачали вид голубого безоблачного неба. На треноге, посредине комнаты, громоздился фотоаппарат, прикрытый черным сатином. В трех шагах от него находилась стойка с выдвижной трубкой, вверху которой торчал стальной стержень с полукружием на конце. Когда заключенного ставили спиной к стойке, то полукружие охватывало его затылок — при фотографировании стержень направлял голову заключенного в желательном для тюремщиков повороте. Откуда-то принесли утюг, и Юлиуса заставили выутюжить пиджак. Затем у него отхватили тупыми ножницами бороду и часть усов и сфотографировали в трех разных позах. Карточки приложили к готовившемуся для суда «делу».

На следующий день дежурил Колинский, и Юлиус с утра сел писать.

«22 мая 1943 года.

Следствие по моему делу вчера завершено. Все идет быстрее, чем я предполагал. Видимо, в данном случае они торопятся. Вместе со мной обвиняются Лида Плаха и Клецан. Не помогло ему его предательство».

Юлиус старался использовать каждое дежурство Колинского, чтобы побольше писать, но такие дни бывали сравнительно редко, и приходилось надолго расставаться с бумагой и карандашом. 9 июня, когда стало известно, что Юлиуса отправляют в эту ночь, Колинский с огорчением сказал:

— Возможно, теперь уже не дописать вам!

— Не я, так другой допишет,— ответил Юлиус.— Вы сумеете подарить мне сегодня еще несколько листков?

И он приступил к заключительной главе своего репортажа. Он рассказывал о Коммунистической партии Чехии, которая в самые тяжелые для народа дни была единственным верным и последовательным его защитником и бесстрашным борцом против оккупантов, о партийных руководителях, взявших на свои пле-

чи самую большую ношу и смело шедших в священный бой за счастье народа. Он писал о серьезных ошибках, которые были причиной разгрома организации в начале сорок первого года, о том, как неосторожность, излишняя доверчивость в подполье привели к аресту самоотверженных революционеров.

Много горячих мыслей еще было у Юлиуса, но постучал Колинский: «Пора кончать!»

Что же сказать своим близким и в то же время далеким товарищам, до которых, может быть, дойдет его репортаж? Как обобщить все написанное, все пережитое, все сделанное в жизни? Что сказать простым людям, которым предстоят новые схватки с врагами человечества, с убийцами народов?

И Юлиус написал:

«Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»

В ПЛЬЗЕНЕ

1

Жители рабочего Пльзеня изнывали от невыносимой жары. Четыре реки западной Чехии — Мже, Радбуза, Углава и Услава, сливающиеся в городе, наполовину повысыхали. Они текли параллельно железнодорожным путям, будто высматривая, куда движутся эшелоны с танками и пушками, изготовленными на огромном шкодовском заводе тяжелого машиностроения. Многочисленные трубы завода непрерывно выбрасывали на Пльзень мириады частиц перегоревшего топлива и вредных газовых отходов. Над котловиной, в которой расположен город, серой пеленой висел дым, почти скрывая от взора стометровую готическую башню собора святого Варфоломея, проникая в кривые переулки старого Пльзеня, заполняя площади и широкие улицы новой части города.

Нигде не было спасения от зноя, от удушливого дыма.

В одной из квартир дома по улице Беланка, № 4 окна и двери были плотно закрыты, щели тщательно замазаны. Но и сюда пробивался едкий дым.

— Карел, помоги, я задыхаюсь!

Маленькая, измученная туберкулезом Мария Фучикова металась на широкой кровати. Ее тонкие сухие губы были раскрыты.

По деревянному полу смежной комнаты застучали палка и протез. Со всей быстротой, на которую способен шестидесятисемилетний человек с искусственной ногой, Карел вбежал в спальню, схватил с тумбочки лекарство, дрожащими руками налил в столовую ложку темную тягучую жидкость и дал выпить жене.

Высокий, седой, с широкой сутулой спиной и длинными жилистыми рабочими руками, Карел Фучик напоминал старый, корявый, но все еще могучий дуб, который не могли сломить ни грозы, ни буйные ветры.

Лекарство помогло. Больная стала дышать ровнее и глубже.

— Почему два дня не приходит сестра?

С грустью и болью смотрел Карел на высохшее, крохотное, как у ребенка, лицо жены. Он не мог ей сказать, что у него нет денег, чтобы платить медицинской сестре за уколы.

— Сейчас, Мария, пойду. Если сестра не болеет, обязательно приведу ее.— И он направился к двери.

— Опять одна остаюсь,— пожаловалась Мария, но, заметив растерянность мужа, сказала: — Ну, иди, иди. Дай мне только фотографии и письма Юльчи. Хочу побеседовать с сыном...

Старик порылся в верхнем ящике ветхого комода, нашел пачку писем, альбом, подал их жене и вышел из комнаты. Он не мог смотреть на Марию, когда она перебирала фотографии Юлиуса и читала его письма. Когда приходили Либуша или Вера, они лучше, чем он, отвлекали мать от печальных дум. «Но у Либуши и Веры свои семьи, свои заботы. Разве могут они все время быть с родителями?» — оправдывал дочерей Карел.

Оставшись одна, Мария разложила на одеяле фотографии, разговаривала полушепотом, но так, будто здесь, рядом, был Юлиус.

— Мой родненький,— она приблизила к глазам снимок трехлетнего мальчика в сюртучке и с миниа-

тюриой скрипкой в руках.— Вот такой ты в первый раз вышел иа сцеиу, круглощекий, забавиый, милый... А вот, мой мальчик, твой сиимок, когда только иачал ходить в школу. Ты прибежал обиженный на учительницу за то, что она говорила сказки только про чудовищ. «Я лучшую сказку придумал»,— похвалился ты и стал рассказывать, как в самой чудесиой стране иа свете жили-были мальчики-близиецы — кислород и азот. Кислик и Дусик иазывал ты их. Никто ие умел так весело играть с огием, с водой, с цветами и детьми, как твои герои. Ты так увлекательно о иих рассказывал, что я усомиилась: «Ты прочитал в книжке эту сказку?» — «Да иет же, мама. Я ее иапишу, когда вырасту...» Ты всегда мечтал о прекрасиом, мой Юльча!

Оиа перебирала фотографии, вспомииала:

— А таким сильным, простым, смеющимся, с приподиятым подбородком, в простой рабочей блузе ты был в уииверситете. Ты не знал отдыха, учился и работал, чтобы не голодала наша семья.

Со слезами иа глазах смотрела Мария Фучикова иа одухотвореииое лицо сына, целовала старые фотографии. Затем ее худые бледные пальцы стали перебирать письма... Вот письмо, прислаииое Юлиусом из тюрьмы Баутцеиа — малеиького городка в юго-восточиой Германии, иедалеко от Дрездеиа. Это было первое письмо, прошедшее через иацистскую цензуру за все время со дня ареста Юлиуса.

«Баутцеи, 14. 6. 1943.

Милая мама, папа, Либуша, Вера и вообще все!

Как видите, я перемеиил место жительства и очутился в тюрьме для подследствеииых в Баутцене. По дороге с вокзала я заметил, что это тихий чистый и приятиый городок; такова и его тюрьма (если, коиечио, тюрьмы вообще могут быть приятиыми для заключениых). Только тишииы здесь, пожалуй, слишком много после оживлеиного дворца Печека; почти каждый заключеиый — в одиночке. Но в работе время проходит довольио-таки быстро, а кроме того,— как вы видите из прила-

гаемой официальной памятки,— я имею право читать некоторые периодические издания, так что на скуку жаловаться не могу. Кстати говоря, скуку каждый создает себе сам. Есть люди, которые скучают там, где другим живется отлично. А мне жизнь представляется интересной всюду, даже за решеткой; всюду можно чему-нибудь научиться, всюду найдешь что-нибудь полезное для будущего (если, разумеется, оно у тебя еще есть).

Напишите мне поскорей, что у вас нового. Адрес указан наверху вместе с моим именем. А сейчас от души приветствую всех вас, целую, обнимаю и надеюсь на встречу.

Ваш Юля».

И еще листочек бумаги со штампом баутценской тюрьмы. Сколько Мария проплакала над ним!

«Баутцен, 11. 7. 1943.

Мои милые!

Как стремительно летит время! Кажется, прошло всего несколько дней с тех пор, как я впервые написал вам отсюда, а на столе у меня снова перо и чернила... Месяц прошел! Целый месяц. Вы, наверное, думаете, что в тюрьме время тянется медленно. Так нет же, нет! Быть может, именно потому, что здесь человек отсчитывает часы, ему особенно ясно видно, как коротки они, как короток день, неделя и вся жизнь.

Я один в камере, но не ощущаю одиночества. У меня здесь несколько добрых друзей: книги, станок, на котором я делаю пуговицы, пузатый глиняный кувшин с водой, к которому можно обратиться с шутливым словом (он напоминает приятеля, который охотнее влил бы в себя вино, а не воду). А кроме того, в углу моей камеры живет паучок. Вы не поверите, как чудесно можно беседовать с этими товарищами, вспоминать о прошлом и петь им песни. А как по-разному разговаривает станок в зависимости от моего настроения... Мы отлично понимаем друг друга!

Когда я подчас забуду его протереть, ои сердится и ворчит, пока я не исправлю своей оплошности...

Так проходит день, за иим иеделя, и, глядь, уже прошел целый месяц.

Да, прошел, а от вас ие было вестей. Если бы иесколько дней назад я ие расписался в получеиии десяти марок от Либуши, я даже не был бы увереи, что вы получили мое письмо и знаете, где я. Ни одного письма от вас я пока ие получил. Возможио, оии затерялись дорогой. Напишите же мне, иапишите. Писать можно раз в месяц. Как у вас дела, как живете, что с Густиной?

Целую и обиимаю всех вас, до свидания.

Ваш Юля».

— Таким ты был всегда,— шептала мать, страдая и гордясь сыном.— И в тюремиой одииочке ты пытаешься иайти крупицу радости, пытаешься оттуда нас утешить. Что делать мне, больной, беспомощной, чтобы облегчить твою участь? Кто услышит мою мольбу за тебя, за Густину? Как я могу жить, если ты каждый день ожидаешь смерти!..

Тем временем Карел Фучик, ие решаясь идти без денег к медицинской сестре, сидел в садике, иеподалеку от дома, и перечитывал еще одио письмо, которое Юлиус прислал иа адрес сестер. Старик не мог показать жене это письмо. Строчки прыгали перед его глазами:

«Баутцеи, 8. 8. 1943.

Мои милые!

Я живу по-прежнему, время бежит, а я, как вы мие пожелали, «сохраияю душевное спокойствие». Да и почему бы мие ие сохранять его? Два ваших письма я получил и все время радуюсь им. Вы даже не можете себе представить, как много ищешь и иаходишь в иих! Даже то, чего вы там не иаписали. Вам хочется, чтобы мои письма были длииее. У меня тоже иа сердце миого такого, что

я хотел бы сказать вам, но лист бумаги от этого не становится больше. Поэтому можете радоваться хотя бы тому, что мой почерк, который вы нередко ругали, так мелок.

Вы, кажется, думаете, что человек, которого ждет смертный приговор, все время думает об этом и страдает. Это ошибка. С возможностью смерти я считался с самого начала. Вера, мне кажется, знает об этом. Но, по-моему, вы никогда не видели, чтобы я падал духом. Я вообще не думаю обо всем этом. Смерть всегда тяжела только для живых, для тех, кто остается. Так что мне следовало бы пожелать вам быть сильными и мужественными. Обнимаю и целую всех вас.

До свидания.

Ваш Юля».

Дважды прочитал Карел письмо и, тяжело вздыхая, опустил седую голову на грудь. «Если бы я смог, как Мария, рыдать, вспоминая сына, может быть, мне легче стало бы,— думал старый Фучик.— Но можно ли сравнить наши переживания с теми невообразимыми муками, которым подвергаются ежечасно Юлиус и Густина! Либуша узнала, что Густину перевезли из Терезина в другой концентрационный лагерь. Куда? Гитлер покрыл Германию, Польшу, Чехословакию столькими лагерями смертников, что человек теряется в них, как песчинка. Кто знает, что несет завтрашний день моим детям...»

— Добрый день, пан Фучик!

Карел вздрогнул, поднял голову. Перед ним стоял стражник Мартин Соукуп. Ноги в огромных сапогах были широко расставлены, коричневая револьверная кобура почти лежала на животе, распиравшем, как и прежде, мундир. Карел Фучик не мог не быть благодарным стражнику за спасение сына в Хотимержи. Но сейчас, в момент раздумий о трагической судьбе Юлиуса и Густины, чешский полицейский в его глазах олицетворял ту власть, которая заточила его любимых детей, отняла у него сына.

— Что вам нужно? — спросил Карел хриплым голосом, поспешно пряча письмо Юлиуса в грудной

карман. Руки у него тряслись, и, как он ни заставлял себя унять противную дрожь, не мог от нее избавиться.

— Езус Мария! И ты... и вы...

Соукуп поразился: Карел Фучик не ответил на его приветствие, обратился к нему на вы, как к чужому. После того, как он, Соукуп, помог Юлиусу скрыться, Карел совсем по-иному разговаривал с ним. Он ему не сказал, что Мария видела в Праге сына, что именно тот посоветовал оставаться в полиции и помогать землякам, попавшим в беду. Но разве Соукуп не понимал, что это Юлиус дал ему такой совет! Следуя ему, он уже немало сделал доброго в домажлицкой полиции: несколько чехов были им, Соукупом, предупреждены и избежали ареста. И все же в последние недели Мартину невмоготу стало носить мундир. Он пришел к единственному человеку, который мог его понять, и вдруг тот от него отвернулся.

— Как же?.. Я хотел...

Карелу было странно видеть замешательство стражника, его просящий, жалкий взгляд. Он понял, что несправедливо обидел Соукупа.

— Ну, садись, говори, с чем пришел.

— Жена умерла... Места себе не нахожу.

Карел хотел, но не знал, как утешить Мартина. А тот смотрел на трещину в земле, царапал ногтями пряжку ремня и молчал. Наконец спросил:

— В дом нельзя войти? Надо бы...

— Сейчас не могу. Говори здесь.

Соукуп обошел кругом, незаметно заглядывая за деревья садика, и, убедившись, что никого поблизости нет, присел на скамейку рядом с Карелом.

— Скажи кому надо — я уйду с оружием.

— Передам, Мартин. А сейчас иди, иди!

Карел Фучик издалека узнал своего старого приятеля по Шкодовке кузнеца Войту Павлатова и, когда Соукуп удалился, поковылял ему навстречу.

— Заходил к тебе. Жена сказала, что ты вышел. Ко мне пойдем.

— Зачем? Я не могу надолго оставить Марию.

— Друг твоего сына ждет тебя.

К стр. 245

2

Ладислав Пекса приехал в Пльзень по поручению Центрального Комитета, созданного вскоре после ареста Фучика, Зики и Черного. Меры, принятые на случай провала, оправдали себя. На место арестованных товарищей немедленно встали новые, и Коммунистическая партия Чехословакии во главе с третьим составом подпольного ЦК продолжала выполнять указания московского руководства, смело вела народ в бой с фашизмом.

Девятого июля сорок третьего года под городом Бероуном состоялось заседание Центрального Комитета.

На этом заседании в присутствии товарища, присланного московским руководством, были подведены итоги воссоздания сильной, готовой к решительной борьбе партии.

К этому времени Коммунистическая партия Чехословакии оправилась от тяжелых ударов, нанесенных ей прошлой весной и особенно летом, когда гитлеровцы в ответ на убийство чешскими патриотами протектора Гейдриха провели небывалые по своей массовости террористические акты.

Руководство Компартии, находившееся в Бероуне и в Праге, снова стало регулярно выпускать «Руде право» и другие газеты в областях страны. Победу Советской Армии под Сталинградом чешский народ отметил усилением саботажа и диверсий в промышленности и на транспорте. В горных районах страны были созданы партизанские отряды. Партизаны Брно устраивали крушения воинских эшелонов. Совместно с национальными комитетами партизаны сорвали план эсэсовцев, которые задумали выселить население нескольких деревень у города Бенешева и расширить учебный плац. Чехи, моравы и словаки шли за коммунистами, видя в них бесстрашных борцов с оккупантами.

Мечта Юлиуса Фучика, Зики и Черного о создании массовой партии в условиях подполья становилась реальностью.

Пражская организация насчитывала около шестисот коммунистов, в большинстве из рабочих. Кладненская имела более тысячи членов. Непрерывно росли партийные организации в Пльзене, Моравской Остраве, Брно и других промышленных центрах.

...На квартире кузнеца Павлатова Ладислав Пекса встретился с местными руководителями. Он рассказал им о решении ЦК, передал последний номер «Руде право», выслушал доклады, дал указания, как расширять подпольную деятельность, соблюдая при этом строгую конспирацию. Пльзеньские коммунисты создали одну из наиболее боевых и массовых организаций партии, она охватывала пятнадцать районов Западной Чехии. Нелегко было при большой разбросанности организаций довести слово ЦК до каждого коммуниста, и Пекса, дожидаясь возвращения кузнеца Павлатова, писал листовку для членов партии.

Стук в дверь прервал его.

— Войдите!

Вслед за хозяином квартиры вошел Карел Фучик. Пекса видел его незадолго до войны, но теперь еле узнал старика.

— На улице не узнал бы вас, соудруг Фучик,— сказал он, усаживая Карела.

— Да что я! Вы бы на Марию посмотрели. Весит всего сорок килограммов.

— Слышал и потому побеспокоил вас. Вы знаете, где теперь Юлиус?

— В баутценской тюрьме, дожидается суда, вот последнее письмо.

Пока Ладислав читал, Карел не сводил взора с его вытянутого, изможденного, постаревшего лица. «Он любит Юльчу, он его настоящий друг. Юльча трогательно называл его «Ладей» и еще «Академиком». Нужно спросить у Лади, обязательно спросить».

— Неужели нельзя было спасти? Вы же были в Праге...

— Пробовали, отец,— мягкий взгляд серых глаз убеждал больше, чем слова.— Юлиуса намеревались отправить в Германию ночью с девятого на десятое июня. О сроке мы узнали заранее и подготовились

ночью напасть на тюремную машину. Но нас перехитрили. Должно быть, опасаясь бегства Юлиуса, гестапо в последнюю минуту изменило время отправки и маршрут движения к вокзалу. Его отправили утром десятого, и это помешало нам.

Пекса еще что-то хотел сказать отцу, но не мог — в горле перехватило. Он представил себе, как Юлиус ждал отправки из Панкраца, ждал, что он, Ладислав, поможет, освободит его, и мысль о том, что он не все предусмотрел, не предвидел, мучила Пексу в эти минуты, как и в тот июньский день.

— Верю... суждено, значит, так,— вздохнул Карел Фучик и вдруг стал быстро-быстро говорить, вероятно, желая заглушить нестерпимую сердечную боль.

— Скажите мне, Ладя, почему отвернулись от меня старые друзья? Просил я Войту Павлатова: возьми меня на стоящее дело. На меня, инвалида, никто не станет обращать внимания, сумею обмануть полицию, сумею разбрасывать листовки и даже динамит под поезда подкладывать. Неужели вы мне не дадите отомстить за сына, за его муки!

— За Юлиуса, за наших пострадавших товарищей весь народ отомстит, отец.— Ладислав положил ладонь на руку Карела и обратился к хозяину квартиры, который сидел в углу, возле шкафа, не вмешиваясь в беседу.— Когда вы, соудруг Павлатов, приступите к исполнению большого плана, дайте задание соудругу Фучику.

— Хорошо.

— Тут один... очень хороший человек есть! — вспомнил Карел о посещении стражника.— Мартином Соукупом зовут. Вы слышали о нем?

— Стражник из Домажлице? Знаю, Юлиус говорил. А как он сейчас?

— Делает, много делает... Да-да, все, что может. Но хочет уйти из полиции, не может там оставаться.

— Учтите, соудруг Павлатов. Придет час — возьмете и Мартина Соукупа,— сказал Пекса.— Пусть побольше оружия унесет из полиции и надежно спрячет до сигнала.

— Хорошо,— опять скупо ответил кузнец.

Перед тем как распрощаться, Пекса протянул Фучнку что-то завернутое в бумагу.

— Возьмите, поддержнте здоровье жены.

— Деньгн?! — Карел вскочнл н зашатался, забыв опереться иа палку.— У меня руки есть, они еще могут заработать.

С суровой нежностью, так же, как Юлнус при последней встрече, когда он рнскнул наведаться к отцу в больнницу, смотрел теперь Пекса иа взволнованного старнка.

— Эти деньгн собраны чехами для семей заключенных. Первый, кто оргаинзовал помощь пострадавшнм от иацнстского террора, был Юлнус. Вы хорошо знаете сына, можете представнть себе, как он обнделся бы на человека, отказавшегося от поддержки нашей партнн. К тому же решенне помочь вам прннято Центральным Комнтетом, н я только нсполияю его волю. Наш врач будет посещать вашу жену через день. Крепнтесь, отец, друзья Юлнуса с вамн.

Гудок Шкодовки разнесся над городом. Изможденные, злые выходилн рабочие нз домов, спешили в цеха на иочную смену. А товарнщи нз дневной смены думалн о том, как передать всему Пльзеню о распространениой иа заводе газете Компартин...

Домой Карел Фучик возвратнлся с медицннской сестрой. Он поспел вовремя. Марнн опять стало очень плохо.

ТРИБУНАЛ

1

На рассвете 24 августа сорок третьего года Юлиуса Фучнка прнвезлн нз баутценской тюрьмы на вокзал, посаднлн в арестаитский вагон поезда Баутцен — Берлин. То ли по оплошностн полнцейскнх нлн же потому, что чиовннки мннистерства юстнцнн считалн судьбу двух подсудимых решенной прн любых обстоя-

тельствах, Фучик оказался в одном отсеке вагона с Клеканом.

Они кивиулн друг другу и Фучик не только с сочувствием, но н с удовлетвореиием увидел на землисто-сером лице Клекана следы последних допросов гестаповцев Праги — огромный сияяк под левым глазом, иссечеиное ухо. Значит, выдержал в этот раз...

Незадолго до отправки из Праги в Германию Фучик попросил надзирателя Колинского устроить ему встречу с Клеканом. Как-то после прогулки, ведя его по тюремному коридору, Колинский раскрыл камеру Фучика и толкнул туда Клекана, мигом захлопнув за ним дверь н закрыв ее на ключ. Увидев Фучика, Клекан оцепенел: «Не пощадит... Задушит...» Он чувствовал себя, как, вероятно, чувствует себя мышь, попавшая под ногу слона, которому она долгое время отравляла жизнь, забравшись под толстую шкуру. Клекаи хотел кричать, но горло словно сдавливали сильные пальцы.

Между тем Фучик сидел на грубо сколоченном табурете у малеиького столика, ие шевелясь, и лишь грустно смотрел на Клекаиа. Заговорил тихо и беззлобно.

— Нас будут судить троих, с Лидой. Мне ваши показания уже не повредят — больше гильотины не дадут, а на меньшее ие приходнтся рассчитывать ни мие, ни вам... А Лиду можио спасти.

Слова грузиые, как булыжники, били в темя, по затылку и в мозги Клекаиа. Но клокочущую прежде ярость к нему Фучик подавил в себе ради Лиды, а может быть, и радн самого Клекаиа, чтобы возвратить ему частицу мужества иакануне суда.

— Я знаю — вы любили Лиду. Я надеюсь — вы не растоптали в себе человека настолько, чтобы стать палачом девушки.

Год назад, когда товарищи по камере узнали об измеие Клекаиа, его окружило молчаливое презрение. Его приносили в камеру избитого, ио никто не подходил к его койке, не подавал ему воды, не заговаривал с иим. Он стал отвержеииым в самой тюрьме, где так нужно душевиое, ободряющее слово товарища. Он

оказался в полном одиночестве. Его считали врагом и гестаповцы и, что куда страшнее, вчерашние друзья. А тут сам Фучик, который вызвал ненависть всех заключенных против него, дает ему возможность вырваться из трясины одиночества, загладить в какой-то мере свою вину перед товарищами, перед Лидой, которую он продолжал любить униженной, оплеванной им самим любовью.

— Что мне делать, профессор? — плоским телом Клекан подался к Фучику. В эту минуту он больше всего боялся, как бы надзиратель не раскрыл дверь, не прервал свидания, не дал ему выслушать Фучика.

— Опровергнуть ваши прежние показания относительно Лиды. Опровергнуть здесь, а потом и на суде. Только так можно спасти ее.

— Я откажусь... Сегодня же скажу им: не знал я о Плахе, выдумал я о Плахе!..

На следующий день Колинский сообщил Фучику, что Клекан добился вызова в гестапо и что оттуда его привезли ночью избитого, как при первом допросе.

Все это промелькнуло в памяти Фучика, когда он оказался в арестантском вагоне на пути в Берлин, и поэтому в его взгляде блеснуло и удовлетворение, что Клекан отказался от своих показаний против Лиды, и сочувствие к избитому человеку. И все же товарищем он его еще не считал, не мог больше считать.

Он отвернулся, подолгу смотрел в окно вагона на аккуратные домики с одинаково подстриженными деревьями садов, на поля с высокими хлебами, где почти не видно было крестьян. На станциях с любопытством рассматривал пассажиров и железнодорожников и думал, что среди них должны быть люди, которые не потеряли своей совести и чем-нибудь, пусть маленьким, помогают таким, как Курт Штрамберг, в их трудной борьбе против фашизма. Что делает сейчас Курт? Кое-что Фучик узнал о нем через Колинского; Ладислав Пекса сообщил, что Курт установил связи с нужными людьми. Но с той поры, как в тюремную камеру на Панкраце дошла эта весть, прошло более полугода. Кто знает, не опустился ли на голову Курта гитлеровский топор. . .

Из задумчнвостн вывел Фучнка Клекан, он попроснл у младшего полнцейского чашку черного кофе. В просьбе не было ничего предосудительного, но Клекан обратнлся к охраннику так подобострастно, что Юлнус не выдержал:

— Зачем полицейским пятки лижете?

Больше за дорогу они не обменялись ни словом.

2

Зеленая машина вырвалась нз ворот тюрьмы Моабит н помчалась на юго-восток, к центру Берлина. Была среда, 25 августа сорок третьего года. 8 часов 30 минут утра. Эсэсовец в кабнне торопнл шофера: до начала судебного заседання оставалось всего полчаса. Тюремная камера на колесах пронеслась мимо позолоченной свечеобразной колонны, оставнла позади растянувшееся на полквартала темно-серое здание рейхстага. У Бранденбургских ворот, за которыми виднелся разрушенный бомбежкой проспект Унтер ден Лннден, машнна резко свернула вправо.

Улнцы в районе имперской канцелярнн Гнтлера кишелн автомобнлями. Шоферу пришлось замедлнть ход. Наконец он еще раз свернул вправо н остановился на Бельвюштрассе, у трехэтажного дома под номером 15. Эсэсовец поспешил открыть дверцу, два солдата сталн по бокам лесенкн, по которой спустнлся Юлнус Фучнк. Вслед за ним нз машины вышел Ярослав Клекан.

Шесть вооруженных полнцейскнх сопровождалн их к центральному подъезду, по обеим сторонам которого блестела под стеклом надпись: «Folksgerichtshof» — «Народный трибунал». Редкнй подсуднмый избегал здесь смертного прнговора.

Зловещая тншнна стояла в вестнбюле и на лестнице. Тихо было и в просторном зале, куда привели Фучнка и Клекана. Налево стояли скамьи подсудимых. Две ступеньки вели к возвышению с длнным, почти во всю шнрнну зала столом, покрытым синим бархатом. Юркнй секретарь в черном положнл папку

с бумагами на середиину стола протнв громоздкого дубового кресла с высокой спинкой. Над иим в центре стеиы висел позолочеиный орел с фашистским зиаком, а по обе стороны орла — портреты Гитлера н Гиндеибурга.

Фучнк сел иа край скамьи, поближе к судейскому столу. Клекаи поодаль.

В дверях судебиого зала показались двое. По их развязиым маиерам иетрудио было распозиать репортеров. Они представляли геббельсовскую газету «Фелькишер беобахтер» и гиммлеровскую «Шварце кор». Появнлись чиновиики прокуратуры со свастнкой иа лацканах форменной одежды. Пришли адвокаты в черных маитиях и шелковых шапочках и заияли свои места за столиками перед барьером, у скамьи подсудимых. До суда ни Фучик, ии Клекаи не видели этих «защитииков». Ни иа кого ие глядя, оин углубились в чтение докумеитов.

Позади скрнпиула дверь. Подсудимые обериулись. Клекан побледиел и подиялся. В сопровождении охраиинков вошла Лида Плаха. На ней был летний серый костюм, голубая шляпка. Оиа казалась беззаботиой, словио вышла на прогулку. Заметив Фучика, Лида улыбиулась и кивнула ему. Ей указалн на место справа. Оиа сделала три шага, встретилась глазамн с Клеканом н вздрогиула: «И этот человек недавно говорил мне: «Больше жнзии люблю».

«Больше жизии! Какая ироиия судьбы!.. После его ареста надолго ли у иего хватнло мужества? На час, два — ие больше! Нет, моего имени в ту первую ночь он еще ие иазвал. Начал с Юлнуса, Густииы и Аниы Ирасковой. Он выдавал одного за другим, желая спасти себя. Ои, видимо, надеялся, что его не будут больше бить, н ему не придется произиести мое имя. Возможно, он мучился, вспоминая свое «больше жизни люблю»... Может быть, личио меия он н не хотел выдавать, а выдал в ту самую мииуту, когда иазвал имя первого товарища. Для гестаповцев, для Бема н Фридриха ои был владельцем цениого хранилища: чем больше его били, тем ииже он опускался в потайные уголкн и показывал: «Вот это! Вот здесь!»

Как самый строгий судья, Лида спрашивала себя: «Как ты могла любить такого?» После предательства Клекана жгучая ненависть к нему росла и росла непрерывно, и даже весть, которую передал ей Колинский, что Клекан отказался от своих прежних показаний против нее, даже эта весть не в состоянии была ослабить ее презрения к Клекану. Увидев его в зале суда впервые после ареста, Лида почувствовала то же самое, что чувствовала в камере на Панкраце: «Гестаповца Фридриха, который пытал меня много дней и ночей, я ненавижу меньше, чем этого, недавно близкого мне человека...»

С той минуты, как Лида переступила порог зала, Фучик наблюдал за ней. Ему понятно было, почему она сперва вспыхнула, застыв перед Клеканом, затем побелела и в изнеможении опустилась на скамью. Фучик крепко пожал ее маленькую руку и тихо произнес: «Держись, Лида!»

Слово и рукопожатие руководителя, старшего товарища, наставника,— как много они значат! Лида подняла голову, взглянула в глаза Фучику. К ней возвращались душевные силы.

К прокурорскому столу подошел тучный господин с квадратным жирным лицом. На голове его неуклюже сидела круглая шапочка из темно-красного плюша. Толстыми пальцами он развернул свежий, еще пахнущий типографской краской номер «Фелькишер беобахтер» и сел в кресло. По выражению лица прокурора защитники поняли, что он нашел что-то интересное. Ровно в девять часов секретарь трибунала объявил: «Суд идет!»

Первым занял свое кресло в центре президент трибунала Ролланд Фрайслер. На нем была судейская мантия из ярко-красного шелка и такого же цвета шапочка — в отличие от шапочек членов суда и прокурора она имела два золотых канта. Рядом с президентом, строго по рангам, рассаживались судьи. По правую руку заняли места директор суда Шлеман и министерский советник верховного командования вооруженных сил Герцлиб, по левую руку — адмирал в отставке фон Нордек и начальник

краевого судебного управления советник Амельс. Прозвенел звонок президента, судьи сняли шапочки, заседание началось.

Ролланд Фрайслер, пожилой самовлюбленный человек, явно позировал, подчеркивая свое превосходство над остальными членами суда. Еще задолго до прихода Гитлера к власти, в бытность статс-секретарем министерства юстиции, Фрайслер выдвинул программу, которой придерживались с тех пор карательные органы рейха. Он так изложил задачи этой программы: «Будут устранены все эксперименты, основанные на ложном увлечении гуманизмом. Нельзя допускать, чтобы жизненные условия заключенных были выше жизненных условий безработных... Руководящий принцип нового порядка будет заключаться в том, чтобы ужасающей жестокостью наказания вызвать в каждом осужденном желание никогда больше не попасть в положение заключенного».

Зычным голосом Фрайслер объявил состав суда. Когда он произнес: «Представитель верховного имперского прокурора первый государственный прокурор Нёбель», тот выпятил грудь, и его жирное лицо расплылось в улыбке. Прокурор гордился тем, что ему было поручено дело Фучика и что он довел дело до самого надежного оплота фюрера — до первого сената.

Назвав трех представителей государственной защиты, Фрайслер приступил к уточнению биографии подсудимых. Он старался как можно быстрее покончить с неизбежными формальностями, но, кроме подсудимых, никто его не слушал. Обрюзгший старый адмирал в отставке фон Нордек закрыл глаза и посвистывал носом. Он и не думал слушать дело. Его, единственного непартийного, посадили сюда вовсе не для того, чтобы он затруднял себя. Он, старый прусский адмирал, украшает этих судейских дельцов, этих членов нацистской партии, как дремлющий лев украшает лестницу его старинного замка, в котором жил еще дед адмирала...

Министерский советник верховного командования вооруженных сил Герцлиб рассказывал Шлеману

пикаитную историю о прокуроре Нёбеле и хихикал, прикрывая коичиками пальцев тонкие губы. Председатель укоризнеиио поглядывал иа Герцлиба и строго — на подсудимых.

Из тринадцати страииц обвинительиого заключения десять были посвящеиы Фучику. Фрайслер с заметиым удовольствием перелистал папку, взглянул на кармаииые часы, которые лежали перед иим, и улыбиулся представителям печати, как бы говоря: «Вы сейчас увидите, как я с ними разделаюсь...»

— Подсудимый Фучик! Призиаете ли вы себя виновиым в том, что покушались иа целостиость империи, готовили вооружеииое восстаиие и государствеииый переворот?

Юлиус медлеиио подиялся и ровиым, твердым голосом ответил:

— Я ие призиаю вашей власти в моей стране и не иахожу ваш трибуиал правомочиым судить меия!

Адмирал в отставке фон Нордек просиулся и испуганно замигал. Лицо Фрайслера побагровело, он закричал так, что слышно было иа другом этаже:

— Прекратить! Запрещаю произносить речи! Отвечайте только: «да» или «иет». Призиаете ли вы, что своими действиями помогали врагу империи — большевистской России?

— Да. Я помогал Советскому Союзу. И это лучшее, что я сделал для своего иарода за всю свою сорокалетиюю жизиь!

Фрайслер застучал кулаком по столу, пытаясь заглушить слова подсудимого.

— Вы боитесь истииы,— продолжал громко Юлиус.— Она коротка. Немиогих вы еще успеете осудить: последний Сталииград вам скоро будет устроеи здесь, в Берлине!

С восхищением смотрела Лида Плаха на Юлиуса. Ои ие защищался, ои иападал. Как бы оиа хотела, чтобы о его поведеиии иа суде узиали все чехи, которым предстоит еще ие раз встретиться с врагом...

Ее размышления прервал робкий голос Клекаиа. Он призиал себя вииовиым в преступлениях против империи:

— Я происхожу из зажиточных крестьян и примкнул к коммунистическому движению по молодости и легкомыслию. Я, господа судьи, против своей воли был вовлечен в нелегальную работу. За свою деятельность заслуживаю наказания, но прошу вас...

«Мерзавец! Другого от него и нельзя было ожидать... Ну, почему я тогда не замечала его низости?» — мучилась Лида, забыв даже о том, что от Клекана — подтвердит или отвергнет он первичные показания о ней,— зависит в значительной мере ее судьба.

Ее вернули к реальности вопросы председателя. «Он, кажется, спрашивает, считаю ли я себя виновной?»

— Нет,— девушка невинными глазами смотрела на пурпурные мантии.— Я не принадлежала ни к какой партии. Я просто провожала профессора Ярослава Горака. Разве запрещено провожать симпатичных мужчин?..

Она продолжала на суде, как и на допросах в Праге, играть роль легкомысленной, взбалмошной девчонки.

— Однако вы знали об антигосударственной деятельности Фучика и Клекана? — настаивал Фрайслер.

— Не имела ни малейшего представления. Я политикой не занималась. Клекан был моим женихом. Но я очень раскаиваюсь в этой своей привязанности.

Амельс оскалил огромные зубы и рассмеялся. Лида расположила к себе и Герцлиба, но Роланд Фрайслер не привык никого миловать.

— Скажите, подсудимый Фучик, возможно ли, чтобы подсудимая Плаха провожала вас на подпольные свидания и не знала, с кем и зачем вы встречаетесь?

— Хороший конспиратор не посвящает девчонок в свои подпольные дела,— ответил Юлиус.

Фрайслер переключился на Клекана, стал добиваться подтверждения его показаний от апреля и мая сорок второго года, что Фучик являлся членом

ЦК Компартии Чехословакии, а Лида Плаха — его активной помощницей. Клекан отрицал это.

— Я подписывал протоколы в беспамятстве. Я не знал тогда, что подписываю...

Пальцы Клекана дрожали, голос звучал истерично — вот-вот сорвется, и это не по душе было ни Фучику, ни Лиде.

Члены суда знали, что Фрайслер уже набросал проект приговора; и если даже нет никаких данных, чтобы осудить эту смазливую девчонку, то и формальное оправдание, занесенное в приговор, несет ей концентрационный лагерь. Они также знали, что прокурор почти слово в слово повторит в своей речи им же составленное обвинительное заключение и потребует для двух подсудимых самого сурового наказания. Все же, когда прокурор поднялся, члены суда оторвались от посторонних дел и стали слушать.

— Уважаемый господин президент! Уважаемые господа судьи! Даже здесь, перед народным трибуналом, подсудимый Фучик позволил себе выпады против основы империи — фюрера и рейхсканцлера. Вы видите перед собой не простого политического преступника, а подстрекателя к измене. Перед вами самый активный большевистский агент, преданный помощник России в войне против рейха. Фучик дважды посещал Россию, он жил там более двух лет. Он написал много статей и выпустил книгу о Советах под названием «В стране, где наше завтра является вчерашним днем». Он призывал чехов заключить против нас союз с Россией. Не кто иной, как он,— резко произнес Нёбель, указывая рукой на Фучика,— добивался воссоздания разрушенной нами среди интеллигенции организации коммунистов. Не кто иной, как он, в подпольной газете «Руде право» и в листовках призывал чехов саботировать производство танков и самолетов для нашей армии. Клекан на следствии показал, что Фучик являлся членом коммунистического ЦК и его опровержение здесь, на суде, не может быть признано основательным. Тайная полиция обезвредила группу преступников во главе с Фучиком, и теперь рабочие протектората с

горячим чувством помогают фюреру снабжать армию вооружением.

При этих словах Юлиус усмехнулся. Нёбель повысил голос:

— Достаточно вам, высокоуважаемые президент и судьи, ознакомиться с вещественными доказательствами, чтобы убедиться, кого вы сегодня судите. У подсудимого Фучика в момент ареста отобрали два заряженных револьвера системы «Сбройовка» и восемнадцать запасных патронов, подпольные листовки, фальшивые документы и выпущенный им номер нелегальной газеты «Руде право». Следствие и судебный процесс, господа судьи, убеждают нас, что с последним членом ЦК Фучиком коммунистическое движение в протекторате разгромлено! Но сильнее всего убеждает нас в этом сегодняшний приказ фюрера о возведении в высшие ранги имперского протектора Богемии и Моравии доктора Вильгельма Фрика и имперского министра Карла Германа Франка за их доблестную службу, за искоренение коммунизма в протекторате.

Нёбель развернул огромный лист газеты «Фелькишер беобахтер» за 25 августа, и все увидели на первой странице большие портреты Вильгельма Фрика и Карла Германа Франка.

— Заклятый враг рейха и самого фюрера чех Юлиус Фучик и его помощники должны быть приговорены к смертной казни и к вечному лишению чести!

Последние слова Нёбель произнес угрожающе громко. Юлиус даже не пошевельнулся. Лида Плаха, услышав требование прокурора, вздрогнула. Клекан съежился.

Если к речи прокурора судьи проявили какой-то интерес, то защитников они вовсе не слушали. Адвокат Гофман предложил для Фучика наказание, соразмерное его проступкам, что по существу означало смертную казнь. Защитник Клекана, Вайман, попросил смягчения приговора для своего подзащитного — пожизненное заключение. Адвокат Эккерт закончил свою речь просьбой:

— Сам высокочтимый прокурор не сформулировал состава преступления у Лиды Плахи. Ее вина не доказана. Поэтому прошу высокоуважаемых президента и членов трибунала освободить мою подзащитную.

Директор суда Шлеман шепнул председателю: «По-моему, все ясно. Не надо давать подсудимым последнего слова». Роллаид Фрайслер за минуту до этого сам решил немедленно закончить заседание. Но его задел фамильярный, чуть ли не покровительственный тон Шлемана. «По-моему»,— бурчал про себя Фрайслер, недовольный преуспевающим директором суда,— он позволяет себе говорить со мной так, словно уже занял мое место».

И назло Шлеману председатель предоставил Юлиусу последнее слово.

В зале наступила тишина.

— Просить вас о мягком приговоре,— спокойно заговорил Юлиус,— считаю недостойным для человека. Но мне есть что сказать трибуналу, названному, вероятно, в насмешку, народным. Представитель верховного имперского прокурора, первый государственный прокурор Нёбель возвестил, что после арестов в протекторате покончено с коммунистическим движением. Он хочет представить это заседание трибунала, как последний удар по последнему коммунисту в Чехословакии. Так ведь, господин прокурор? Вам не дают покоя лавры пигмеев, которые еще сто лет тому назад открыли поход против Союза Коммунистов, против Маркса и Энгельса и так же, как и вы, наивно считали, что больше их не будет тревожить призрак коммунизма. Тысячи цепей отковал за сто лет капитализм, желая приковать коммунистического Прометея к скале. И что же? Оказалось, что идеи коммунизма невозможно заковать в цепи или задушить в казематах. Эти идеи стали великой материальной силой в Советском государстве. Эти идеи воодушевляют на борьбу с реакцией и войной миллионы людей во всем мире, как и в моей стране — в Чехословакии. Никакими трибуналами, душегубками ни вы, ни восхваленные вами сегодня палачи Вильгельм Фрик и

Карл Герман Фраик не вытравят коммунизм из верных сердец!..

Верой в грядущую победу дышала речь Юлиуса. Прокурор, члеиы суда и защитники не понимали, почему же молчит Фрайслер, почему он только дрожит в бессильном бешенстве и разрешает подсудимому продолжать свою речь.

— Я стал в Чехословацкой республике коммунистом,— все с большей силой звучал голос Юлиуса,— так как ие мог и ие хотел мириться с капиталистическим строем, с самым худшим видом рабства. Я начал подпольную работу для того, чтобы помочь своему народу изгиать оккупаитов и вместе с ними предательское правительство протектората. Но я имел в виду не только это. Вся иаша борьба потеряла бы смысл, если бы после освобождения снова взяли власть в свои руки те, кто довел мой иарод до катастрофы, кто присягал ему иа верность, а между тем, уже задолго до тридцать восьмого года подготовлял предательство. Было бы бессмыслеиио, если бы те же политические банкроты сиова встали во главе моей страны. Иначе говоря: моя подпольная революционная деятельность была направлеиа на завоевание длительного мира, иастоящей свободы моему народу, на подготовку победы будущего социалистического Чехословацкого государства!

Неотрывно глядела Лида Плаха иа одухотворенное лицо Юлиуса. Глаза его светились счастьем борьбы. Он расправил крутые плечи, повернул голову к прокурору:

— Вы изволили сказать, что рабочие Чехии и Моравии с горячими чувствами трудятся на пользу нацистской Германии. Вам придется изменить свое мнение, господин первый прокурор! Вы узнаете эти горячие чувства в новых забастовках и баррикадах на чешских улицах. Тогда мой народ вспомнит пятнадцать тысяч убитых вами коммунистов и за каждого воздаст по заслугам и вам, и всем фрикам, и франкам!

В эту минуту Ролланд Фрайслер освободился от оцепенения. Он стал неистово кричать: «Замолчите!»

Но Юлиус и не думал молчать. Он поднял голову еще выше, и в лицо прокурору, судьям, охрипшему от тщетных криков председателю трибунала Фрайслеру бросил:

— Ваш приговор будет сейчас зачитан. Я знаю, он гласит — смерть. Мой приговор над вами уже давно вынесен. В нем кровью всех честных людей мира написано: смерть фашизму, смерть капиталистическому рабству! Жизнь — человеку! Коммунизму — будущее!

МОЛОДЕЖЬ

1

Утро было солнечное, ясное. Но в послеобеденный час начал подниматься густой серый туман. Сначала он обволок северо-западные холмы, затем за мутной его пеленой постепенно исчезли круглая башня Петржин и серебристые шпили храма святого Витта, возвышающиеся над Градчанами. Чуть ниже Пражского кремля туман достиг Златой улочки, где за столетия ничего не изменилось. Приземистые, с подслеповатыми оконцами, покосившиеся домики по сравнению с монументальными зданиями новых улиц выглядели, как видения древности. Казалось, вот-вот дряблые руки распахнут гнилые черные ставни, и алхимики затеют спор о путях поисков философского камня и о том, кому из них суждено превратить простой металл в золото.

Поглотив Злату улочку, туман пополз вниз, на старую часть Праги — Мáлу Стрáну, рваной шалью распростерся над домами с красными черепичными крышами, закрывая лепные украшения на фасадах.

Милош Новотны спускался по петлеобразной улице, где когда-то жил поэт Неруда, по улице его имени. Только что Милош различал под карнизом трехэтажного дома лучи вокруг золотого глаза, а минуту спустя туман уже закрыл скульптурное изображение, по которому лет триста тому назад пражане находили

необходимый дом. От взора юиоши скрылись и олеиеиок и лебедь, вылеплеииые в те же далекие времеиа на соседиих зданиях. У самой Малостранской площади ои с трудом разглядел иа фасаде одиого из домов три перекрещеииые скрипки и над воротами соседнего здания — льва. В «доме со львом» Милоша должеи был ждать Ладислав Пекса.

Лабиринт внешиих и внутрениих лестиц вел то в тесиые, душиые подвальиые помещения, то в каморки, сколочеиные под самой крышей. Ступеиьки из старых досок скрипели, прогибались, и Милош, который впервые подиимался по этой лестиице, ежесекундио рисковал сорваться. В полутемиом коридоре ои остановился у двери с иомером 18 и позвонил.

— Вам кого? — тотчас же послышалось за дверью.— Кто это?

— Милош Новотиы... Мастер срочно прислал...

Дверь раскрылась, и тщательио выбритый, круглолицый ваграищик Зденек Червиика впустил Милоша в комиату.

Юноша иемало удивился, узнав в хозяине зиакомого литейщика. Кто иа заводе мог подумать, что осторожиый, чуждавшийся людей Червиика за короткое время так измеиится. Ои всегда жил обособлеиио от товарищей, в сорок пять лет все еще был холостяком и то ли серьезио, то ли в шутку говорил, что если он женится, то только на Миладе Поспешиловой. Литейщики посмеивались иад старым холостяком. Они не предполагали, что и Червиика, и Поспешилова после забастовки иа Колбеике и выставки поияли, что стихийиый буит, как и бездействие, к добру ие приведут. Простое слово Ярослава Копты нашло отзвук у этих различиых по характеру людей. Милада Поспешилова стала выполиять задаиия партийиой организации завода среди литейщиц. Здеиек Червиика предоставил свою квартиру под явку.

Комиатка была иебольшая, с иизким потолком. В ией стояла узкая железиая кровать, столик и этажерка. На верхией полке лежала книга по литейному делу. Перехватив взгляд Милоша, Червиика добродушно рассмеялся:

— Изучаю технологню, чтобы делать то, что запрещается в этой кииге.

Здеиек Червиика иадел шляпу, проутюжеиный пнджак, поправил перед зеркалом галстук и, собираясь выйти, сказал:

— Это ключ от чердачиой двери. Если услышншь, что я в коридоре запел «Колниэчку, Колннэ...», пустн на чердак механика н замкии дверь. Понял, молодец?..

Прошло иесколько мииут. Заскрипела лестиица, и в комиату вошел Ладнслав Пекса. Его лицо загорело за время миогочисленных разъездов по страие. Глаза улыбались.

— Ты возмужал, Милош, совсем взрослым стал. Почему мрачиый? Неприятиости?

— Адольфа Колинского заподозрили в связях с заключеииыми Паикраца... Увезли в концеитрацноиный лагерь.

— Кто сообщил?

— Аитоиии Щетка. Он просил узнать у вас, можко ли иметь дело с другим надзирателем, которому Колиский доверял?

Пекса подошел к окиу, долго глядел иа тумаи. Большой открытый лоб прорезали продольные морщины. «Колииский знал квартнру Аитониια Щетки. Не опасио лн это для типографии? Нет ли слежкн за Щеткой?»

— Когда взяли Колиского?

— Дней десять тому иазад,— ответил юиоша, догадываясь, какие мысли тревожат Пексу.— За это время Щетка исполиял только свои обязаниости двориика н в типографию ие спускался. Подозрительиых лнц около дома ои ие замечал.

— Передай старику, чтобы ои ни с какнми иадзирателямн тюрьмы в связь ие вступал. Я верю, что Колнский иичего ие сказал гестаповцам н ие скажет — это волевой, предаиный человек. К тому же ои н ие зиал о подпольиой типографнн. Но осторожность ие повредит. Работу в типографни разрешаю продолжнть только через неделю. Передай старнку, что ты в эти дни не будешь приходить.

— Хорошо. Щетка просил передать вам, что часть шрифта сильно износилась. Если вы разрешите, возьму у Люмира.

— Бери. Сейчас не вижу другой возможности. Возьми только из шрифтов, не зарегистрированных в полиции. У вас имеются такие?

— Имеются. Я с мамой из малых касс однажды набирал листовку. Потом мы шрифт спрятали.

Голос юноши затрепетал, как только он заговорил о матери.

— Мать пишет?

— Давно нет писем. Может быть, ее перевели в другой концлагерь.— Милош стиснул кулаки.— Боюсь — не выдержит, не дождется...

— И от нас с тобой зависит, чтобы дождалась.— И немного помолчав, Ладислав неожиданно для Милоша спросил:

— Как Власта Вонасек выполнила первые поручения? Понимает важность нашей работы?

— Она все делает сознательно и осторожно, как делал ее отец.

Сколько ни старался Ярослав Копта как можно тише подняться по лестнице, его грузные шаги услышали наверху.

— На здар, соудрузи!

Пекса обернулся к сталевару и, ответив на приветствие, сделал ему выговор за пятиминутное опоздание.

— Я не мог пересесть на Вацлавской площади в другой трамвай,— оправдывался сталевар.— Там проходила эсэсовская часть со своим знаменем. Впереди них по тротуару и мостовой бежали молодчики из гитлерюгенд, срывали с чехов шляпы и палками били тех, кто не успел или не хотел обнажить голову перед проклятой свастикой. Сам не пойму, как я удержался, чтобы не броситься на них с кулаками!

— А я не понимаю, как могут появиться такие мысли у партийного руководителя,— сказал Пекса.— Ваша энергия должна быть направлена совсем на другие цели. Расскажите, что вы сделали на Колбенке, чтобы выполнить последние решения ЦК?

Копта присел напротив Ладислава. Глухой голос сталевара понизился:

— Партийная организация выросла на двадцать пять человек. В массовом саботаже участвует большинство рабочих. На днях в механических цехах выведены из строя станки. Медь и алюминий, прибывающие на завод, только наполовину идут в производство, остальное прячем для будущего, когда завод будет в наших руках.

С удовольствием перечислял сталевар то, что было сделано на Колбенке за лето. Он ожидал похвалы Ладислава Пексы и даже привстал, услышав вопросы:

— Кто прячет? Молодежь или вы сами, соудруг Копта?

Сталевар смутился. Пекса словно был с ними в ту ночь, когда он, Олива, Поспешилова и Новотны вынесли из литейного цеха медь и закопали ее у заводской стены.

— Значит, сами... Как с оружием? Сколько людей вы сможете вооружить, когда настанет час?

Копта молчал. Он считал, что с оружием можно пока не спешить, но сказать об этом Пексе не решался.

— Моя десятка,— ответил за сталевара Милош,— достала четыре пистолета.

Ладислав снял очки, стал протирать стекла. Его прищуренные, близорукие глаза улыбнулись юноше и опять недовольно уставились на сталевара.

— Молодежь начинает вас обгонять, Копта. Она чувствует, не за горами время вооруженной борьбы. Вы же недопустимо медлите. Установите связь с надежными людьми из чешской охраны. Через них доставайте винтовки, пулеметы. Передайте коммунистам лозунг ЦК: «Оружие есть, нужно только взять его!» Вдумайтесь, соудрузи, в сводки Советского Информбюро. В результате летнего наступления русских, гитлеровская армия оказалась перед катастрофой. Нам надо быть готовыми поддержать наступление советских войск вооруженным восстанием.

2

В переулке близ Влтавы, перед серым двухэтажным домом, стоял Люмир Новотны. Он долго смотрел на вывеску, прикрепленную над верхним рядом окон: «Фирма Новотны. Основана в 1824 году Богуславом Новотны».

Больше века тому назад его прадед поднял над домом эту вывеску. Время шло, а вывеска оставалась той же. Через каждый десяток лет на нее накладывали свежий слой таких же красок: белые буквы и цифры на темно-зеленом фоне.

«Если б отец мог видеть, похвалил бы меня»,— подумал Люмир, все еще глядя на вывеску.

После смерти отца Люмир однажды попытался предложить матери по-иному поставить дело в издательстве. Она не дала ему досказать:

— Мне наблюдатели и советчики не нужны, сама управлюсь.

Люмиру были неприятны эти воспоминания. Задумчивый взгляд скользнул по осиротелому дому, и невеселые мысли о матери омрачили настроение. «Сможет ли она все пережить, дождаться моей помощи? Будь жив отец, все оставалось бы по-старому даже при немцах. Но что я мог сделать, когда мать скрыла от меня эту историю с бланками паспортов?»

Шаги за спиной оборвали мысль.

— Ах, это ты! — произнес Люмир необычно мягким тоном, увидев Милоша.

Со дня поступления на завод Милош словно забыл, что у него есть старший брат. Он чуждался Люмира, как в детстве отца, который без всякого повода избивал младшего сына. Отцу не нравилось, что Милош так похож на мать, что он своенравен, самостоятелен, что чуждается своих сверстников в районе Ма́лой Стра́ны, а бежит к оборванцам рабочего Смихова, к родителям матери и пропадает там целыми днями. Не нравилось это и Люмиру, и братья жили бок о бок, как чужие, случайно сведенные вместе дети.

Арест матери, ее страдания, казалось, должны были бы сблизить братьев — в Праге у них никого не

было из родных. Но Милош даже не пытался заговаривать с Люмиром. И теперь, мельком взглянув на вывеску, он перевел на брата глаза, в которых было выражение безразличия и усталости.

— Другой на твоем месте обрадовался бы. Видишь, только что вывесил,— миролюбиво заметил Люмир. Ему хотелось сейчас, когда мать в концентрационном лагере, примириться с братом, приблизить его к себе, сделать то, чего он не сделал в детские годы Милоша.

— Я не вижу причин для радости,— услышал он в ответ.— Если бы ты сообщил мне хорошие вести о маме, тогда...

Минуту назад Люмир намеревался поделиться с братом новостью: влиятельные люди обещали ему помочь матери. Теперь он решил умолчать об этом... Люмир вспомнил, как после ареста матери Милош не хотел сказать ему, кто ходил к ней и для кого печатались бланки паспортов. До сих пор он не признает его старшим в семье, где-то шляется с подозрительными людьми, а его, единственного брата, избегает.

— Где ты сутками пропадаешь? — заговорил Люмир шепотом.— Навлекаешь подозрения на мой дом!

Милош шагнул вплотную.

— Дом не твой, пока мать жива. А отчитываться перед тобой, куда хожу, не намерен. И тебя не спрашиваю, с кем ты встречаешься. Хотя догадаться, кто твои друзья, не так уж трудно.

Люмир отшатнулся, как от удара.

— Я покажу тебе догадки!

И быстро удалился в сторону Влтавы...

Старик сторож, открыв Милошу дверь, ушел в свою каморку. Кругом все было закрыто. Десяток рабочих маленькой типографии справлялись с редкими заказами в одну смену, и теперь во всем доме были только дремавший сторож да служанка, которая постоянно находилась во флигеле, построенном когда-то отцом для Люмира.

Надев старый рабочий комбинезон, юноша тихо, чтобы не потревожить сторожа, спустился в типографию. Молчали печатные машины. Полумрак окутывал

тяжелые, массивные наборные кассы. В воздухе стоял знакомый терпкий запах олифы и краски. Милош стал отбирать шрифт.

Из коридора через полуоткрытую дверь проникала в типографию лишь тоненькая полоска света. Но Милош уже привык к полутьме, да и потребуется ему всего какой-нибудь час.

Он вспомнил о матери. Как она помогла бы ему сейчас. Ему казалось, что он чувствует на себе взгляд ее добрых глаз. Вот теплые ласковые руки коснулись головы. «Темно набирать тебе, Милоше! — чудится ему голос.— Скоро закончим, сынок. Еще только одну форму сделай...»

И руки все быстрее и быстрее подбирали буквы, а юношеские губы сжались решительно и строго.

3

В этот вечер дома никого, кроме Власты, не было. Девушка занималась вышивкой. Тревожные мысли о больном брате, об отце, который ни разу не приезжал из Моравской Остравы, не покидали ее. Но больше всего она думала о Милоше Новотны. В последнее время он не так часто, как прежде, заходил в лабораторию, реже стал провожать ее до остановки трамвая. Ее мучили сомнения: не ошиблась ли она, думая, что нравится ему?

Стук в дверь испугал ее.

— Кто там?

— Новотны. Можно к вам?

— Я одна, поэтому заперлась,— впустив нежданного гостя, проговорила она, словно оправдываясь.

— Извините, что пришел, не предупредив заранее. Я по делу.

— Жаль, мама задержалась у брата в больнице.

— Мне надо поговорить именно с вами.

Власту смутили эти слова. «Почему он мне ничего не сказал на заводе? Несколько дней будто нарочно избегал».

Милош мял в руках шляпу.

— Разрешите присесть, Власта?

Сердце девушки гулко билось. Она тихо произиесла: «Прошу вас»,— ио ие смела подиять глаза.

— Как здоровье Вашека? — спросил Милош, садясь у стола и ие сводя взора с Власты. В простеиьком белом ситцевом платье, зардевшаяся от волиеиия, она казалась еще милее, чем всегда.

— Врачи боятся обостреиия туберкулеза. Не зиаю, чем и помочь матери. Оиа так измучилась!

— Письма от отца имеете?

Она подияла иа юиошу глаза, собираясь ответить, но Милош вдруг, без всякой связи с предыдущим разговором, спросил:

— У вас хорошая память, Власта?

Вопрос озадачил девушку.

— Мне трудио ответить. В школе учителя считали, что у меия память хорошая. Я всегда читала иа утреиниках стихи, а одиажды большой отрывок из поэмы «Май» Карла Гинека Маха. И сейчас помию поэму... Простите, Милош, к чему этот вопрос?

— Хочется зиать, надолго ли вы сможете запомнить своих друзей, иу, скажем, меия...

— Вас?! А разве вы уезжаете?

Она подиялась со стула, Милош заметил, что оиа взволиоваиа.

— Нет, я никуда ие еду,— ответил он поспешио.

Оба мииуту молчали, глядя друг иа друга.

— Товарищи вашего отца должиы срочио передать ему кое-что важное. Меия спросили, можио ли положиться иа вас.

— И вы сказали?

— Я ответил, что ручаюсь за вас, как за самого себя. Ведь я ие ошибся?

— Спасибо, Милош.

Юиоша встал, взял девушку за руку. Она вспыхнула и мягко высвободила руку.

— Мне придется поехать?

— Да, руководители считают, что поездка дочери к отцу ие вызовет подозреиий у полиции, у шпиков гестапо. Они сейчас особеиио рыщут по городам и железиым дорогам.

— А на Колбенке?

— Завтра вы скажете старшему мастеру, что отец заболел. Он договорится с начальником цеха. Вас отпустят на три дня.

— Вы мне дадите письмо?

— Нет. Рассчитывайте только на свою память.

Милош передал директиву остравским коммунистам и дважды проверил, как Власта запомнила ее.

4

Предупрежденный телеграммой, Франтишек Вонасек встретил дочь на вокзале.

— Власта, дорогая! — воскликнул он, целуя ее.— Как хорошо, что ты приехала!

Они вышли с вокзала на шумную многолюдную привокзальную площадь. Девушка рассказывала отцу о доме. Мать просила не говорить ему, что болезнь Вашека обостряется, но в уклончивых ответах дочери Франтишек улавливал правду. Свой приезд Власта объяснила тем, что мама очень встревожена его молчанием.

— Если у тебя есть время,— предложила она,— пройдемся. В вагоне было так душно...

— Воздух в нашем городе не лучше, чем в вагоне. Ладно, пойдем.

Они шли по извилистым пыльным улицам Остравы, разделенной на две половины рекой Остравицей. Мрачные кварталы часто сменялись шахтами.

— Три четверти угольных запасов Чехословакии лежат под нами,— сказал Вонасек.

— А это что за зарево, папа? Все небо будто красными угольками посыпано. И гудит сильно.

— Это Витковице, завод, на котором я работаю. Сейчас его увидишь.

После Колбенки, с ее малой мартеновской печью, с чистыми, близко расположенными друг к другу цехами, Витковицкий комбинат поразил девушку. С небольшого холма, на котором они оказались, выйдя на окраину города, перед ней открылась панорама само-

го крупного в Чехословакии металлургического завода. Стражами-великанами стояли доменные печи. Длинные коробки мартеновских, прокатных, литейных и механических цехов, с лесом устремленных в небо труб, были раскинуты на многие километры и издалека казались черными, обвитыми дымом боя кораблями. Коксовые батареи выбрасывали из высоких вертикальных печей на железнодорожные платформы раскаленный кокс. Ныряя под непрерывную сеть газопроводов, взад и вперед мчались маленькие крикливые паровозики с длинными составами вагонов.

— И ты не теряешься в таком хаосе?

— Здесь, доченька, не хаос... Пятьдесят тысяч металлургов Остравы давали до оккупации четыре пятых всего чугуна и стали страны!

Вонасек взял дочь под руку и, хотя близко людей не было, заговорил быстрым шепотом:

— Разве можно допустить, чтобы враг использовал всю мощь Витковице? Мы сделали так, что механические и сборочные цехи, которые при желании рабочих могли бы дать за сутки несколько десятков корпусов танков, выпускают в день два-три корпуса к «Тигру».

— Ты так влюблен в Остраву, папа, что забудешь нашу Колбенку!

— Нет, доченька, Колбенку не забыть... Да что я разболтался, даже не узнал, как тебе работается в литейном. Ты как-то намекала в письме, что тебе доверяют делать сложные анализы. Кто же твой воспитатель?

Девушка смутилась и, опустив голову, стала усиленно вытирать платком глаз.

— Уголек попал, ах, какой ветер несносный! — словно не замечая неловкости Власты, проговорил Вонасек.— Значит, тебя никто не обижает?

— Что ты, отец! Милада Поспешилова, Ярослав Копта и литейщики заботятся обо мне, как о дочери. Да я сама себя в обиду не дам.— И доверчиво добавила: — Состою в молодежной группе. Ею руководит... Милош Новотны.

— Хороший парень Милош, честный. По правде сказать, я тоже люблю его.— И Франтишек лукаво посмотрел на дочь.

Девушка молча прижалась к отцу...

Когда они пришли на квартиру рабочего, товарища Франтишека Вонасека, у которого он снимал комнатку, Власта вынула из корзинки гостинец от матери — сладкие пирожки и картофельные лепешки. Франтишек ел, хвалил кулинарное искусство Альбины и рассказывал дочери, какие вкусные блюда готовила мать когда-то. Девушка долго мешала ложечкой кофе, в котором не было и грамма сахару, и рассеянно слушала отца.

— Что с тобой, доченька? — с тревогой спросил Вонасек.

— Ничего, папа. Посмотри, пожалуйста, в соседней комнате никого нет?

Он вышел и сейчас же возвратился.

— Во всей квартире мы одни.

— Я должна тебе передать поручение Центрального Комитета.

...Вечером того же дня Франтишек Вонасек встретился с руководителем коммунистической организации Остравы и слово в слово повторил переданную ему дочерью директиву:

«Из Рура к вам переводится изготовление деталей для подводных лодок и секретного оружия ФАУ-1 и ФАУ-2. Делайте так, как делали с «Тиграми». Свяжитесь с руководством Словакии. Когда начнутся массовые действия, шлите туда свои партизанские отряды».

ЗАГОВОРИВШАЯ СТЕНА

1

Двадцать пятого августа, в двенадцать часов пять минут, председатель трибунала огласил приговор. Осужденный на смерть, Юлиус Фучик вышел из зала суда как человек, который одержал моральную победу над врагом, утвердил торжество правды.

Лида Плаха шла рядом с ним. Она смотрела на Юлиуса, и во взгляде ее был горький вопрос: «Неужели конец? Неужели вас не будет!» Юлиус улыбался ей. Когда он начал борьбу в пражском гестапо за жизнь Лиды, он не был уверен, что ему удастся отвести от нее обвинения. Но он выбил из рук следователей и судей прямые улики против Лиды. Фрайслер был вынужден записать в приговоре: «Что касается Плахи, то не доказано, что последняя сознательно помогала обоим. Поэтому она освобождается».

Юлиус понимал, что фашисты не выпустят из своих рук Лиду, что ее ждет концентрационный или, в лучшем случае, трудовой лагерь. Но прощаясь с ней, он сказал:

— Я верю Лида, ты встретишь Советскую Армию, ты увидишь наш народ свободным.

Позади нетвердой походкой плелся Ярослав Клекан. Его отказ от своих первоначальных показаний против Лиды, облегчил ее судьбу, а его лишил шанса избегнуть смертного приговора. Он надеялся, Лида оценит его жертву, скажет ему на прощание ласковое слово, но девушка не замечала его. Она вся была поглощена Фучиком, смотрела неотрывно на него, стараясь навсегда запечатлеть образ непокоренного человека, бесстрашно идущего навстречу казни.

Еще одну ночь Юлиуса Фучика продержали в тюрьме Моабит, а утром 26 августа отвезли в Плёцензее.

В этой тюрьме, находящейся на северо-западной окраине Берлина, заключенные с жадностью ловили вести об успехах Красной Армии. Но с июля сорок третьего года стали распространяться леденящие душу слухи. Передавали, что гитлеровские давизии начали невиданное по силе наступление, что они окружают Москву.

Администрация тюрьмы поддерживала эти слухи. Как ржавчина медленно, но неумолимо разъедает железо, так панические слухи разъедали веру и волю многих заключенных.

В корпусе, куда сажали новичков, не оказалось места. Фучика привели в корпус № 2.

Как только открылась дверь камеры, в темном углу зашуршала солома матраца, и с него вскочил обросший, истощенный, с всклокоченными волосами и блуждающим взглядом человек. На нем было только нижнее белье. Надзиратель швырнул ему с порога серые полосатые брюки, черную верхнюю рубаху и крикнул:

— Наручники!

Ежедневно в шесть часов вечера узники Плёцензее обязаны были снимать с себя верхнюю одежду, складывать ее на табурет и выставлять за дверь. На ночь им надевали алюминиевые наручники и снимали их утром, чтобы заключенные могли работать: им полагалось отрабатывать свою скудную пищу.

Сосед по камере не вступал в беседу, не отвечал на вопросы. Фучик попытался связаться с другими камерами, но оттуда — ни звука. Люди, потерявшие веру, стали бояться каждого шороха.

На следующее утро солнце кинуло на подоконник пучок лучей. Они застыли, словно в изумлении.

Голый до пояса Фучик, широко расставив сильные ноги, рассекал руками воздух. Он приседал, бил кулаками прижатого к стене невидимого противника, бегал на месте. Потом весело забулькала вода — Фучик поливал над раковиной голову. И впервые за сто семьдесят суток ожидания казни в глазах его товарища по камере блеснул живой огонек.

Позднее они вдвоем клеили из бумаги кульки. Фучик узнал, что товарищ — чех по национальности и зовут его Рудольфом. Отвыкшему не только говорить, но и думать, ему было тяжело отвечать на вопросы, и Фучик старался рассказами о Праге, о борьбе антифашистов, песней, шуткой вывести соседа из состояния безразличия. И постепенно Рудольф начал шутить, смеяться, а как-то даже пропел куплет из веселой народной песенки.

Однажды, когда им принесли работу — очистить полмешка гороха,— сквозь открытую дверь до Фучика долетел знакомый, растерянный голос:

— Защитника! Помилование!

Нетрудно было понять, что Клекан опять малодушничает, как в первые дни ареста, и может пуститься на новые сделки с совестью, лишь бы сохранить свою жизнь.

Бросив в таз гнилые горошинки, Фучик сказал:

— Видите, порченое семя даже не звенит. Нет в нем здоровой сердцевины, как нет и не было ее у Ярослава Клекана. Я часто думаю, почему недавно пришедшие к нам люди встречают муки с таким же мужеством, как испытанные революционеры? Они верят! Вот в чем дело. Верят в силы рабочего класса Чехии, в несокрушимость нашего друга и спасителя — советского народа. Они сердцем чувствуют, что Красная Армия приближается к нам.

— Вы говорите, к нам? — робко переспросил Рудольф.— Вся тюрьма знает, что русские отступают.

— Неправда! В первый же день я рассказал вам о наступлении русских. Что же вы молчали о ложных слухах? — Теперь лишь Фучик понял, почему потеряли веру, почему многие заключенные оказались безразличными к событиям вне тюрьмы,— к своей собственной судьбе.

Пошарив под крышкой столика, Фучик нашел подобранный им на прогулке кусочек стекла и начал распарывать манжету.

— Что вы хотите сделать? — испугался Рудольф.

— Покончить с неверием, с разобщенностью среди заключенных.

Из манжеты Фучик извлек грифель. Еще в Панкраце он расколол последний, принесенный надзирателем Колинским чернильный карандаш и спрятал огрызки. Сколько раз с тех пор его обыскивали, но не нашли этого опасного для тюремщиков оружия.

— Станьте у двери.

Рудольф подошел к двери и, прислушиваясь к тому, что делается в коридоре, не сводил с товарища любопытных глаз. Фучик вынул из рюкзака новую нижнюю рубаху, которую сестра принесла ему перед отправкой из Праги. Тем же куском стекла он отрезал ворот, распорол рубаху по вертикальному шву и превратил

в простыию. Затем облил ее водой из кувшина и, разложив иа столе, крупиыми буквами стал выводить какие-то слова. Находясь у двери, Рудольф ие мог прочитать иаписаиное иа иемецком языке. Ои только заметил нарисованиые слева — звезду, а справа — поднятый кулак. Закоичив писать, Фучик спрятал рубаху под тюфяк, а когда надзиратель отпер дверь и велел выйти иа прогулку, лег иа тюфяк, притворяясь больным.

Камера, где сидел Фучик, была угловой и иаходилась иа втором этаже. Окошко выходило во двор, прозваиный узииками Плёцеизее «Медвежьей пляской». Надзиратели имели привычку во время прогулки заключеииых стоять иа ступеиьках около дверей корпуса: отсюда, им удобией было обозревать весь круг. Угол стеиы, куда выходило окио камеры, надзиратели видеть не могли, зато заключеиным этот угол был хорошо видеи.

Этим и решил воспользоваться Фучик.

В соломеииых башмаках, в серых, с черными каитами брюках, в чериых рубахах шли по кругу в двух шагах друг от друга приговореииые к смерти люди. На дворе слышалось шуршаиие соломы о камеииую дорожку да говор надзирателей. Шедший впереди Рудольфа иемец-аитифашист внезапио услышал шепот: «Смотрите вверх». Заключеиный подиял голову и разглядел свисающий из окиа кусок полотна. Рудольф, немец, поляки и чехи прочитали:

ПРАВДА УНИЧТОЖАЕТ ЛОЖЬ

Белое полотио притягивало взгляды заключеиных. Но те, которые плохо знали немецкий язык, успевали за время, пока в их поле зрения было полотиище, прочитать лишь одиу-две строчки. Оии повторяли на родиом языке прочитанную строчку и с нетерпением ждали приближеиия той половины круга, с которой видиа была заговорившая тюремиая стеиа. Заключеиные, совсем ие владевшие немецким, неотрывио глядели иа загадочиое полотио и по звезде, и поднятому кулаку догадывались о содержаиии. Сперва, удивлеииые, оии

К стр. 337

молчали, но на третьем круге юноша-грек не выдержал и попросил у шедшего впереди перевести надпись. Заключенный начал негромко читать:

«Правда уничтожает ложь.

Товарищ! Красная Армия ведет невиданное наступление. Освобождены Орел, Брянск, почти весь Донбасс. Русские подходят к Днепру.

Не верь лживым слухам. Не опускай головы. Фашизм будет уничтожен.

Ты не жертва, ты — боец. Твое оружие — мужество и вера в победу правды. Наш девиз,— даже умирая, побеждай!»

Огонь засверкал в черных глазах грека. Оживились лица обреченных.

Старший надзиратель услышал подозрительный шум, и заметил вспыхнувшие взгляды. Не отчаяние, не апатия были в них теперь. Надзиратель спустился со ступенек, пошел по кругу, стараясь выяснить причину шума и дерзких взглядов. Фучик стоял под своим окном. Он услышал вдруг голоса заключенных и пронзительный крик надзирателя: «Убрать! Не смотреть!» Фучик торжествовал: его слова дошли до осужденных к смерти товарищей.

Спустя несколько минут десяток эсэсовцев во главе с начальником тюрьмы Рооде ворвались в его камеру.

2

Фучик очнулся от сильного холода. Он лежал на полу, в воде. Было темно.

Что сейчас, день? Ночь? Разве узнаешь об этом в каменном мешке.

Встать он не смог и пополз к стене. Здесь воды не было. Нащупав выступы острых камней, он приказал себе:

«Встань! Встань сейчас же! Ни минуты больше нельзя лежать на полу!»

Он поднялся, удерживаясь за выступы камней, покрытых скользкой плесенью.

Утром 31 августа надзиратель раскрыл дверь карцера и увидел Фучика, прижавшегося лбом и коленями к стене. Длинные тонкие пальцы вытянутых вверх рук вцепились в камень.

— Выходи!

Фучик с трудом оторвался от стены. Он сделал шаг, другой, но тут же упал, потеряв сознание.

Его внесли в камеру и бросили на тюфяк.

— Почему меня выпустили? — прошептал, придя в себя, Фучик.

— Я просил за вас,— услышал он и увидел адвоката Гофмана.

— Вы пришли на мои похороны, господин Гофман?

— Я прихожу к подзащитным с хорошими намерениями. Как видите, добился, чтобы вас выпустили из карцера. Вам разрешено написать просьбу о помиловании. Ярослав Клекан послушал моего совета, и, я надеюсь, что высшие инстанции подумают о сохранении ему жизни.

Фучика передернуло от этих слов.

— Палачи не дождутся от меня просьб. Уходите, господин Гофман!

В глазах Гофмана появилась растерянность.

Ему хотелось теперь немногого — получить за посещение подзащитного 81 марку 26 пфеннигов. Но нужно хотя бы формальное оправдание этого посещения, и он прибегнул к последнему средству:

— Письмо родным, надеюсь, вам хочется написать? Я даю вам слово, что сам его перешлю.

Здесь, в Плёцензее, Фучик уже не надеялся написать отцу, матери и сестрам. Может быть, адвокат действительно перешлет письмо.

— Помогите, Рудольф, подняться.

Опираясь на товарища, Фучик подошел к столу. Железная восьмерка сковывала руки, мешала ему, но, превозмогая боль, он стал писать.

«Мои милые!

Как вам, наверное, известно, я уже в другом месте. 23 августа я ждал в Баутцене письма от вас, а вместо него дождался вызова в Берлин.

24.8 я уже ехал туда через Герлиц и Котбусс, утром 25.8 был суд, а в полдень все кончилось, как я и ожидал. Теперь я вместе с одним товарищем сижу в камере Плёцензее. Мы клеим кульки, поем и ждем своей очереди. Остается несколько недель, но иногда это затягивается на несколько месяцев. Надежды опадают тихо и мягко, как увядшие листья... Но дереву не больно... Верьте мне: то, что произошло, ничуть не лишило меня радости, она живет во мне и ежедневно откликается какой-нибудь мелодией из Бетховена. Человек не становится меньше от того, что ему отрубают голову».

Очень тяжело было писать, так бы и свалился на пол и заснул надолго после трех мучительных суток пребывания в карцере.

Фучик собрал последние силы и дописал:

«А теперь, мои милые, горячо обнимаю и целую вас всех и,— хотя сейчас это звучит немного странно,— до свидания.

Ваш Юля».

...Когда защитник проходил мимо канцелярии, он услышал, как начальник тюрьмы Рооде приказал надзирателю:

— Фучика — в третий корпус!

АМЕРИКАНЦЫ БОМБЯТ ПЛЁЦЕНЗЕЕ

1

Третий корпус Плёцензее был, как говорили заключенные, тюрьмой в тюрьме. Находившийся в глубине крепости, он был охвачен дополнительным кругом высоких стен и охранялся отборной эсэсовской стражей.

В ночь с 31 августа на 1 сентября сюда привели Юлиуса Фучика.

Пока Юлиус шел знакомым тюремным двором, он, подняв голову, смотрел в высокое небо, стараясь

отыскать звезды, которыми любовался вместе с Густиной. Яркие, далекие, они будили в нем волнующие воспоминания. Но лишь открылись тяжелые железные ворота во внутренний двор третьего корпуса, он стал вглядываться в стены, впервые появившиеся перед ним. Он искал слабые места в этой тюремной крепости, которая, по мнению фашистов, не имела ни малейшего изъяна.

Юлиуса провели в камеру на втором этаже.

С обеих сторон никто не подавал признаков жизни. Надзиратели, приносившие убогий тюремный паек, были безмолвны и суровы. На прогулку Юлиуса не выводили. Он оставался наедине со своими думами.

Однажды с обедом пришел новый надзиратель — сухощавый старик с огромной лысиной и квадратным подбородком. Он несколько задержался в камере, как-то странно разглядывая Юлиуса. Когда старик раскрыл дверь, чтобы выйти, другой надзиратель через весь коридор крикнул ему, видимо, здороваясь: «Хайль Гитлер!» «Ein halben Liter»,— пробурчал в ответ лысый надзиратель. Эсэсовец издалека навряд ли мог разобрать то, что хорошо расслышал Юлиус. «Пол-литра!» — так некоторые люди приветствуют друг друга в Германии. Но здесь — в Плёцензее!.. Попробую заговорить со стариком».

Вечером он уловил еле слышные шаги в коридоре. Ему показалось, что в дверях соседней камеры звякнул ключ. И, когда через некоторое время лысый надзиратель пришел забрать миску, Юлиус безразличным тоном спросил:

— Вы и пустые камеры проверяете?

— Камеры пустыми не бывают,— многозначительно ответил старик, прищурив близорукие глаза.

После ухода надзирателя Юлиус подошел к стене. Он решил, что заключенный, только что приведенный в третий корпус, не станет сразу отвечать. На всякий случай, Юлиус медленно выстукивал по тюремному коду: «Я — Юлиус Фучик». Не успел он спросить «Кто вы», как из соседней камеры кто-то стал лихорадочно выстукивать ответ.

Сначала трудно было из частых нервных ударов

составить слова. Но заключенный повторил фразу дважды, и Юлиус уловил:

— Юля, дорогой! Я — Курт Штрамберг.

От волнения у Юлиуса едва не подкосились ноги. Он прислонил отяжелевшую вдруг голову к холодной стене. «Курт арестован, приговорен к смерти. Прага потеряла связь с Берлином!..»

Поздно ночью, после двенадцати, Юлиус и Курт, перестукиваясь, подолгу беседовали. Курт рассказал, что, возвратившись в Берлин после выставки в Праге, он сумел связаться с русскими в лагерях.

— Я нашел врача Галину Романову, о которой говорили тебе в Праге. Прекрасная девушка! И каких она людей сплотила вокруг себя!..

Только когда начинался рассвет, друзья прекращали беседы, пронизанные заботой о судьбе антифашистского движения в Германии и Чехословакии, о дальнейшей борьбе Компартии.

Почти каждую ночь тревожные гудки заводов и дикторы берлинской радиостанции поднимали население с постелей. Хватая второпях самые необходимые пожитки, взрослые с плачущими детьми бежали в темные, сырые станции метро, в бомбоубежища, чтобы спастись от воздушных налетов американской авиации. Берлинцы уже убедились, что шедшие с запада самолеты весь свой смертоносный груз сбрасывают на жилые, чаще всего отдаленные от военных объектов кварталы. Они разрушали их методически, расчетливо, по заранее разработанному плану. На заводы бомбы падали редко, и они продолжали выпускать боевую технику, снаряды, патроны, которые отправлялись на Восточный фронт.

Если налеты бомбардировочной авиации были страшны тем, кто имел возможность бежать, укрыться от огня, от осколков, то каково же было состояние заключенных, которых во время воздушных тревог оставляли в камерах!

Услышав тревожные гудки, узники Плёцензее просыпались, вскакивали с тюфяков, негодующие и бес-

помощные. Их успокаивала лишь мысль, что тюрьма расположена далеко от военных объектов, от жилых кварталов Берлина, что на всех картах она уже семьдесят лет обозначена и что с воздуха, даже самой темной ночью, нельзя не заметить озера и каналы, окружающие Плёцензее. Корпуса этой тюрьмы ни с чем не спутаешь.

Между тем на штабной карте одного из крупных авиасоединений американских вооруженных сил квадратик Плёцензее был очерчен кровавым кружком.

Как обычно, Курт и Юлиус перестукивались и в ночь на четвертое сентября. В двенадцать сменились надзиратели, начальства уже давно не было, и друзьям никто не мешал. Когда начало светать, они услышали далекий нарастающий гул.

— Американские,— спокойно выстукал Штрамберг, привыкший к налетам на Берлин и безошибочно устанавливающий по шуму моторов национальную принадлежность авиации.

Самолеты приближались. Когда они были где-то совсем близко, послышался пронзительный вой падающих на Плёцензее бомб.

Одна попала в южную часть крестообразного третьего корпуса. Взрывная волна потрясла здание, и Юлиуса отбросило от стены.

На несколько секунд он потерял сознание. Когда пришел в себя, почувствовал сильную боль в спине. Было трудно дышать. Через разбитое окно камера заполнилась пылью и дымом. «Может быть, удастся бежать»,— мелькнула мысль. Юлиус встал, шатаясь, обошел кругом — все стены камеры оказались целыми. Лишь отлетело несколько кирпичей, один из них и ударил Юлиуса по спине.

Юлиус стал стучать в стену, но ответа не было. Сквозь разбитое окно послышались крики раненых, а затем близко — предсмертный хрип друга, задавленного видимо, балками.

Юлиус подставил табурет к окну, подтянулся за железную решетку.

— Курт! Курт!! — кричал Юлиус, но из камеры Штрамберга уже никаких звуков не доносилось. «Они

убнли Курта, убили сотии заключенных, которые могли дождаться свободы. А ведь летчикн хорошо знали, что здесь тюрьма, на рассвете онн ее нн с чем не могли спутать...»

Юлиус опять почувствовал острую боль в плече и в ногах. Чтобы не упасть, он сильнее сжал прутья решеткн.

2

Адвокат Люмир Новотны был срочно вызван на одиу из коиспнративиых квартир в Праге. В богато обставленном особняке его дожидался представитель чехословацкого правительства в Лондоие, высокий чех с маиерами аристократа. С его лица не исчезала любезная и слегка снисходительная улыбка.

— Доктор Эдуард Бенеш просил передать вам, что он жмет вашу руку... Вы получили директиву о воззвании?

Люмир торжествовал: сам Бенеш отметил его среди пражских единомышленников. Но, не проявляя своих чувств, он только учтиво поклонился.

— Воззвание я написал. Разрешите?

— Прошу вас.

Вынув из кармана исписанный мелким почерком лист, Люмир стал читать:

«ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧЕХАМ!

Ваше настоящее правительство шлет вам из Лондона братский привет и выражает надежду, что вы всеми силами поможете ему, как и нашим группам внутри страны, что вы останетесь твердыми, мужественными и непокоренными до завоевания свободы.

Мы призываем вас.

Не делайте больше того, что необходимо. Чтите наше знамя, наш герб и наше приветствие и употребляйте его.

Чужеземцев называйте «господин» без звания, сохраняя при этом вежливый тон. Не участвуйте в германских празднествах.

Навязанные вам продажу товаров, уплату налогов выполняйте постольку, поскольку вы к ним привлекаетесь.

Не давайте повода к открытым преследованиям, имеется достаточно тайных преследований.

Не верьте тому, что министры чешского протекторатного правительства голосуют за присоединение к Германии. Они вынуждены говорить осторожно, иначе их будут преследовать.

Укрепляйте дух сопротивления анекдотами и песнями, приглашайте в кружки лекторов на темы: «Здоровье, хозяйство и образование». Организуйте бодрые постановки, семейные встречи — все это содействует внутреннему национальному укреплению.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Мы объявили борьбу неисправимому германскому народу, который будет наказан всеми имеющимися человеческими и божескими силами».

Люмир временами бросал взгляды на собеседника. Тот раскинулся в кресле и слушал весьма внимательно.

Как только Новотны кончил читать, посланец Бенеша два раза легонько хлопнул в ладоши, выражая свое удовлетворение.

— Превосходно! Именно то, что нам нужно. Надо только ослабить одно место в начале. Вычеркните слова о помощи «всеми силами». Это может быть неправильно истолковано. Подумают, что у нас имеется общее с коммунистами. А так — все чудесно. Подпишите это воззвание от имени трех групп, которые придерживаются наших взглядов и тактики—«За свободное правительство», «За новые легионы», «За национальное братство». Можете сообщить нашим единомышленникам, что мы обучаем в Лондоне районных гетманов из верных западным идеалам военных людей. По плану доктора Бенеша дело управления республикой должны взять в свои руки специально подготовленные офицеры.

Он сделал паузу и, улыбнувшись, добавил:

— Вы, доктор Новотны, можете рассчитывать на портфель министра юстиции в новом правительстве. Только сделайте все, чтобы рабочие не вооружались. Придет момент — наши люди станут у власти.

Люмир сиял. Он чувствовал себя беспредельно счастливым.

3

Открывая дверь Люмиру, служанка предупредила его:

— Вас ждет какой-то человек.

— Что за посетитель? Так поздно!

— Он ждет давно. Из самого Пльзеня приехал.

— Что же делать, зовите!

Через несколько минут в кабинет адвоката вошел Карел Фучик. В его темных впалых глазах застыло выражение огромного горя. Он назвал себя. Сделав над собой усилие, Люмир пригласил старика сесть.

— Я знаю вас по рассказам матери, пан Фучик. Да и с сыном вашим приходилось встречаться...

Он вопросительно взглянул на Карела:

— Чем могу служить?

Карел Фучик подал ему письмо Юлиуса, написанное в Плёцензее 31 августа сорок третьего года. Пока адвокат пробегал его глазами, старик следил за лицом Новотного. Оно оставалось холодным и бесстрастным.

— М-да! Горе родителям, что и говорить! — тоном сочувствия проговорил Люмир, закончив чтение.— Конечно, трудно возвратить былое, но я в этом же кабинете предупреждал вашего сына, что он играет с огнем. Не послушался. Строптивый он у вас...

«Может быть, не к нему надо было обратиться. Он что-то не так говорит»,— думал Карел Фучик, уже сожалея, что пришел сюда.

— Так вы, насколько я понимаю, хотите написать прошение о помиловании? — спросил Люмир.

— Да.

— Может быть, ваш сын уже подал прошение?

— Юлиус этого не сделает! — нервничал старик.

— Вы так думаете? Перед казнью человек поклонится даже идолу, лишь бы его не повели на эшафот.

— Не знаю, как из вашего круга, пан доктор, но сыны рабочего класса не становятся на колени перед врагом,— произнеся это, Карел Фучик подал письмо, присланное из Берлина на имя его дочери. Новотны прочитал вслух:

«Ваш брат, Юлиус Фучик, 25 августа приговорен первым сенатом народного трибунала к смертной казни. Он категорически отказался подать прошение о помиловании. Считаю своим долгом сообщить вам, что родители могут ходатайствовать о помиловании перед верховным прокурором Фольком или, что еще лучше, написать прошение на имя рейхсканцлера и фюрера.

Адвокат Гофман».

— Так, так,— сказал Люмир и протянул руку за папиросой.— Вы курите?

Старик не ответил. Он сидел, понурив голову, и снова, как всю дорогу из Пльзеня в Прагу, ему мерещился сын таким, каким он его видел пять лет назад. Тогда вся страна переживала последствия мюнхенского сговора империалистов, и Юлиус говорил: «Есть и у нас, отец, свои доморощенные чемберлены и даладье. Они страшнее народу, чем иностранные. Тех предателей мы видим, а свои продолжают маскироваться улыбкою друга. Ничего, придет время — и рабочие разберутся». «Почему я вспомнил эти слова Юлиуса? Передо мной же сидит чех, мать которого находится в концлагере...»

— Я надеюсь, вы, пан доктор, подскажете, что нужно писать?

— Конечно, конечно, пан Фучик. Ваше дело мне близко.— Новотны взял из ящика стола стопку бумаги, вынул из подставки автоматическую ручку.— Так на чье же имя вы решили писать? Мне кажется, адвокат Гофман прав: лучше просить самую высокую инстанцию в Берлине.

— Кого? Гитлера?!..— почти крикнул Карел Фучик.

— Не хотите? Тогда напишем верховному прокурору Фольку,— успокоил Люмир старика.

Адвокат уточнил его адрес, дату рождения Юлиуса и начал писать, вслух произнося каждое слово:

«ПРОСЬБА О ПОМИЛОВАНИИ

от Карела и Марии Фучиковых, проживающих в Пльзене, Беланка, № 4.

Господин верховный прокурор!

По приговору народного трибунала в Берлине от 25 августа 1943 года наш сын, Юлиус Фучик, рождения 23 февраля 1903 года, приговорен к смертной казни.

Как родители присужденного к смерти, мы позволяем себе подать это прошение о помиловании по следующим причинам:

Юлиус Фучик — самый старший из трех наших детей — был всегда послушным как родителям, так и властям. Он уважал все немецкое...»

— Неправда, не пишите так! — перебил Карел Фучик.— Он и властей не слушал и немецкое не все уважал...

Люмир недовольно поморщился и отложил ручку.

— Поймите, дорогой,— с подчеркнутой мягкостью, так, как обращаются иногда к детям, сказал он.— Ваша правда совершенно не нужна прокурору. У Фолька она может только вызвать злобу против Юлиуса и ускорить его гибель. Ну, что значит эта строчка? А вашего сына она может спасти. Вы, думаете, если я писал бы правду о своей матери, так ей вынесли бы мягкий приговор? Я просил, унижался, писал то, чего никогда не было, зато она вместо смертной казни получила всего только пять лет. Так неужели меня можно порицать, если я приписал матери понравившиеся властям добродетели?

Старик, казалось, слушал рассеянно, но ни одно слово от него не ускользнуло.

— Каждый поступает согласно своему разуму и совести. Я знаю вашу матушку и рад, что вы облегчили ей участь. Извините старика, я, может быть, не все понимаю, но прошу вас: вычеркните последние две строчки.

— Что же прикажете писать? — недовольно спросил Люмир.— Может быть, диктовать будете?

— Да. Пишите, что в тысяча девятьсот тринадцатом году наша семья вынуждена была переехать в Пльзень, там были исчерпаны все наши средства, и мы влачили жалкое существование. Первое время мы могли еще кое-как поддерживать сына. Он был очень способный, окончил с отличием реальное училище и

получил аттестат зрелости. После, когда он решил уехать в Прагу изучать философию, мы уже ничем не могли ему помочь. Чтобы учиться в университете, он вынужден был переписывать адреса, работать носильщиком, даже каменщиком. У него было особенное пристрастие к книгам, и он часто голодал, чтобы покупать их. Юлиус делал все, чтобы не прерывать учебы.

Карел Фучик задумался. Что еще писать о Юльче? Как плохо, что он не может изложить на бумаге все то, о чем так хочется сказать.

Пока старик говорил, Люмир с недовольной миной, нехотя записывал.

— Вы пришли ко мне, как к адвокату, пан Фучик,— сказал он, наконец, официально,— и если действительно желаете моего содействия, то прошу вас остановиться на этом описании биографии, иначе прокурор даже не станет дальше читать.

— Что же нужно писать? — растерялся старик.

Новотны стал расспрашивать, что Карел знает о политической деятельности сына в годы оккупации, останавливались ли немцы на квартире у стариков в Пльзене. Скупой рассказ старика он изложил посвоему:

«Политическая деятельность нашего сына была очень незначительной, и после основания протектората он больше не занимался политикой. Он и его жена поддерживали свое существование переводами.

Я позволю себе еще заметить, что осенью 1938 года при занятии нашей местности мы предоставили квартиру в распоряжение немецких офицеров, и они были довольны нашим отношением к ним».

Карел Фучик молчал. «Если я решил просить у фашистов за сына, так это уже само по себе унижение. Люмир Новотны — человек опытный, надо его послушать, может быть, он действительно поможет. Вот как адвокат умело расспрашивает и как складно излагает все на бумаге».

«Я родился в 1876 году в Праге. В пожилые мои годы мне ампутировали ногу до колена, и я вышел на маленькую пенсию в 680 крон в месяц.

Моя жена, рождения 1878 года, перенесла много тяжелых заболеваний и сильно страдает от туберкулеза. Жизнь ее поддерживается только уколами. О тяжелой судьбе нашего сына она не имеет никакого представления.

Наш сын — единственная наша надежда в старости, наша единственная опора.

Эти причины придали мне смелость подать прошение о помиловании и просить об отмене смертного приговора...»

Карел взволновался: «Неужели все? — подумал он, когда Новотны отложил ручку.— Надо еще, еще что-то писать...»

— Хорошо бы еще изложить главную мысль, без которой ни одно прошение не может достигнуть цели,— сказал Люмир.— Я предлагаю сформулировать ее так: «Я, как отец Юлиуса Фучика, уверен, что мой сын, если вы ему сохраните жизнь, оценит ваше великодушие, господин верховный прокурор, оценит великодушие фюрера и рейхсканцлера и будет честно служить германской империи».

— Нет! — старик вскинул седую голову.— Писать так никогда не буду!

— Но вы же спасаете сына! — сердито оборвал адвокат.— Или его жизнь для вас безразлична...

Он не договорил.

— Хочу спасти, ох, как хочу! — уже не говорил, а выкрикивал свою боль старик.— Но этого писать не буду...

На следующий день Карел Фучик снова сидел в кабинете Люмира. Новотны больше не настаивал на предложенной им вчера концовке. Он дал старику подписать прошение.

— Сегодня четвертое,— сказал Карел,— почему вы поставили дату пятого сентября?

— Прошение отошлем завтра авиапочтой. Шестого оно будет у Фолька. Будьте спокойны, пан Фучик. Все будет хорошо.

ПЕСНЯ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

1

Через полчаса после того, как американские самолеты сбросили бомбы на Плёцензее, тюремная охрана

с помощью двух городских полицейских команд и пожарных потушила пожар и начала обход камер. Около сорока заключенных было погребено под развалинами или заживо сгорело. Четырех беглецов пристрелили за внешней стеной. Тяжелораненых сносили в помещение для казни, где их приканчивали палач Рёттгер со своими помощниками.

Уцелевших заключенных, чьи камеры были рядом с разрушенными, водворяли в резервные камеры первого этажа третьего корпуса. К вечеру в одну из них перевели и Юлиуса Фучика.

Измученный пережитым, Юлиус, как только за ним захлопнулась дверь, лег на тюфяк и заснул беспокойным сном.

...Ему снилось, что он стоит на скале, близ киноателье Баррандов, в пригороде зеленой Праги. Внизу бурлит, резвится Влтава, и все выше поднимаются воды реки. «Здесь будет чешский Днепрострой»,— раздается за его спиной голос. Он оборачивается и видит крутые плечи знакомого человека. Широкое волевое лицо озарено улыбкой, глаза чуть-чуть прищурены, и мелкие морщинки веерком собираются в их уголках. Да это же Клемент! — узнает его Юлиус. «Не Днепрострой, а Влтавострой»,— хочет он сказать Клементу, но тот исчез, и на его месте появилась Густина. Она берет его за руку, ведет за собой. Вокруг растут высокие красные маки. Густина скрывается в цветах. Он идет следом, но никак не может догнать ее, снова увидеть ее лицо...

Глухо и учащенно билось сердце Юлиуса, когда он раскрыл глаза. Над его головой был растрескавшийся, с опавшей штукатуркой потолок. «Почему я все еще слышу шаги Густины? Или сон продолжается?..» Он поднялся — шаги затихли. Он снова опустился на тюфяк и снова ясно слышал ритмичные звуки: «Так... так... так...» Юлиус приложил ухо к стене. «Да, похоже на походку Густины. Неужели ее приговорили к смертной казни?» Мозг словно пронзили тысячи раскаленных игл. Он настойчиво начал стучать в стену:

— Кто рядом? Кто?

Ответа не было. «Возможно, не Густина? Может

быть, женщина из Франции, Польши, Германии?» Он выстукивал тот же вопрос по-немецки... Мучительная тишина. «А может, вовсе не было шагов?» И, когда Юлиус почти уверился, что это плод воображения, он снова услышал шаги. Что делать? Как узнать? Обессилев, Юлиус опустился на тюфяк. Шаги доносились еще более отчетливо. Он скатился с тюфяка, отбросил его и увидел между стеной и плинтусом щель, образовавшуюся, очевидно, во время бомбежки. Надзирателям в этот день было не до тщательного осмотра камер, и они не заметили щели у пола. Она была сквозная, суживающаяся в сторону соседней камеры.

Юлиус поднялся и подошел к двери. В коридоре было тихо, усталые надзиратели дремали на постах. Тогда он придвинул столик и табуретку поближе к щели и поставил их так, чтобы сквозь «глазок» не было видно изголовья тюфяка. Потом Юлиус переломил черенок металлической ложки и острием ее стал расширять щель. Он не чувствовал, как острый кирпич резал пальцы: мысли о жене, которая могла быть рядом, заглушали физическую боль.

Юлиус вспомнил, с какой яростью председатель трибунала Фрайслер смотрел на него, когда он произносил на суде последнее слово. Конечно же, Фрайслер мог через гестапо вытребовать Густину из концлагеря в Берлин, осудить ее и заключить сюда в тюрьму, рядом с ним, чтобы самой страшной пыткой отплатить ему за дерзкое поведение.

Юлиусу казалось, что сердце его не выдержит волнения, когда, приблизив губы к самой щели, спросил:

— Кто рядом? Отзовитесь!

Его шепот достиг соседней камеры. Зашуршала солома матраца, послышались звонкие шаги. Теперь не могло быть никакого сомнения: все заключенные мужчины носят тюремные соломенные башмаки, значит, там — женщина. Узница подошла к стене, но голоса не подавала. «Боится, а может, не поняла, ведь я говорил по-чешски». Тяжело дыша, он сказал по-немецки.

— Я чешский коммунист... Юлиус Фучик... Из Праги... Кто вы? Умоляю вас, отвечайте!

И совершенно неожиданно до него долетелн блнзкие его душе русские слова:

— Я комсомолка... Галина Романова... Из Днепропетровска. Поннмаете ли вы по-русски?

Юлиус взволнованно прошептал:

— Понимаю, хорошо понимаю... Заслонитесь столом от двери.

Заключенная бесшумно перенесла столик, тюфяк от протнвоположной стены ближе к Юлиусу.

Русские, советские люди! В последний раз Юлиус виделся с ними 14 марта тридцать девятого года, когда был приглашен с женой в советское посольство в Праге на вечер, посвященный памяти Тараса Шевченко. Он вернулся домой в шесть часов утра и включил радио. Диктор передавал телеграмму президента — предателя Гахи из Берлина: «Чехи, не сопротивляйтесь! Немецкая армия с добрыми намерениями войдет сегодня в нашу страну».

С той ночи, когда началось национальное бедствие народа, до сегодняшнего дня Юлиус не разговарнвал с русскнми.

— Вы знаете о последних событиях? — спросила Романова и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Красная Армня освобождает юг Украины, ведет бои на правом берегу Днепра, у моего родного города...

В соседней камере электрическая лампочка еле освещала русую голову девушки. Широкий разлет бровей над умными глазами, чуть вздернутый нос и круглый энергичный подбородок сочетали в ее лице еще юную мягкость и миловидность с волей и твердостью духа. Жестокне пытки, которым она подвергалась в тюрьме, наложили на нее неизгладимый отпечаток. И не столько красноречивы были кровоподтеки, бороздкн морщин на лице и сорванная на шее кожа, сколько появившаяся за одну ночь прядь седых волос да ставшие суровыми когда-то веселые глаза. Трудно было бы ее матери — Ирине Павловне Романовой, которая жнла надеждой на возвращение дочери, да братьям — Николаю н Федору, шедшим в рядах Красной Армии на запад, узнать свою любимую Галочку. Только за несколько дней после ареста она испытала боль-

ше мучений, чем может пережить иной человек за всю свою жизнь.

От нее требовали, чтобы она сказала, кто ей помогал в лагерях Ораненбурга организовать иностранных рабочих в «Интернациональный союз», кто научил ее руководить саботажем и более года вести подпольную работу.

— Моя Родина! — отвечала Галина.

Девушку спрашивали, кто подсказал связаться в Берлине с немецкими антифашистами и наладить с ними выпуск листовок на нескольких языках, и она отвечала упорно одно и то же:

— Моя Родина...

Двенадцать человек, арестованных вместе с Романовой, знали из руководителей только одну ее, сама же она знала многих активных антифашистов. Она знала вожаков военной организации в лагере для военнопленных, организаторов саботажа на авиационном заводе в Ораненбурге. Она знала тех, кто был вместе с ней насильно оторван от родной земли и продолжал теперь, после ее ареста, руководить борьбой советских людей, увезенных в рабство. Она знала тех, кто распространял свое влияние на чешских, польских, французских рабочих Берлина и Потсдама. Она знала — Курта Штрамберга и его друзей — отважных немецких коммунистов. Но, воспитанная Коммунистической партией, молодой врач комсомолка Галина Романова не назвала никого, не дала врагу ни одной улики.

Больше того, девушка брала на себя вину арестованных с нею товарищей, чтобы спасти их от смерти.

Из одиночек первого корпуса Плёцензее, разрушенного бомбежкой, Романову и других членов «Интернационального союза» перевели в одиночки третьего корпуса.

Когда Юлиус начал стучать в стену, Галина не отзывалась, опасаясь провокации. «Разве не способны гестаповцы посадить рядом своего агента, чтобы хитростью выведать у меня то, что не могут взять пытками!» Но голос Юлиуса подкупил ее своей искренней взволнованностью, и она рассказала ему, как дружит

молодежь разных национальностей в лагерях, как они борются с фашистами.

— Это прекрасно, Галина!.. Я уже слышал о вас от своего друга Курта Штрамберга.

— Вы знаете, Курт здесь,— сказала Галина Романова.

— Нет больше Курта. Убит... бомбой...

Седьмого сентября, около восьми часов вечера, старший надзиратель открыл камеру Юлиуса и громко, так, что услышала и Галина, предупредил:

— Через три минуты — выходить!

Галина знала, что означает вызов в это время. И, как только надзиратель вышел, она опустилась к плинтусу, приникла к щели.

— Дайте вашу руку!

В пространство между полом и стеной протиснулась кисть руки. Галина коснулась губами огрубевших пальцев Юлиуса, и ему показалось, что это прощаются с ним родная мать, Густина, его народ, все близкие и дорогие ему люди.

2

Юлиуса привели в полуподвальный коридор третьего корпуса, в камеру № 7.

На этот раз стража не оставила его одного. Высокий, с отвислой челюстью эсэсовец стал у порога, второй — рыжий надзиратель — уселся на длинной скамье рядом с Юлиусом. Как только послышались шаги в коридоре, рыжий эсэсовец вскочил и заставил Юлиуса стать у окна. Высокий открыл дверь и попятился к заключенному, не спуская глаз с красной мантии и круглой плюшевой шапочки первого прокурора Нёбеля, вошедшего в камеру.

Вслед за прокурором вошел Карпе — чиновник министерства юстиции для наблюдения за казнью. На пороге остановился старший палач Плёцензее Рёттгер. За его спиной видны были квадратные, упитанные рожи двух великанов — помощников. На них были

черные комбинезоны. Сморщенное лицо Рёттгера выражало нетерпение и скуку, он недолюбливал все эти лишние церемонии. Дело его простое: нажать на рычаг гильотины, получить за это сверх жалования из средств самого осужденного 150 марок, половина — ему, половина — подручным. Но ему полагается сопровождать прокурора — ничего не поделаешь.

С нескрываемым озлоблением Нёбель смотрел на Юлиуса. О других обвиняемых прокурор забывал немедленно после суда, а этот своим насмешливым взглядом преследовал его все тринадцать суток. Лишь сегодня утром, когда Нёбель получил резолюцию Фолька, он, наконец, успокоился. Он раскрыл папку из зеленой кожи и про себя прочитал резолюцию:

«После моего устного доклада государственный секретарь доктор Ротенбергер вынес решение: права на помилование к осужденному Юлиусу Фучику не применять и приговор немедленно привести в исполнение.

Берлин, 7 сентября 1943 года.
Верховный имперский прокурор Фольк».

По сторонам стояли навытяжку надзиратели, безмолвные и бесстрастные.

— Согласно распоряжению министра юстиции,— сказал прокурор,— объявляю именем закона: 8 сентября, в четыре часа пятьдесят пять минут, приговор над осужденным Фучиком привести в исполнение!

Нёбелю показалось, что глаза Юлиуса затуманились. «А-а, испугался!» — подумал он не без удовольствия и сделал полуоборот, чтобы выйти из камеры. Юлиус остановил его:

— Вы ускорили казнь, господин прокурор. Обычные сто дней сменились тринадцатью. Не ответите ли вы мне: почему вы так спешите?

В камерах смертников Нёбель не вступал в рассуждения с заключенными. Но в словах Юлиуса ему послышалась просьба, и он не удержался от иронического ответа:

— Имперская канцелярия считает, что и тринадцати часов слишком много для вас.

— Ваша имперская канцелярия боится,— не повышая голоса, сказал Юлиус,— как бы ей через сто дней не пришел конец. Благодарю вас, господин прокурор, вы сообщили мне хорошую новость. Ваша спешка объясняется наступлением русских. Вы встревожены: они могут прийти в Берлин раньше, чем вы успеете уничтожить заключенных Плётцензее.

И, как две недели тому назад на суде, Юлиус вывел прокурора из равновесия:

— Безумец! Через восемь часов вы перестанете разговаривать.

— Это я знаю. За вашими плечами стоят палачи. Они готовы схватить меня. Почему же я спокоен, а на вас лица нет, господин Нёбель?

Тупым, растерянным взглядом палач Рёттгер глядел то на осужденного, то на жирную шею Нёбеля и не мог понять, почему прокурор не прикажет сейчас же тащить заключенного к гильотине. Не сказав ни слова, Нёбель покинул камеру.

По тюремным правилам осужденному после предупреждения о казни разрешалось написать письмо родным, и ему выдавали пять сигарет, которые он мог выкурить тут же в камере. Юлиуса лишили и этих жалких «прав».

Наступила ночь. Стремительно бегут последние минуты. На рассвете — конец. Он больше не увидит солнца, не услышит шума пробуждающегося дня. Жизнь! Какой это бесценный дар, если каждый ее час посвящен труду, творчеству, борьбе во имя торжества правды...

Все мысли, мечты Юлиуса и в эту ночь были устремлены вперед. Он чувствовал себя в строю единомышленников, в строю товарищей и друзей, родных и близких. Они будут продолжать борьбу и бесстрашно смотреть в глаза смерти, ибо утверждают жизнь.

Чуть посинело небо за решеткою окна. Дрогнула тьма на востоке. Оттуда восходит солнце. Оттуда, из страны Советов, идет свет правды, открывая людям глаза, озаряя их разум...

В четыре часа утра задребезжал звонок, проведенный в камеру. Невидимый тюремный диспетчер сигна-

лил надзирателям: «Пора». Они сняли с Юлиуса алюминиевые наручники, рубаху. Высокий надзиратель скрутил ему за спиной руки, заключил их в ржавые железные наручники, накинул на плечи рубаху смертника из пропитанной жиром желтой плотной бумаги. Прошло еще минут сорок, еще раз просигналил звонок, и Юлиуса повели.

Двери нескольких камер в полуподвальном коридоре были открыты, отсюда уже забрали людей на казнь. За другими, закрытыми дверьми, обреченные ждали своей очереди. Каждый из смертников думал о своем, затаенном. И вдруг они услышали призывные слова гимна:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Первым пришел в себя высокий надзиратель. Рукояткой револьвера он стал бить Юлиуса по голове, но это не остановило его, еще сильнее зазвучал голос, сливаясь теперь с голосами смертников, подхвативших суровые и гордые слова:

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Надзиратели, оставленные сторожить внутри камер, набросились на заключенных. Но если в одном месте песня умолкала, то в другом — поднималась с еще большей силой. Юлиус, не сгибаясь под ударами, вышел на центральную площадку корпуса с торжествующей песней на устах.

Его услышала Галина Романова. Она подбежала к двери, и ее сильный, высокий голос понесся ему навстречу:

Это есть наш последний
И решительный бой!

Последнюю строфу Юлиус уже не мог пропеть. Рыжий надзиратель носовым платком забил ему рот. Второй эсэсовец снял с себя широкий ремень и перехватил им нижнюю часть лица Юлиуса, чтобы тот не мог выплюнуть платок. Но надзиратели спохвати-

лись слишком поздно. Звонкий голос Галины Романовой долетел до заключенных. Члены подпольной группы «Интернациональный союз» узнали своего вожака. Они пели гимн Коммунистической партии на русском, чешском, французском и немецком языках. По сигналу старшего надзирателя поднялась вся стража. Тюремщики разбежались по коридорам, раскрывали камеры, избивали узников. Но не было такой силы, которая бы остановила песню, несущуюся из всех камер огромного корпуса.

От дверей, через которые вытащили Юлиуса во двор, до здания № 4 было метров пятьдесят. Надзиратели торопились, а Юлиус напряг все силы, упирался, желая подольше слышать звуки боевого гимна.

Вместе с другими пела Галина Романова. Ее избивали, зажимали ей рот, а она вырывалась, чтобы песней проводить Юлиуса в его последний путь.

Прокурор Нёбель сидел в одноэтажном здании № 4 за столом, поставленным на ступенчатый помост, справа от входных дверей. По обеим сторонам прокурора развалились в креслах начальник тюрьмы Рооде и старший правительственный советник Факано. На подставке возле стола блестело медью распятие Христа.

Нёбель перевернул страницу и прочитал сверху: «Юлиус Фучик». В это мгновение до его слуха долетела песня. Мощная, все нарастающая, она прорвалась через плотно закрытые двери в помещение для казни. Правительственный советник Факано вопросительно и едко взглянул на Рооде. Начальник тюрьмы стремглав выбежал...

Еще минута, и нервная судорога перекосила лицо прокурора. Перед ним, шагах в трех, стоял Фучик.

Каштановые волосы длинными прядями падали на высокий иссеченный лоб, кровь струилась по щекам, по бороде. Тюремщики лишили Юлиуса возможности говорить, но в поднятой голове, в устремленных на Нёбеля глазах, во всей фигуре Юлиуса жила и звучала огненная песня. Прокурор порывисто встал. Тря-

сущимися руками он схватил тонкую палку и, подняв ее, истерически закричал:

— Именем фюрера и рейхсканцлера осужденного Фучика казнить!

Произнося последнее слово, прокурор сломал палку.

Этот зловещий средневековый акт, совершаемый фашистами перед казнью, был рассчитан на то, чтобы ошеломлять осужденных. Но теперь и крик прокурора, и треск сухой палки, и топот подручных палача, кинувшихся на Юлиуса и потащивших его к плахе,— все потонуло в звуках «Интернационала». Когда палач взялся за рычаг гильотины, до Юлиуса все еще доносились слова гимна, зовущего к борьбе и победе...

Алая заря разлилась по небу, как стяг, поднимавшийся над миром.

У СТЫКА ТРЕХ ГРАНИЦ

1

В декабре 1943 года между Чехословацкой республикой и СССР был подписан договор о союзе и дружбе, а еще через пять месяцев — договор о вступлении советских войск на территорию Чехословакии. К этому времени ее восточных рубежей достигли войска Первого Украинского фронта, куда входил и созданный на советской земле Чехословацкий армейский корпус. В сентябре 1944 года советские и чехословацкие соединения начали наступление в Карпатах. Утром 6 октября они заняли перевал Дуклы. Через двенадцать дней войска Четвертого Украинского фронта так же преодолели Карпатский хребет и на фронте протяжением в 275 километров продвинулись на 50 километров в глубь страны. Началось освобождение Чехословацкой республики.

Осенью и зимой танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса, входившего в состав Первого Украинского фронта, двигались вдоль северных

отрогов Карпат, вели бои по освобождению южных областей Польши. Вместе с другими стрелковыми и механизированными соединениями корпус за десять дней и ночей прошел от Вислы до Одера, форсировал Одер и устремился к Нейссе. На ее берегу добровольцы-танкисты получили 23 февраля сорок пятого года приказ: пойти к городу Рацибуж.

Близ Рацибужа сближались границы Чехословакии, Польши и Германии. Крупнейшие промышленные центры трех государств примыкали здесь друг к другу. На этом стыке границ развернулись яростные битвы.

Резко пересеченная местность, железобетонные укрепления, воздвигнутые чехами в тридцатых годах, помогали теперь обороне немецко-фашистских войск. Стоявшие почти рядом, связанные между собой подземными ходами, доты имели гарнизоны по 50 человек, были оснащены пулеметами, орудиями, и гитлеровцы использовали их мощь, чтобы не допустить советские войска к сердцу Чехословакии — к городу угля и металла — Остраве. Все же уральские танкисты, поддержанные авиацией и пехотой, преодолевая сопротивление немцев, обошли Рацибуж, двигаясь все южнее к Остраве. Между этими городами вот-вот должны были сомкнуться войска Первого и Четвертого Украинских фронтов.

31 марта гитлеровское командование бросило в бой последний на этом участке ударный резерв. К населенным пунктам, занятым уральскими добровольцами, подошла танковая дивизия «Охрана фюрера».

2

После бурной, бессонной, грохотавшей без устали ночи липкая дремота охватила гряду холмов, длинную, тянувшуюся с востока на запад деревню и колыхающийся в туманной дымке лес. Лишь мелкая речушка в лощине что-то шептала окраинным домикам да человек возле замаскированного танка гудел низким, с хрипотцой, голосом·

— Не жалей воды! Хлеще! Так так! —командовал башнер Александр Руднов. От его оголенного до пояса, мускулистого, раскрасневшегося тела шел пар. Танкист крякал от удовольствия, расправлял размашистые плечи, крутил налитой короткой шеей, подставляя под струю ледяной воды крупную бритую голову.

— Вот это зарядочка! — сказал он товарищу, когда тот вылил на него второе ведро воды.— Сейчас, Юра, оботрусь и тебя окачу.

Ничего не ответив башнеру, механик-водитель Юрий Белых пошел с ведрами не к речке, а к притаившейся за сараем «Тридцатьчетверке». Привалившись спинами к стене сарая, спали, склонив друг к другу головы, два солдата — радист и заряжающий. Косые солнечные лучи освещали усталые лица с синевой под глазами. Многодневные марши и бои, ночная схватка за деревню до того измотали людей, что, казалось, ничто не может разбудить их. Но стоило Юрию Белых чуть загреметь поблизости ведрами, как оба враз вскочили.

— Атака?! — вырвалось у веснушчатого радиста.

— Пока тихо. Успевайте подремать,— успокоил товарищей подошедший Александр Руднов.

Солдаты присели, один шлем ткнулся о другой, и опять раздалось похрапывание.

— И ты, Юра, поспал бы малость. Присоединяйся к доброй компании,— участливо сказал Руднов, глядя на худого, чуть скуластого механика, чьи глубокие светлые глаза смотрели невидящим взглядом куда-то вдаль. Хотя было по-весеннему тепло, угловатые плечи Белых поеживались будто от холода.

— Мне не уснуть, Александр Иванович.

— Вижу, тебя что-то тяготит. Поделиться надо, нехорошо от товарищей душу прятать.

— Не прячусь я...— Белых распахнул комбинезон, вынул из кармана гимнастерки письмо; брякнули висевшие над клапаном кармана медали.— Читайте!

Начальник политотдела танковой бригады сообщал Юрию Белых, что в одном из последних боев его брат Михаил — инструктор политического отдела — поднял

в атаку бойцов мотострелкового батальона, первым ворвался в дот и был убит. «Вся бригада,— читал Руднов,— мстит врагам за вашего брата. Его жене и матери вашей я сегодня послал письма. Думаю, что вы сыновним словом облегчите горе матери».

Руднов знал, как Юрий любил старшего брата. «Надо заставить его разговориться. Выскажет наболевшее — легче станет».

— Ты как-то говорил, что и Михаил ушел в корпус с Уралмаша. Кем он работал?

— Конструктором.

— Вместе, значит, решили добровольцами пойти.

— Наоборот, я от него скрыл, а он от меня... Две тысячи заявлений подали уралмашевцы, из них отобрали всего двести человек.

...Когда в феврале сорок третьего года была удовлетворена просьба трудящихся Урала о создании добровольческого танкового корпуса, от уральцев за несколько дней поступило сто тысяч заявлений. Отбором добровольцев занимались специальные комиссии при партийных комитетах предприятий и районов. Михаил Белых был членом такой комиссии на Уралмашзаводе.

— Я шел в партком с надеждой, что Михаил меня поддержит,— разговорился, наконец, Юрий,— а он глаза от меня прятал, молчал, когда другие советовали мне, как хорошему сборщику, оставаться на заводе. Тут я им припомнил свою биографию, отца и мать, которые добровольно пошли против Колчака. Добавил я еще, что хотя в армии не пришлось служить, но танк изучил и водить могу, где угодно. Когда мне сказали: «Вы зачислены»,— я вылетел из парткома, как пуля. Думал про себя: «Мать остается с братом, не так убиваться будет по мне». Вечером иду с работы домой, встречаю Михаила, говорю: «Чего ты меня не поздравляешь?» — А он в ответ: «Не прыгай, я старше, прежде ты меня поздравь». Оказалось, он в тот же день через областной комитет партии добился, чтобы его направили на политическую работу в корпус. Тяжело было сказать матери об этом. Сердце ее разрывалось, но она не пыталась отговаривать нас. А вот жена Михаи-

ла очень плакала — молодая да сын годовалый. Все сажала сына на руки мужу, словно спрашивала: «Что с мальчиком будет, если ты не вернешься?»

Руднов подошел к танку, снял с него полевую сумку, вынул блокнот, карандаш и протянул Белых:

— Напиши матери, утешь, обласкай за себя и за брата. И тебе легче будет.

Из глубины деревни донесся до окраины густой аппетитный запах горячих солдатских щей. Руднов разбудил заряжающего, послал его за завтраком. Радист-пулеметчик тоже встал, умылся и стал допытываться у Руднова:

— Правда, Александр Иванович, что немцы подтянули свежую дивизию «Охрана фюрера»?

— Правда.

— Огрызаться крепенько будут.

— Ну и что ж,— забасил Руднов,— огрызаться будут — заведем дипломатические переговоры: ты пулеметом строчку, я пушкой точку, а если окажется помарка, то Юра гусеницами подчистит.

Только успели танкисты выхлебать два котелка щей, как из леса, находящегося в двух километрах южнее деревни, долетел приглушенный расстоянием гул моторов. Возле танка появился командир роты старший лейтенант Зарубин. Высокий, статный, с тонкими чертами лица и нежной, не поддающейся загару кожей, он разговаривал с подчиненными таким тихим обыденным голосом, словно не вражеские танки приближались, а шло занятие на мирном, далеком от войны учебном поле. Он велел занять новую позицию, подготовиться к отражению атаки. Белых передвинул машину в узкий промежуток между двумя домами и, оставив рычаги, выскользнул из люка. Руднов пытался обнаружить в прицеле спускавшиеся в лощину немецкие танки, но безуспешно. Зарубин, прилегший с биноклем впереди, за бугром, крикнул:

— Командовать буду голосом. Передайте по рации приказ командирам танков: открывать огонь, когда немцы спустятся в лощину.

Не стреляли «Тигры» и «Пантеры», молчали замаскированные, скрытые домами и сараями «Тридцать-

четверки». Лишь мощный рокот моторов нависал над спуском, стекал в лощину, стлался по притихшей деревне. Потом в ровный гул вплелись противное шипение летящих мин, квакающие звуки их разрывов.

— Ослы заревели! — заметил Белых, притаившийся за спиной офицера.

— Почему вы здесь? — не оборачиваясь и не спуская взора с вражеских танков, сердито спросил Зарубин.— В машину!

— А вы, товарищ гвардии старший лейтенант? — Присущее Белых чувство беспокойства, ответственности за жизнь товарищей обострилось после смерти брата. Он не мог оставаться в безопасности, когда рисковал командир.— Я сумею корректировать огонь, вам лучше быть в танке.

— Мое место не вам указывать. Выполняйте приказание!

Переползая отделявшие его от танка несколько метров, Белых вспомнил первую встречу с Зарубиным. Добровольцы пожимали тогда плечами. Они думали, что командиром машины поставят бывалого фронтовика, а к ним прислали двадцатидвухлетнего лейтенанта, только что окончившего танковое училище. Не только тридцатилетнему Руднову,— и более молодым добровольцам это казалось ненормальным. Но уже в сражениях за освобождение Орла Зарубин показал себя одним из самых храбрых и умелых офицеров. Его любили и солдаты и старшие командиры.

— Что там происходит, Юра? — спросил Руднов, заметив влезающего в лобовой люк механика-водителя.

— Фосфорными обстреливают, проклятые!..— выругался Белых.

С опушки леса, откуда недавно вышли немецкие танки, минометы обрушили на деревню град термитных и фосфорных мин. Над постройками показался густой серый с фиолетовыми ручейками дым. Огонь потянулся ввысь.

Грузный, неуклюжий немецкий танк медленно сполз к узенькой речушке, уперся тупым лбом в ствол старой ивы, надавил многотонной тушей. Треснул, над-

ломился ствол, охнул на всю окрестность. Будто вздохнуло дерево листвой, и захрустели ветви, подмятые гусеницами.

Другая машина приблизилась к речке у более крутого спуска. Длинный ствол орудия наклонялся, тянулся к воде, словно жаждал напиться. «Не стреляют, нервы испытывают»,— подумал Зарубин. Какие-нибудь триста метров отделяли его от вражеских танков.

Заряжающий давно загнал в ствол орудия бронебойный снаряд, а Руднов из-за малого участка, который был в его поле зрения, все еще не мог поймать в прицеле приближающуюся машину. Непонятно было, почему Зарубин молчит. «Не задело ли его осколком мины?» — волновался Руднов. Он уже хотел послать радиста посмотреть, что с командиром роты, когда послышалась команда Зарубина открыть огонь.

Три немецкие машины, первыми перебравшиеся через речку, повернули вправо и двинулись по направлению к позициям, занятым ночью уральцами. «Просчитались, не заметили маневра»,— обрадовался Зарубин. Опустив ствол пушки, Руднов увидел дуло вражеского орудия. Прошла секунда, в прицеле вырисовались башня и борт. Руднов нажал электроспуск.

Вслед за командирской машиной открыли огонь остальные танки роты. Немцы спохватились, стали разворачивать орудия влево, но было поздно. Первый снаряд, пущенный Рудновым, попал в гусеницу «Тигра», он завертелся на одном месте, ведя беспорядочную стрельбу. Второй бронебойный угодил в борт. Над «Тигром» показалось ржавое пламя. От снаряда соседнего экипажа запылала «Пантера».

Атака была отбита без потерь роты в людях и машинах. Уцелевшие немецкие танки помчались обратно к лесу. Минометы замолчали, словно их перепугали свои же стальные беглецы.

До вечера длинного весеннего дня немецкие танки пять раз атаковали уральцев. Выбить их из деревни врагу не удавалось, но потери у Зарубина росли с каждой атакой. Две машины сгорели, три были подбиты. Зарубин превратил их в неподвижные огневые точки.

Стремясь до наступления темноты вернуть деревню, немцы бросили на остатки роты десять танков. Прикованные к одному месту, лишенные возможности маневрировать, три советские машины были подожжены, большинство членов их экипажей погибло, а пятеро тяжело ранено. Зарубин приказал оставшимся из десанта автоматчикам пробиться с ранеными к штабу батальона, передать, что немцы хотят зайти в тыл второй роте и что он, Зарубин, попытается последним своим танком отвлечь противника на западную окраину.

Зарубин выбрал западную окраину не случайно. К ней почти вплотную подходила нейтральная роща, возле опушки тянулась низина со скрытым выходом на север. Зарубин не ошибся. Немцы послали за ним погоню. «Дальше завлечь, не дать вернуться, тогда комбату легче будет отбить перекресток». Выполняя приказ Зарубина, Белых гнал машину извилистой змейкой, неожиданными поворотами спасая экипаж от летящих вслед снарядов. Лицо Белых запеклось от крови, осколок пробил ему щеку, а он не чувствовал боли и зло отмахивался от радиста, который хотел его заменить за рычагами.

Остановив танк за обугленной стеной полусгоревшего сруба, Белых выключил мотор. Заряжающий доложил командиру, что осталось всего два бронебойных снаряда. Зарубин подпустил догоняющую «Пантеру» почти вплотную и, когда их разделяло двадцать метров, поджег ее предпоследним снарядом. Больше преследователей не видно было. Белых спустил «Тридцатьчетверку» в низину, ближе к опушке рощи. Радист стал перевязывать его. Зарубин, Руднов и заряжающий натягивали ослабленную гусеницу.

— Что-то слишком тихо стало,— сказал Руднов.

— Не нравится мне тишина,— отозвался Зарубин.

Предельная усталость пригибала танкистов к земле. В ушах все еще гудело от шума моторов и снарядных разрывов. Танкисты не слышали, как с двух сторон — от деревни и с севера, по низине,— подползали к ним вражеские автоматчики, не видели, как в полсотне метров от них вскочил полувзвод эсэсовцев.

Первым заметил эсэсовцев заряжающий.

— Немцы! — крикнул он, вскочив на броню, чтобы взять в танке гранаты, но пуля настигла его, и он упал на руки Руднова.

Вместе с Зарубиным Руднов потащил раненого к люку механика-водителя. Белых высунулся из машины, готовый подхватить товарища, но рой пуль зазвенел о броню, заставил танкистов прижаться к земле. Эсэсовцы уже были совсем близко от танка, когда в спину одной группе и наперерез другой застрочили автоматы из рощи. Двое эсэсовцев замертво распластались в низине. Верзила, бежавший первым, истошно заорал страшное для немецких солдат слово «Kessel», и эсэсовцы кинулись назад, преследуемые автоматным огнем с опушки рощи.

Зарубин сделал несколько шагов в сторону рощи, ожидая оттуда появления бойцов мотострелкового батальона, которые, как он был уверен, выручили танкистов в этот опасный момент. Каково же было его удивление, когда он увидел троих гражданских. Впереди бежал рослый парень, без головного убора, в изорванном пиджаке и с поднятым вверх автоматом. Расцарапанное заросшее лицо его сияло.

Это был Милош Новотны.

СЫНОВЬЯ БОЖЕНЫ НОВОТНОВОЙ

1

Из Праги Милош уехал внезапно.

Со времени ареста Юлиуса Фучика он был связным Пексы, привык к его неожиданным вызовам, командировкам в самые разнообразные места к подпольщикам. В последний раз он встретился с Пексой в дачном домике на окраине Праги. Только Милош поднялся по крутой лесенке в пустующую мансарду и закрыл за собой дверь, как услышал:

— Сегодня ночью ты поедешь в Остраву.

Набрякшие веки Пексы еле раскрывались. Глаза были воспалены, лицо еще больше вытянулось, припухло и пожелтело. Минул год, как Пекса оставил

управление чешско-моравскими заводами, изменил имя, документы, не появлялся даже на свою квартиру к жене и детям. Так же, как и Фучик до ареста, Пекса не знал утром, где будет обедать, сумеет ли переночевать на прежнем месте. Он много разъезжал по стране, оказывал помощь местным организациям партии и запутывал ищеек гестапо. Иногда казалось — нет больше средств перехитрить растущую стаю шпиков и армию полицейских, за шесть лет переворошивших чуть ли не все дома Праги и Злиня, Остравы и Пльзеня, Братиславы и Брно. Наместник Гитлера в Чехии и Моравии бесноватый Франк выезжал в промышленные центры, лично инструктировал гестаповцев и полицейских. Но стоило гестапо уничтожить ядро организации на одном заводе, как на двух других возникали новые ячейки, и узы партии с народом не порывались. Когда после двух лет героической борьбы был арестован почти весь состав третьего подпольного ЦК Коммунистической партии, Пекса с ближайшими друзьями создал в декабре 1944 года четвертый подпольный Центральный Комитет. В январе в Злине состоялся съезд представителей всех подпольных организаций. Коммунистическая партия звала народ спасти Чехословакию от разорения нацистами и не допустить, чтобы страна служила оккупантам последним защитным рубежом.

Услышав от Пексы о поездке в Остраву, Милош не мог скрыть, до чего он доволен и вместе с тем озабочен.

— Я? На самом деле?! А с газетой?

Чтобы спровоцировать активистов партии и обмануть население, гестапо стало издавать фальшивые подпольные газеты. Некоторые подпольщики, беря газеты у незнакомых людей, попадали в ловушку, и Центральный Комитет принял меры. В созданной еще Фучиком типографии старый наборщик Антонин Щетка вместе с Милошем, а иногда и Пексой, обозначали каждый экземпляр «Руде право» учетным номером. Как только экземпляр прочитывался, он подлежал возврату через тех же лиц, от которых был получен; членам партии запрещалось принимать газеты от не-

знакомых; по заводам «Руде право» распространяли опытные подпольщики. К ним Пекса относил и Милоша Новотного.

— Скажи, кто из молодых колбенцев сумеет доставлять газеты.

— Пожалуй, сможет...— Милош поперхнулся, густо покраснел.— Нет, не сможет...

То, что он вздумал утаить имя человека, которому он больше всего доверял, угнетало Милоша.

— Вонасек Власта?

— Угу! — Краска смущения залила даже лоб юноши.

Прищурились под пенсне серые воспаленные глаза Пексы.

— Боишься?

— Не могу за нее решать... Поговорить надо,— оправдывался Милош, понимая, что Пекса догадался о его слабости.

— Поговори, конечно. Согласна будет,— Копта мне скажет. А сейчас слушай, зачем посылаем.

Пекса взял Милоша под руку, зашагал с ним по комнатке и, хотя в мансарде дачного дома никого, кроме них, не могло быть, говорил неторопливым шепотом:

— Вчера Франк направил в Остраву приказ: как только части Красной Армии перейдут линию оборонительных укреплений южнее Рацибужа, взорвать шахты и цеха металлургического комбината. Коммунисты обязаны быть начеку, поднять всех рабочих, не дать уничтожить предприятия. Второе, пусть Франтишек Вонасек организует несколько боевых групп и пошлет их навстречу Красной Армии. Группы эти должны обезоружить немцев в отдельных дотах, прорваться к русским, показать им безопасные проходы через линию укреплений. Скажи Вонасеку: ЦК уверен, что Остравская партийная организация выполнит обе задачи.

— Передам, слово в слово,— заверил Милош, лишь теперь в полной мере представив себе, какое дело доверено ему.— А мне можно будет потом войти в боевую группу? Разрешите, соудруг?

— Сперва доберись до Остравы, до Вонасека. Ему и скажешь, что я не возражаю. Тебе действительно опасно возвращаться в Прагу, отлучка с завода вызовет подозрения. А там...

Пекса многозначительно показал куда-то вдаль, и по выражению его изможденного лица, по мечтательной нотке в глухом голосе Милош понял, как бы хотелось Пексе быть на его месте, пробиться к русским друзьям, повоевать вместе с ними хотя бы в заключительный этап войны.

Всего полчаса был Милош в дачном домике, а ехал обратно другим человеком. Сознание, что Пекса поручил ему чрезвычайной важности задание, что от его изворотливости, ума, смелости зависит жизнь многих людей, в какой-то мере даже судьба крупнейшего промышленного района страны, наполнило Милоша чувством величайшей ответственности. Милош почти физически ощущал ее весомость, но и силы прибавились, и уверенности стало больше.

— Чайки прилетели, весну принесли,— раздался на задней скамейке трамвая женский голос.

Пассажиры стали смотреть на Влтаву, показавшуюся под склоном холма, и Милош подался к окну.

На перилах моста, над беспокойной широкой рекой серебрились снежинками тысячи птиц. Отблески пламенеющего закатного солнца дробились на рябистой поверхности воды, распадались множеством осколков. Согретая весенним днем, Прага была ласково-задумчивой, грустной и напомнила Милошу, что он должен в этот вечер проститься с Властой. «Сказать ей, или лучше, чтобы не знала? Может, не возвращусь, зачем мучить девушку... Да откуда я взял, что она меня любит, просто привыкла. Не вернусь — забудет... Не скажу. Не время. Так лучше».

Появление Милоша насторожило Власту. На заводе он предупредил ее, что весь вечер будет занят и только в воскресенье они сумеют побыть вместе. А тут пришел, говорит о каких-то билетах в кино, а на нее не смотрит. «К чему бы это?» Перехватив удивленный взгляд девушки, Милош извинился:

— Наверно, я нарушил ваш отдых.

— Нет, что вы! — поспешила Альбина ответить за дочь.— По хозяйству мы с ней управились. Идите, погуляйте, вечер хороший!

Власта не заставила себя ждать.

Они шли по полевой дорожке к трамвайному кольцу. От бугристой, темной, распаханной земли тянуло влажным теплом. Власта смеялась над потешными грачами, а Милош был молчалив и задумчив.

— Милоше, побежим, запоздаем в кино.

— Простите, Власта, но мне пришлось сказать неправду: никаких билетов у меня нет.

— Что случилось?

— Ничего особенного, мне только необходимо поговорить с вами.

Вблизи замигали огоньки домиков, примыкавших к трамвайному кольцу. Милош остановился.

— Вы сможете заменить меня в одном не совсем безопасном деле?

— Если вы доверите, то почему я должна бояться? — с обидой спросила девушка.— Скажите, что я должна делать?

— Заменить меня на доставке «Руде право». Когда и где, скажет Ярослав Копта.

— Хорошо... А вы?

— Уезжаю сегодня ночью.

Губы девушки дрогнули, в глазах мелькнули растерянность, сожаление. Она помедлила, потом стеснительно проговорила:

— Я буду тревожиться о вас, Милоше...

Ее голос был тих и нежен.

2

Оказавшись дома, в своей комнатке, Милош стал собираться в дорогу. В маленький чемодан он взял пару белья да мелочь, которая на случай обыска создавала бы впечатление, будто юноша действительно едет в командировку от завода, как подтверждали выданные ему Пексой документы. Весь под впечатлением прощания с Властой, Милош остановился у портрета

матери. Она смотрела на него одобряющим взглядом: «Она хорошая, очень... Преданная, любящая, такая...» — шептал он, и мать понимающе глядела на него с портрета и словно отвечала: «Я рада, мой мальчик, рада».

Он привык ежедневно перед сном смотреть на портрет, будто советуясь с матерью, и ему захотелось взять с собой ее снимок. Он порылся в альбоме — на одних карточках она была снята с ним, на других с Люмиром или всей семьей. «У Люмира есть фотография, там мама одна. Отнесу портрет, возьму фото».

Во флигеле Люмира был выключен свет, и дверь оказалась на замке: «Значит, нет ни его, ни служанки. Тем лучше». Открыть окно и залезть в кабинет было для Милоша делом несложным и привычным — ребенком он не раз забирался к брату таким образом. Включив свет, он увидел в углу, на столике, рамочку. Милош вынул из нее фото, поставил на том же столике большой портрет и, решив, что лучше ничего не писать Люмиру, поторопился уйти.

А Люмир, между тем, не спешил в этот вечер домой. Еще днем он отпустил служанку к ее родным, а сам ужинал с актрисой эстрады в самом модном и роскошном пражском баре «Боккаччо».

Знакомый обер-кельнер предоставил Люмиру отдельную ложу, с мягкими, зеленого плюша креслами, цвета морской волны шторами, отделяющими ложу от зала. Люмир любовался броской красотой актрисы, ее изысканным бархатным платьем, наслаждался вином и музыкой.

Щедро и мягко падали с плафона лучи скрытых от глаз разноцветных электрических ламп. Свет в граненом хрустале бокалов, в серебряной посуде преломлялся, переливался всеми цветами радуги. Щекотали обоняние тончайшие ароматы женских духов, дорогих блюд, витали в воздухе нежные звуки скрипки.

Актриса приподняла штору. На овальном возвышении стоял большой, толстый человек. Казалось, он занимает даже больше места, чем рояль. В первый

момент трудно было заметить скрипку, такой миниатюрной, игрушечной была она в руках лысого великана. Его белые пухлые пальцы были словно частью скрипки, которая выводила легкую и плавную мелодию:

Parle moi d'amour...

«Говори мне о любви»,— тихо подпевала то на французском, то на чешском языке актриса, заалевшей щекой касаясь плеча Люмира. Он посмотрел в зал и возмутился: на его ложу нагло глядели немецкие офицеры, занявшие столик на самом почетном месте, напротив эстрады, глядели и смеялись — смеялись над ним и его спутницей. Люмир рывком закрыл штору:

— Пойдемте отсюда, пойдемте!

— Не хочу, мне хорошо, милый!— болтала опьяневшая женщина.— И завтра сюда придем, мне здесь очень нравится, и ты мне приятен.

Она ласкалась к Люмиру, глядела на него то нежно, то жадно. Ему с трудом удалось надеть на нее пальто и черным ходом вывести на улицу.

С недалекой Влтавы долетел до подъезда бара холодный ветерок, а актриса ни за что не хотела ехать в машине. Люмиру пришлось провожать ее пешком, через реку и вверх, по улицам, ведущим к пражскому Граду. На крутом, извилистом спуске Хотькова их нагнал открытый зеленый автомобиль, переполненный орущими на всю улицу немецкими офицерами. Пронзительная сирена сигналила частыми короткими пьяными вскриками. Машина петляла и, приблизившись к Люмиру и его спутнице, так резко свернула на них, что заставила прижаться к камням, впрессованным в подножие холма. Всем телом Люмир ощутил холод камня. Машина с хохотавшими немцами промчалась вниз, и он мог поклясться, что это те же немцы, которые смеялись над ним в баре «Боккаччо». «Случайность? Или...— доискивался Люмир причины второго появления офицеров.— Знают ли они меня? Зачем свернули прямо на нас?» Он проводил актрису до ее квартиры, возвращался домой, а странное столкновение все еще тревожило его.

Дома он успокоился. Открыв ключом внутренний замок и войдя в кабинет, Люмир в первый момент не обратил внимания на то, что горел свет. Он подошел к зеркалу, повертелся перед ним, ухмыльнулся своему подвыпившему, не совсем твердо стоявшему на ногах двойнику, остался доволен ладно сшитым костюмом, галстуком с горошками, который так шел к его полному круглому розоватому лицу. Заглядевшись на разноцветные переливы отражавшейся в зеркале люстры, Люмир вдруг сообразил, что служанка не могла включить свет, так как он ушел позднее. «Кто был в мое отсутствие и передвинул стулья? — подумал он, боязливо оглядываясь...— Кто тронул столик там, в углу, и поставил большой портрет вместо маленькой фотографии?». Люмиру вдруг померещилось, что это могли сделать те самые немцы, которые смеялись над ним в баре и с издевкой прижали его своей зеленой машиной к стене на спуске Хотькова. «Им нужна улика, чтобы арестовать меня... Они приехали, когда меня не было, перенесли из комнаты Милоша портрет... Скажут: я знал, для кого мать печатала бланки паспортов, иначе не вставил бы ее в золотую рамку...» Он поднял рамку с портретом, подержал, подумал, опять поставил на столик и, подойдя к окну, раскрыл створки, стал жадно, взахлеб, дышать.

Несколько минут он постоял так, и к нему стало возвращаться трезвое, уравновешенное состояние. «Какая, однако, чепуха пришла в голову. Но кто же все-таки включил свет?» Неожиданно в тишину ночи ворвался шум автомобиля. Шум нарастал, машина шла в сторону дома. Послышались сирены автомобиля. «Они! — ударило в сердце.— Приехали за мной!..» Люмир шарахнулся от окна в угол. Губы искривил страх, кончики пальцев охватил зуд. «Мать!.. Улика!..» Он вцепился в раму, вырвал из нее портрет, дико зашарил глазами по кабинету. «Спички...» Люмир просыпал их на пол, нагнулся, стал чиркать спички, ломая и отбрасывая. «Нет, зажигалку!»

Лихорадочно водил он огнем зажигалки по нижней кромке фотографии, держа ее тыловой стороной к себе, чтобы не видеть материнского лица. Все же

ему пришлось увидеть его. Глянцевая фотобумага, загораясь, отклеивалась от картона, горела быстрее и большим полукружием стала завертываться к лицу Люмира. Какое-то мгновение — длинное, как вечность, мгновение — на него глядели глаза матери...

СЛАВЯНСКАЯ ТАРАНТЕЛЛА

1

Третий день чехи были вместе с русскими бойцами. Двоих из боевой группы коммунистов Остравы зачислили в разведывательный батальон стрелкового соединения, прибывшего сменить на этом участке фронта Уральский танковый корпус. Милош Новотны не хотел покинуть роту Зарубина. Уже несколько раз он рассказывал танкистам, как боевая группа прорвалась через линию железобетонных укреплений, как в схватке с немцами погибло двенадцать чехов, а гвардейцы все расспрашивали его о переходе из Остравы, о положении в Праге, интересовались подпольным революционным движением и обычаями чехословацкого народа. Любознательные, гостеприимные уральцы наперебой приглашали Милоша в домики небольшого городка, где они остановились на кратковременный отдых. Его одели в новые кирзовые сапоги, добротный синий комбинезон и шлем, дали широкий ремень и нож из златоустовской стали в черных ножнах. К шлему Милош прикрепил подаренную старшим лейтенантом Зарубиным пятиконечную красную звездочку.

Больше всего Милош был с экипажем командирского танка. Зарубину и его друзьям по душе пришелся чех, первый повстречавшийся им возле границы.

На рассвете третьего дня Милош поднялся вместе с Юрием Белых. Тот познакомил его с механизмами танка, показал, как надо завести двигатель, плавно трогать с места и разрешил провести машину несколько метров по ровному, покрытому камнем двору. Танк плохо слушался новичка, двигался рывками, и Милош умудрился на пятом метре стукнуться губой о рычаг.

— Познакомились?! — пошутил Белых.

— Добра пуса, полибек,— Милош искал русского слова и, не найдя его, неуклюже коснулся губами впалой щели танкиста.

— Ты хотел сказать, что расцеловался с рычагом?

— Ано — да. Добра пуса — хорьош поцелюй.

И оба рассмеялись.

Белых и Милош вышли из машины. К ним приближался Александр Руднов. Он успел побывать в редакции корпусной газеты и размахивал свежим номером «Добровольца». В другой руке у него были две банки и кисть.

— Краски раздобыл, Юра! Пиши!

Белых раскрыл банки с краской, поднялся на крыло машины и стал выводить букву за буквой на боку башни:

«ЗА МИХАИЛА БЕЛЫХ!»

— Кто Михаиль? — спросил Милош у Руднова, когда они прошли в другой конец двора, где группа танкистов собралась почитать вслух газету.

— Его брат,— показал Руднов на Белых.— Недавно погиб в бою. Очень хороший командир был, офицер, понимаешь? Наш экипаж решил написать имя героя на танке.

Юрий обводил белые буквы алой краской. Он был сосредоточен, весь ушел в себя, видно было, что он не слышит громких реплик танкистов.

С таким же интересом, как танкисты, Милош слушал чтение статей о восстановленных селах, о выпуске сверхплановых машин и колхозном севе. Встречались отдельные непонятные слова, но смысл был ясен Милошу, и он не мог удержаться от возгласа:

— Кра́сне жи́вот!

Чтение прекратилось. Головы танкистов повернулись к Милошу.

— Что-что?

— Вот сказанул, брат славянин!

— Живот, да еще красный... Ха-ха-ха!

Смех был беззлобный, приятельский, и Милош рассмеялся вместе со всеми.

— Красне — прелестьня, живот — жизнь, — вслух

вспомннл Мнлош выученные русскне слова, а уральскне парин дружески хлопалн его по спнне н плечам.

— Давай, дружище чех, к нам в танкнсты! — предложнл однн.

— К твоему счастью, генерал приехал,— сказал другой н вызвался переговорнть с адъютантом генерала о приеме.

Александр Руднов стал наставлять Милоша, как говорнть с комаиднром корпуса, чтобы тот согласился:

— Скажн просто: я сталевар, огня не боюсь, и танк мне нравнтся. Экнпаж Зарубина обещает нз меня заряжающего сделать.

2

В светлой, на четыре окиа, простороной комнате за длинным столом завтракали генерал, трн полковника н майор. Плотного, круглого, румяного полковника — командира бригады Милош уже вндел, он безуспешио вместе с Зарубиным проснл полковннка о зачнсленнн в экипаж. Остальные командиры показалнсь Мнлошу очеиь схожимн друг с другом: у всех плечи шнрокие, погоны золотые, а в просветах и количестве звезд он еще ие мог разобраться. Кто из них командир корпуса? Адъютант только что во дворе говорнл Мнлошу, что командир корпуса самый строгнй, а тут он нн у кого не замечал строгого выражения. Все былн благодушны, все аппетитно елн мясо с поджаренным картофелем н громко беседовалн. Еще адъютант сказал, что генерал самый рослый нз собравшнхся, но разве определишь с первого взгляда рост у сндящих?.. Милош забыл, как ему советовалн представиться и, посмешному вытянувшись, произнес, глядя на всех:

— На здар, туварншн генерал!

— На здар, соудруг Новотны! — ответил человек. с крупным нависающнм лбом, седымн внскамн н тонкими чертамн раскрасневшегося лнца.— По-русски, видать, говорить не умеет,— объяснnл он сндящнм за столом.— «На здар» — по-чешски может означать и «Здравствуйте», н «На здоровье», н даже «Да здравствует!» Хорошее прнветствне, правда?

Милошу обидно было, что он растерялся, трех русских слов не смог сказать, но то, что ему здесь ответили по-чешски и даже назвали по фамилии, было приятной неожиданностью, и он по-мальчишески похвалился.

— Я говорью... Пльохо говорью, но понимаю.

— Это совсем хорошо. Садись с нами, поешь. Не смущайся, все мы солдатами были,— генерал показал на стул рядом со своим и зычно позвал с кухни ординарца:

— Вася! Еще прибор!

У генерала было в этот день на редкость добродушное настроение. Командующий армией звонил ему ночью, сообщил, что штаб немецкой дивизии «Охрана фюрера», разгромленной Уральским корпусом, бежал на самолетах. Да и выспался генерал по-настоящему после непрестанных трехмесячных боев, начавшихся январским наступлением с Сандомирского плацдарма.

Появление Милоша, его характерный для чехов мягкий говор напомнили генералу годы его пребывания в Чехословакии, и ему захотелось поделиться со своими соратниками.

— Служил я, как вы знаете, некоторое время в советском военном представительстве в Праге. Изредка, на вечерах у нашего посла, приходилось встречаться с чешскими друзьями.

— Винограды... Вилла «Тереза»! — не удержался Милош, желая показать, что он знает, в каком районе Праги и даже в каком доме помещалось советское посольство.

— Да, да,— с ноткой недовольства, что его перебили, подтвердил генерал.— Твое дело сейчас, соудруг Новотны, хорошо поесть и слушать... Так вот,— генерал опять обратился к офицерам,— раза два виделся я там с любопытнейшим человеком,— большим жизнелюбом и весельчаком. Это было в марте тридцать девятого года. Гитлер уже приготовился совершить свой коварный прыжок на Прагу, а этот человек не переставал шутить и еще больше верил в силы своего народа. Стал он меня расспрашивать на вече-

ре у посла, как я с военной точки зрения оцеиваю гитлеровскую армию и положеиие в Европе, а сам в каждое слово, точио так же, как этот гость иаш, вставляет по два мягких зиака. Заметил я ему, что такой грамматики у нас иет, а ои смеется. Западные и южиые славяие, сказал ои мие, давио иамеревались смягчить русский климат и характеры русских братьев. Когда же убедились, что климат ие изменишь, а русский характер и без убавок и добавок хорош, то порешили ограиичиться лишней парой мягких зиаков чуть ли ие в каждом русском слове. Так объяснял ои мне и добавил иапоследок: уж простите иас, пужальста...

Должио быть, тот чех так же забавио и добродушио произнес тогда последиие слова, как сейчас произиес их геиерал.

— Юлиус Фучик?!

От удивлеиия геиерал привстал, смех офицеров прервался.

— Откуда ты зиаешь, с кем я говорил?

— Фучик сказаль: посольство, юбилейии дэи Тараса Шевчеиько...

— Точно. Это было четыриадцатого марта. На рассвете пятиадцатого иемцы перешли граиицу Чехословакии... Так ты зиаешь Юлиуса Фучика?

— Зиаль, тувариш геиерал. Фучик руководиль подземни, конспирачии Цеитральии Комитет коммýнистицка стрáна. Гестапо уловили... Гильотииа, Берлии.

Милош вспомиил, как Пекса рассказывал коммуиистам Колбеики о смерти Фучика, и опять, как тогда, сжались руки в кулаки. Геиерал подиялся. Вместе с ним и Милош и офицеры почтили память человека, который оказался близким этим русским людям, который оставил часть своего любящего сердца в страие Советов.

Офицеры ушли. Милош остался один с комаидиром корпуса. То, что он зиал Фучика, придало юиоше смелость повторить свою просьбу. Ему казалось, что геиерал не откажет, ио тот молча прошелся по комиате, спросил:

— Почему ты решил, товарищ Новотиы, стать таикистом? Пехота вот-вот пойдет дальше иа юг, к

Остраве, а мы — кто знает, может, на запад, а может, на север пойдем.

— Германию, ано?

— Хитрый ты, однако,— заулыбался генерал.— Предположим, что в Германию, тебе-то зачем она нужна?

— Маминка, концентрачни табор, Вальдгейм...

— Ах, вот что! — генерал задумчиво смотрел на опечаленного, сникшего Милоша, снял со стены карту Германии, положил на край стола.

— Вот он, Вальдгейм.— Точка и надпись были еле видны, и Милош поразился, как мгновенно нашел генерал этот небольшой населенный пункт.— Мне кажется, американцы придут туда скорее, чем советские войска. Нам несколько сот километров пройти еще нужно, а им совсем близко — рукой подать.

Что еще сказать генералу?.. Как странно должна звучать его просьба: разве направляются воинские части туда, куда хочется даже командиру? Разве может солдат рассчитывать попасть вот в такую, чуть видимую на карте точку, да еще прийти туда первым, как он мечтал?

— Ну, передумал идти в танкисты?

— Не, тувариш генерал. Я стальевар, люблю танк, добри туварнши встретнль.

— Кто тебе так успел понравиться за два дня?

— Зарубин пекин чловек, сьержант Белых, сьержант Рудьнов...

— А, сталевар встретил сталевара! Пусть тебя Руднов и учит на заряжающего,— согласился генерал.— Только запомни, соудруг Новотны,— через неделю бой.

3

Слабый, дымчато-желтый свет еле дотягивается от потолка до днища танка. Люки плотно закрыты. Воздух густ, весóм, давит на голову и отзывается звоном в ушах. Милош волнуется как тогда, когда он впервые спустился с Антонином Щеткой в подпольную ти-

пографию. Но тут все сложнее для него. В типографии он сразу взялся выполнять задание Фучика и, хотя он был наборщиком не таким, как Щетка, все же работа была знакомая. Здесь же, под броней «Тридцатьчетверки», ему кажется, что он так и не одолеет специальности заряжающего. Разве сумеет он повторить приемы, чтобы они малость бы походили на легкие свободные движения Александра Руднова?.. Стремясь за короткий срок подготовить заряжающего, тот занимался с Милошем и в дни сборов к многокилометровому маршу корпуса к берегам Нейссе, и во время самого марша, и после занятия исходного рубежа для наступления. Отрывал время даже от короткого сна, а когда Милош отчаивался, что ничего не умеет, подбадривал:

— Один-два раза под огнем побудешь — все премудрости узнаешь.

Вот и сейчас: другие танкисты отдыхают, а Руднов спустился с Милошем в танк, захлопнул люки и даже шлем не разрешил снять, будто все происходит в настоящем бою. Он учит быстро брать из ящиков снаряды, устанавливать на осколочные взрыватели, одним движением класть снаряд в лоток орудия, толчком подавать его вперед и быстро отскакивать вправо.

— Вот так, гляди!

Александр Руднов становится на место заряжающего, ноги широко расставлены. Он держит пудовую сталь, словно балуется со снарядом.

— Ты, может быть, слышал о русском композиторе Даргомыжском. Он любил шутки сочинять. Однажды написал Славянскую тарантеллу для игры в четыре руки с человеком, который вовсе не умеет играть. Для аккомпанемента даны две однообразные ноты: знай стучи в такт, не отставай от того, кто мелодию выводит.

Круглое, с бронзовым загаром лицо Руднова улыбается Милошу.

— Ты меня понял, Новотны? Твое дело аккомпанировать экипажу. Будешь чувствовать ритм и дыхание боя — и экипаж отлично сыграет. Вот твои две ноты: взять снаряд, мигом вложить его в лоток орудия и энергичным толчком дослать вперед. Остальное авто-

матика сделает и тот, кто будет стрелять. Я или старший лейтенант Зарубин наведем на цель, нажмем электроспуск, и твой снаряд полетит в фашиста. Это и будет наша с тобой боевая Славянская тарантелла!

Милош подхватил снаряд. Он ему показался не таким тяжелым, как прежде.

НАКАЗ И КЛЯТВА

1

Прибрежный край проснулся с быстротой и чуткостью бойца. Прощально мигнув, растаяли звезды. Улетучилась синева. Остро наточенные, предельного накала лучи-разведчики хлынули от горизонта к темному лесу, пробили гущу берез, лип и мелкого дубняка, залили червонным золотом большую поляну, простой и величественный строй танкистов.

Строй застыл огромной буквой П. У основания ее, в полукружье выбежавших на поляну березок, стоял широкий массивный тяжелый танк, а на нем, как на трибуне,— группа гвардейцев. Впереди, положив большие руки на плечи башни, возвышался одетый в парадный мундир, при всех орденах и Звезде Героя, генерал. Люди, которые воевали с ним с первого боевого дня корпуса, которые знали и уважали каждую морщинку на его то суровом, то необычайно мягком лице, увидели в четких, красивых чертах генерала выражение такого счастья, которое дается военному человеку, может быть, раз за всю его многолетнюю, полную тревог и опасностей жизнь. Молодо и торжественно звучал голос генерала:

— Двум фронтам — Первому Белорусскому и Первому Украинскому приказано перейти в наступление на Берлин, окружить город и водрузить над ним знамя Победы. Родина доверила нам добить фашистского зверя в его собственной берлоге. Поздравляю, гвардейцы, с получением долгожданного приказа!

Молчаливо-нерушимым оставался строй. Но тишина была волнующе-звонкой: каждый танкист чувство-

вал учащенные удары тысяч сердец, с которыми слито было его сердце.

— У нас стало традицией,— продолжал генерал,— перед решительными боями зачитать наказ тех, кто создал наш корпус, повторить клятву, которую мы дали трудящимся Урала. Слушайте, товарищи танкисты, их «Наказ».

На танке-трибуне расступились, пропуская к башне Александра Руднова. Он стал рядом с генералом, развернул красную папку с золотой надписью:

«Наказ

бойцам, командирам и политработникам Уральского добровольческого танкового корпуса от трудящихся Урала».

Руднов начал читать, и лес многократно усиливал его грудной низкий голос:

«Родные наши сыны и братья, отцы и мужья!

Исстари повелось: провожая на ратные дела своих сынов, уральцы давали им свой народный наказ. Благословляя вас на битву с лютым врагом Советской Родины, хотим и мы напутствовать вас своим наказом. Примите его как боевое знамя и с честью пронесите сквозь огонь суровых битв как волю людей родного Урала».

Раздельно и доходчиво произнося слово за словом, Александр Руднов вспоминал: огромная городская площадь, колонны танкистов, море людей, пришедших проститься с добровольцами, вручить им «Наказ»; бои за освобождение Орла и Брянска, Каменец-Подольска и Львова, многочисленных селений западной России, Украины, Польши. Повсюду добровольцы свято выполняли напутственное слово народа.

«Во все времена, когда бушевали грозы войны и иноземный захватчик шел с мечом на Русь, уральцы отливали пушки, храбро воевали в рядах русских войск, заставляли врага отдавать ключи от павшего Берлина».

Старший лейтенант Зарубин, стоявший на правом фланге своей роты, скосил глаза влево, увидел мужественное, обвязанное белым бинтом лицо Юрия Белых, а рядом — немного растерянного, побледневшего от излишней напряженности Милоша Новотного. «Юра сумеет и будет воевать за себя и за брата, а этот?..»

«Славой легендарных подвигов овеяны. Красные знамена уральских партизан и красногвардейцев. Крови своей и жизни не жалели отцы наши в боях за Советскую власть, за счастье народа. Много тысяч наших земляков покрыли себя бессмертной славой в Великой Отечественной войне. Идите и вы на святую битву. Бейтесь умело и храбро. Помните наш «Наказ», его подписали все труженики Урала. Не забывайте: вы и ваши танки — это частица нас самих, это наша кровь, наша советская добрая слава, наш огненный гнев к врагу».

Перед мысленным взором Юрия Белых встали завод, цех, последние дни перед уходом в корпус. Вместе со всеми сборщиками он после одиннадцатичасовой смены оставался на несколько часов и из внеурочно сделанных в других цехах узлов и деталей собирал сверхплановые танки для добровольческого корпуса. Юрий испытывал машины, одну из них вывел из ворот завода, остался на ней механиком-водителем. А вот здесь стоят новые танки, еще более стремительные маневренные, сделанные уральцами опять-таки сверх государственных заданий. Они, эти машины, прижались к кустам и деревьям; прозвучит команда — зашумят моторы, и броневые крепости помчатся в наступление, в завершающие бои. «И ты, Михаил, войдешь с нами в Берлин. Ведь ты конструировал танк, на котором написано твое имя...»

Милош Новотны, слушая слова волнующего «Наказа» уральцев, проникал в смысл понятий: доброволец Советской Армии, уралец-танкист. «А если окажусь недостойным товарищей, если дрогнет у меня душа в настоящем бою? — спрашивал он себя и решительно отвечал: — Не будет этого, клянусь!»

Точно отборными крупными зернами пшеницы осыпало солнце могучие машины. На них были устремлены взоры гвардейцев, когда они слушали заключительные строки «Наказа».

«На свои средства создавали мы добровольческий танковый корпус. Отливали своими руками детали и собирали из них танки. В вашей боевой технике и оружии — наши заветные думы о светлом часе полной победы. В них — наша твердая, как Урал-камень, воля сокрушить врага».

Все больше накалялся голос Александра Руднова:

«Мы уверены: лютый враг будет повержен в прах. И тогда пуще прежнего зацветет, закрасуется родная земля, счастливо зажнвут все советские люди.

Ждем вас с победой, товарищи! Крепко и любовно обнимает вас Урал и прославит в веках своих мужественных сынов. Земля наша, свободная и гордая, будет петь чудесные песни о героях Великой Отечественной войны.

Вперед на бой! За Советскую Родину!»

Вслед за чтением «Наказа» добровольцы повторили свою клятву, которую они с честью пронесли от Уральских гор до стен Берлина.

И словно призыв народа и клятва добровольцев послужили сигналом,— раздался гром десятков тысяч орудий. С каждого километра по пятьсот советских орудийных стволов обрушили на врага лавину металла. Немецкая земля по ту сторону реки Нейссе судорожно забилась. Метались, не находя укрытия, немецкие войска, их оборонительные укрепления спекались от огня, вместе с землей взлетали в воздух.

Невиданная по силе артиллерийская канонада будто эхом отзывалась:

— Клянемся!

— Клянемся!!

— Клянемся!!!

Было 16 апреля 1945 года, 6 часов 15 минут утра.

Первый Украинский фронт пошел в наступление на Берлин.

2

Два фронта — Первый Украинский и Первый Белорусский начали наступление в один и тот же день. 16 апреля. Гитлеровское командование за счет ослабления, а местами полного обнажения своего Западного фронта, сконцентрировало против двух этих советских фронтов все свои лучшие силы, лучшее вооружение и технические новинки: ракетные самолеты, фауст-патроны, минные чемоданы. На подступах к Берлину, за его ближними и дальними бетонными обводами-крепостями находилось 50 пехотных, 15 танковых и мотомеханизированных дивизий — миллионная группировка

войск. Лесные завалы и волчьи ямы, двухметровые каменные заслоны по дорогам и в населенных пунктах — все использовалось для того, чтобы заставить советские войска принять невыгодные условия боя, измотать их и отбросить обратно за Нейссе.

Во второй половине дня берлинское радио передало специальное обращение Гитлера к немецким войскам и населению Германии. Он уверял, что под Берлином русским приготовлена «кровавая баня» и поклялся, что русские никогда не войдут в Берлин.

В те часы, когда радио захлебывалось уверениями Гитлера, в междуречье Нейссе — Шпрее уже велись успешные для советских частей бои. Танковые соединения перешли по наведенным саперами переправам на плацдарм, занятый утром штурмовыми группами пехоты, и параллельными потоками устремились через леса к берегам Шпрее. Севернее войска Первого Белорусского фронта вклинились во вражескую оборону. Гигантские оборонительные сооружения, возведенные в течение двух лет, были обойдены или взломаны ударами советской авиации, артиллерии и танков. Ничто не в силах было задержать наступательный порыв воинов, остановить наземную и воздушную армаду советской техники, составлявшей на подступах к Берлину 41 тысячу орудий и минометов, 6300 танков, 8 тысяч самолетов.

Советский народ давал фашистской Германии последний бой.

Танкисты-добровольцы двигались узкими лесными просеками, преодолевая болота и искусственные препятствия. Вместе с саперами и автоматчиками из десантов они разбирали завалы, гатили болотистые участки, время от времени выбивая врага из засад. К вечеру рота старшего лейтенанта Зарубина вышла из леса и приближалась к населенному пункту, в котором авиационная разведка обнаружила вражескую артиллерию и танки. С ходу Зарубин, заменивший на одной из своих машин убитого командира экипажа, повел два взвода во фланг немцам, а Руднову приказал во главе трех танков ударить на вражескую оборону в лоб.

Прямо по шоссе, впереди атакующего взвода, шел танк с надписями по обоим бокам башни: «За Михаила Белых!», «За Юлиуса Фучика!» Когда члены экипажа услышали от Милоша рассказ о героической жизни и смерти Фучика, они пожелали начертать на танке и славное имя писателя-борца.

Танк с именами двух коммунистов — сына Урала и сына рабочей Праги — оторвался метров на двести от других машин. Юрий Белых словно спорил с летевшим ему навстречу ветром, кто может скорее мчаться по прямой, кто неожиданней и круче сумеет поворачивать или с бешеного хода останавливаться так, будто скала появилась на пути. Руднову не приходилось торопить механика-водителя. Белых по опыту боев знал, что идущие в открытую танки станут легкой мишенью, если им не удастся ошеломить противника быстротой движения и маневра, подавить, уничтожить его метким огнем из танковых пушек и пулеметов.

Следя за вспышками вражеских орудий, за появлением танков, Руднов то стрелял с ходу, то приказывал механику остановить на мгновение машину, то кричал ему в трубку переговорного устройства, когда орудия противника оказывались поблизости:

— Вправо пушка!

— У церкви засада, дави!

Танк налетал на стоящие в засадах орудия, подминая их под себя, мчался к перекрестку улиц, куда должен был с минуты на минуту выйти Зарубин с двумя взводами.

Карликами кажутся на оптическом стекле прицела пушки или танки. Качнется машина — и ускользает от центра мишень, чуть вбок свернет водитель — и выскакивает она из поля зрения. На оптике, словно игрушечные, прыгают артиллеристы, пытаясь зарядить, выстрелить, прежде чем налетит на них грозная машина. Руднов сердцем чувствует — жизнь от смерти в таком бою отделена сотыми долями секунды: не успеешь молниеносно поразить врага — он убьет тебя. Руднов теперь и командир, и башнер, он глаза экипажа, его главный нерв; напряжение его предельно, как в те минуты, когда он впервые в жизни пробивал пикой

выходиое отверстие мартеиовской печи, давал путь тысячеградусиой стали.

В иакалеииой машине трудио дышать. У Руднова пересохли, потрескались губы. Чтобы его слышал заряжающий, Рудиов иадрывает голос, а до Милоша еле доиосятся комаиды:

— Бронебойиым!

— Осколочиым!

От жары, от иеобычиой физической иагрузки Милош задыхается. Газы, врывающиеся в машину через казенник орудия, въедаются в глаза, и ему кажется, что он слепиет, что не сумеет удержать в руках снаряд. Обессилеииый, с раскрытым, часто дышащим ртом, Милош опустился на диище. В ту же секуиду его ударил голос Рудиова:

— Заряжай!

Милош оторвал глаза от диища. Близко и гневно па иего смотрел Руднов. Ярость была в его лице с трепещущими широкими иоздрями.

— Заряжай! Хлюпик!

Милош ие зиал, что озиачает последнее слово, ио было оно произиесеио со злостью и упреком. Это слово, тон командира заставили Милоша подияться, ои рваиул из последиих сил снаряд и зарядил орудие.

Задержка могла дорого обойтись экнпажу. Оторвавшись от прицела, Руднов ие заметил, как немецкий таик пропустил машиину и стал разворачивать башию, чтобы бить в корму, навериякa. Спасло экипаж появление Зарубина, зашедшего с двумя взводами во фланг иемцам.

В междуречье Нейссе — Шпрее был взят один из тех оборонительных узлов, которые гитлеровское командоваиие считало неприступиыми.

3

За две недели боев на подступах к Берлииу, в Потсдаме, где уральские таикисты вместе с мехкорпусом Четвертой таиковой армии соединились с войсками Первого Белорусского фронта и замкиули кольцо

вокруг столнцы Германнн, потом в схватках на южной окранне, на улнцах Берлнна, завершнвшнхся в полдень 2 мая безоговорочной капнтуляцней немцев,— за это короткое время Милош нспытал, увндел н понял, пожалуй, больше, чем за всю свою нстерзанную оккупантамн юность. Ему казалось, что не месяц, а годы прошлн со дня прощання с Властой и Пексой, с момента встречн русскнх танкнстов. Много эпизодов, картнн, событнй этнх дней врезалнсь в память, а глубже всех — бой на подходах к Шпрее н последняя попытка немцев вырваться нз окруження под Берлнном н пробиться на запад.

От первого боя остался стыд, осадок болезненной неудовлетворенностн собой. В дальнейшем бывалн суткн непрерывного боя, н те Мнлош выдержнвал. Но тогдашнее яростное выраженне лнца Руднова продолжало беспоконть, как незажнвшая рана, н непонятное слово «хлюпнк» все еще временамн звучало в ушах. Руднов не вспомннал тот первый бой. Сердечно н дружелюбно относнлся он к молодому бойцу, своему ученнку, н после неделн наступлення попроснл старшего лейтенанта Зарубнна представнть Мнлоша к награде.

Иные чувства н мыслн вызвало у Мнлоша сраженне в день Первого мая, когда гнтлеровцы попытались прорвать кольцо окруження под Берлином.

Батальон заннмал отрезок шоссе, ндущего от Берлнна на юг. На правый фланг батальона, где находнлнсь танкн Зарубнна, пошлн нз леса — с востока на запад — солдаты н офицеры отборных эсэсовских частей. Атаку за атакой отбнвалн танкнсты. Уже поле у шоссе было усеяно вражескнмн трупамн, а немцы все выходнлн нз леса, шлн с упорством одержнмых по телам свонх же убнтых н тяжелораненых солдат. Кончнлнсь боепрнпасы в пулеметных днсках, кончнлнсь снаряды у танков роты. Зарубнн велел остаться в машннах одннм механнкам н с автоматамн вслед за свонмн танкамн шел в контратакн. Восемь часов длился бессмысленный для немцев бой. Им предлагали разоружнться, сдаться в плен, сохраннть себе жнзнь, а онн ошалело перлн нз леса под снаряды, под гусенннцы — на Запад. «На кой черт нм нужен Запад? Почему

они без боя сдаются в плен американцам и англичанам?» — спрашивали бойцы в редкие минуты затишья, и Милош с нетерпением ждал ответа Александра Руднова.

— Снюхались, видать. Может быть, договорились за наш счет. Им не впервой.

Предположения Александра Руднова волновали Милоша и после завершения берлинского сражения. Близилась победа, а о Вальдгейме, сколько Милош ни слушал радио, ни читал газет, ничего сказано не было. Генерал давно, еще при первой встрече, говорил ему, что американцы находятся близко к Вальдгейму. «Заняли ли они концентрационный лагерь? Освободили ли мать?.. Жива ли она? А Прага!.. Там все еще немцы!» Когда 4 мая уральских танкистов вывели из Берлина на юг, в леса, и начали раздаваться голоса, что на этом конец боям и войне, Милош искал возможности поговорить наедине с Александром Рудновым. Только к вечеру, после того как экипаж привел танк в порядок, выдалась такая возможность.

Александр Руднов устраивался спать на еще теплых после марша жалюзях танка, раскладывал шинель, мостил под голову полевую сумку и вещевой мешок.

— С вами можно, товарищ сьержант! — попросился Милош.

— Конечно, давай. Вдвоем еще лучше будет.

Милош достал из машины свою шинель. В лесу было тихо, только изредка шумела передвигающаяся куда-то машина да слышались по сторонам то храп, то кашель танкистов. Сумерки поднимались с земли, ползли по соснам вверх, но на небе была еще алая желтизна далекого заката, и она отражалась в карих, тоже с желтизной задумчивых глазах Александра.

— Размечтался я, как дочь меня встретит,— вдруг сказал он, перевернувшись со спины на бок, в сторону Милоша и, опираясь на локоть, стал вынимать пухлый, большой конверт из сумки.— Это моя первоклассница прислала. Своей ручкой написала над адресом полевой почты: «Осторожно. Цветы — на фронт папе». Смешная она, моя Аллочка, забавная.— Он вздохнул,

раскрыл конверт.— Цветы давно засохшие, а пахнут, волосами дочки пахнут...

Александр дал Милошу понюхать цветы, касался их осторожно, мягко, будто ласкал волосы дочурки. Милош решил, что незачем отрывать товарища от дорогих ему дум о семье. Но тот сам заговорил о другом.

— Скорее бы к мартену, истосковался я по Магнитке.

Он опять лег лицом вверх, помолчал, поглядел, как постепенно синело небо.

— Красивая у нас с тобой профессия, Милош,— и наслаждаясь словом, протянул: — Ста-ле-вар. Незаменимая и в мирной жизни, и в час войны. Сам Серго, когда смотрел, как я с бригадой доводку провожу и скоростную плавку выпускаю, так и сказал: «Бери меня, Александр Иванович, в подручные. Лучше нету, чем сталь варить!»

— Кто Серьго? Начальник завода?

— Бери выше, Милош. Серго Орджоникидзе министром всей главной промышленности Советского Союза был, тогда наркомом назывался. Подумай, народный комиссар, министр, а многих рабочих по имени-отчеству знал, из Москвы прямо в цех им звонил, спрашивал, что мешает, чем помочь.

И Александр стал с увлечением рассказывать о запомнившемся в Магнитке ночном звонке Серго Орджоникидзе. Прежде чем связаться с директором, он велел соединить себя по телефону с одной из доменных печей. К аппарату подошел мастер, снял трубку и слышит: «Кто у телефона?» Мастер назвался и этаким грубоватым голосом спрашивает: «А ты кто?» — «Я? Серго, из Москвы. Скажи мне, как дела на домне, Иван Афанасьевич?» А у Афанасьича язык отнялся, молчит, знай, да слушает веселый голос народного комиссара. «Что молчишь? Я у тебя, как у хозяина печи, спрашиваю». Ну, раз так, Иван Афанасьевич стал все претензии выкладывать: и кокс неважный, и руду с опозданием дают, и печь поэтому с перебоями работает. Пообещал Серго тут же меры принять и велит девушке на коммутаторе соединить его с директором комбината. «Авраамий Павлович,— говорит он тому.—

Скажи, пожалуйста, как дела на заводе? — «Все в порядке, товарищ Серго»,— докладывает директор.— «Да? А в доменном цехе?» — «И там хорошо. План даем, даже с некоторым перевыполнением».— «Ну, а третья домна?» — допытывается Серго. Тут бы директору и смекнуть, чего это нарком так дотошно его допрашивает. Но, с другой стороны, откуда он мог знать, что мастер сказал наркому? «И на третьей в порядке»,— отвечает. Тут наш Серго и разошелся: «Ты,— говорит он директору, который его любимцем был,— государство обманываешь! Ты мне глаза замазываешь! А ну-ка, иди сейчас же на третью домну, и к утру, слышишь, к утру, чтобы все там было честь по чести». Не выдержал директор, спрашивает: «Кто вам сказал, что делается на домне, товарищ Серго?» — «Кто? Самый главный хозяин сказал — рабочий, вот кто!»

Для Милоша это было открытием: большой руководитель, министр считает мнение рабочего человека самым ценным и веским. Воспоминания Рудиова раскрыли Милошу еще одну сторону характера его русских товарищей. На все, что происходило в их великой стране, они смотрели глазами хозяев и поступали, как полновластные хозяева своих богатств. «Вот откуда их небывалое мужество и ясность цели»,— подумал Милош, глядя на усталое лицо Александра Рудиова.

ВОССТАНИЕ

1

Субботнее утро 5 мая выдалось холодным, пасмурным, тревожным. Грозовые тучи нависали над семью пражскими холмами, над островерхими башенками древних замков, церквей и жилых зданий Старого и Нового города. Звонко ударили по черепичным крышам домов первые крупные капли, кругом потемнело, будто вновь хотела возвратиться ночь. И вдруг с молнией и громом на город обрушился неистово злой ливень. Он гулко хлестал по плитам мостовых и тротуаров, словно намеревался смыть с Праги всю грязь и накипь шестилетней оккупации.

Из многочисленных репродукторов хрипел, надрываясь, надоевший голос диктора. В который раз он повторял слова Карла Германа Франка, что Чехия и Моравия охраняются от большевистской опасности миллионной немецкой армией фельдмаршала Шернера. Опять Франк угрожал смертной казнью тем, кто посмеет выйти на улицы. И опять, вопреки этому приказу и небывалому ливню, люди шли на заводы и в учреждения, пряча что-то под кожаными пальто и макинтошами.

В районе Винограды, в доме кооператива «Братство», собралось более ста заводских делегатов. Вход в здание охраняли два молодых вооруженных автоматами чеха. От каждого пришедшего они требовали документ заводского комитета. В просторном зале на длинном столе лежали охотничьи ружья, дамские пистолеты, самодельные гранаты из консервных банок и коротышки-автоматы. У стены одна на другой громоздились немецкие каски. На страже этого невесть откуда собранного добра стояли угрюмый, с насупленными бровями, но с мягким добрым взглядом, наборщик Антонин Щетка и никогда не унывающий вагранщик Колбенки Зденек Червинка. Группа делегатов толпилась возле стола. Слышались шутки:

— С таким пистолетом жену в страхе держать и то невозможно.

— А к консервам пиво будет выдаваться?

— Эй, Зденку, напихал полные карманы патронов и жадничаешь. Поделись!

В другом конце зала делегаты окружили девушек, среди которых была и Власта Воначек. Они раздавали пришедшим широкие красно-бело-синие ленты — цвета Чехословацкого государственного флага — и тут же булавками прикрепляли ленты к рукавам рабочих.

— Мне трехцветку! Мне! — раздавались голоса.

Получив ленты, трое парней остались возле Власты. Тонкая, стройная, румяная, в строгом с закрытым воротом платье, она среди грубоватых парней выглядела алым маком, случайно попавшим на косматое кукурузное поле.

— Откуда такая красавица?

— С нашей Колбенки.

— Пойдем на «Авиа», светлоокая, эх, и богатыри на нашем заводе!

Пожилые делегаты держались солидно и вели между собой солидные разговоры.

— Слышали: в Праге создан Чешский национальный совет. Он имеет полномочия нашего законного правительства в Кошице.

— Эти новости к вам улита, видать, везла. Уже пять дней, как существует.

— Скажите, а коммунисты входят в Кошицкое правительство? Они же никогда не бывали министрами.

— Не бывали, а с четвертого апреля стали. В правительство входят шесть коммунистов, в том числе наш Клема.

— Клемент Готвальд?

— А кто же еще...

— Скоро ли мы вышибем гитлеровцев из Праги?

— Вот Ладя пришел, его и спроси.

Ладислав Пекса вошел быстрой энергичной походкой, на ходу снимая с себя мокрый макинтош. Куда девались впалая грудь и набрякшие, опускающиеся от усталости веки. Он помолодел, распрямился, в глаза бросалась улыбка, которой он одарил всех,— и знакомых ему рабочих, и незнакомых.

— Чест праци! — приветствовал он делегатов, подняв сухощавые длинные руки и, объединив их ладонями, потряс над головой.

— Праци чест! — ответили ему делегаты, и те, кто давно знали Пексу, шептали другим: «Это Ладя», «Ладислав Пекса», «Руководитель подполья».

Подойдя к столу, Пекса пожал руку Антонину Щетке и обратился к делегатам:

— Времени мало. Я буду краток. Франк распорядился остановить заводы, распустить рабочих по домам. Гитлеровцы боятся, что вы подниметесь с оружием. Они хотят разобщить вас, а затем уничтожить предприятия. Те, кто сейчас пойдут на заводы, должны сказать рабочим: заводы — наши крепости, а крепости сдают врагу только глупцы да трусы.

Должен вас предупредить об очередном предатель-

стве руководителей бывшей чешской национально-«социалистической» партии. Они вели переговоры с Франком, согласились оставить Прагу немцам. Они хотят образовать новое правительство из чешских реакционеров в противовес Кошицкому правительству Национального фронта и передать предприятия бывшим хозяевам.

— Не бывать этому! — крикнул раскрасневшийся Зденек Червинка, хватая со стола автомат.

— Предателей из наци-соци во Влтаву сбросим! — прогремел возвышающийся над всеми рабочий. «Наци-соци» — так называли национальных «социалистов» на авиазаводе.

Шум постепенно улегся. Пекса продолжал:

— Центральный Комитет Коммунистической партии и Чешский национальный совет решили призвать народ к оружию, начать вооруженное восстание. Владимир Ильич Ленин, великий вождь коммунистов и рабочих мира, учил нас, что промедление в подобных случаях равносильно смерти. Франк и генерал Шернер вызвали в Прагу танковые части, через день-два может быть поздно. Значит,— сегодня! Сегодня начнем воздвигать баррикады. Сегодня займем радиоцентр, телеграф, телефон, электростанцию, все мосты через Влтаву. Половина делегатов пойдет на заводы, остальные составят штурмовой отряд по захвату радиоцентра. Оружие получать здесь и немедленно. Возражения у делегатов имеются?

— Какие могут быть возражения!

— Давно пора!

— Все правильно, Ладя. Идем!

Антонин Щетка и Зденек Червинка стали раздавать оружие.

2

Сквозь проломы в кирпичных стенах патриоты пробрались во внутренний двор радиодворца. Они ползут по мокрому асфальту. Хлещет неистовый ливень.

У двери черного хода — часовой. Пекса и Червинка подползают с двух сторон к немцу, бросаются на него. Он не успевает ни крикнуть, ни выстрелить. Секунды две слышна возня, потом опять тихо. К месту схватки приблизились Антонин Щетка и Власта.

В коридорах полумрак. Перед тем как пробежать площадку и подняться на второй этаж, Пекса замер за углом. Завыла сирена, за парадным подъездом послышалась стрельба. «Вовремя!» — подумал Пекса. Он послал группу молодых рабочих в противоположный от радиодворца дом, и они с окон третьего этажа открыли огонь по немцам, сторожившим главный вход. Во главе с офицером солдаты бросились через улицу, открыли стрельбу по окнам, стали ломиться в квартиры. Нетерпение охватило Червинку: «Уже можно?» Пекса смотрит на часы, третья группа сейчас должна напасть с улицы, захватить главный вход, отрезать к нему путь выбежавшим немцам. Еще минута прошла, и левее раздались автоматные очереди.

— Давай!

Перепрыгивая через две-три ступеньки, бегут вверх к трансляционному залу Пекса, Червинка, Власта. Антонину Щетке трудно угнаться за молодыми, боль отдает в сердце и в левую руку. Он остановился, чтобы отдышаться, остановилась и Власта.

— Вам плохо?

С благодарностью смотрит старик на девушку. Он ее полюбил за этот месяц. Когда она приходила за «Руде право», чтобы разнести по заводам, у них бывали задушевные разговоры.

— Ничего, доченька, пойдем!

На площадке третьего этажа завязалась перестрелка. Антонин Щетка забыл о боли в сердце.

— Скорее! Там Ладя! Ладю надо охранять!..

После смерти Фучика Ладислав Пекса стал для старого наборщика олицетворением всего самого светлого и честного в партии.

В трансляционном зале, куда спешил Пекса с товарищами, музыканты попытались своими силами одолеть вооруженную охрану. Первый схватился с немцами скрипач из бара «Боккаччо».

За день до восстания он возвратился в студию радиоцентра, откуда вынужден был уйти шесть лет назад. Немцы запретили тогда транслировать патриотические поэмы Бедржиха Сметаны, заставляли играть фашистский гимн, и он, первая скрипка, гордость пражского симфонического оркестра, уехал в маленькую деревушку. Там в сорок четвертом году его встретил скрывавшийся от преследования гестапо Ладислав Пекса. Далекие знакомые в прошлом, они настолько подружились, что скрипач согласился помогать подпольщикам. Он поехал в Прагу, нанялся к хозяину бара «Боккаччо» и, спускаясь со своей скрипкой с эстрады вниз, к столикам, чутким ухом прислушивался к разговорам опьяневших немцев, сравнивал, сопоставлял услышанное и обо всем сообщал Пексе. Скромный скрипач стал надежным информатором партии. Когда же Пекса стал собирать силы для штурма радиоцентра, скрипач вызвался поднять против охраны своих старых друзей из оркестра.

Огромный рыхлый человек, с белыми пухлыми руками, которые всю жизнь только и умели что держать скрипку и невесомо-воздушный смычок, пронес в трансляционный зал два пистолета и, услышав стрельбу на улице, уговорил музыкантов напасть на вооруженных немцев. Это оказалось трудным делом. Двое из оркестра в первую же минуту поплатились жизнью, скрипач был ранен.

Несколько метров осталось Пексе и Червинке, чтобы добежать до трансляционногозала, откуда можно было, откуда нужно было обратиться ко всем чехам, ко всему миру. Но на площадке произошла заминка. Четверо автоматчиков во главе с офицером преградили дорогу. Пекса открыл огонь из-за колонны, Червинка полз вперед, прижимаясь к стене. В этот момент на площадку выбежал Антонин Щетка. Он увидел, что офицер, перебегая от колонны к колонне, заходит за спину Пексе. Старик кинулся на офицера, схватил его за горло в то мгновенье, когда офицер нажал на спуск пистолета. Пули вонзились в грудь Антонина Щетки. Мертвой хваткой увлек он немца за собой на пол.

3

Перед воротами Колбенки собралась толпа рабочих. Немецкие полицейские из заводской охраны наглухо закрыли все двери проходной и огородили ворота колючей проволокой.

Рабочие ночной смены, усталые и уже промокшие под дождем, стояли за спинами полицейских, дожидаясь, когда же их выпустят. Но охрана получила строгое распоряжение начальства — сперва разогнать пришедших на работу колбенцев и, освободив от людей призаводскую площадь, выпроводить ночную смену.

— Расходись, немедленно! — приказывал старший полицейский.

Его перебил хриплый голос сталевара Вацлава Оливы, только что вышедшего из литейного цеха:

— Не уходите, соудружки и соудрузи! — кричал он собравшимся на площади по ту сторону ворот.— Дирекция и охрана недоброе замышляют против нашей Колбенки. Не отдадим завода!

— Не отдадим! — отзывались в толпе.

Несколько полицейских навалилось на Оливу, стараясь скрутить ему руки за спину. Рабочие бросились на помощь сталевару.

— Убьем камнями, если возьмете его! — крикнула Милада Поспешилова, подняв булыжник из развороченной у ворот мостовой.

— Стой, Милада! — к формовщице подбежал Франтишек Вонасек. Два дня тому назад он вернулся из освобожденной Моравской Остравы, чтобы в решающий момент быть в родной Праге.— Не горячись. Нам надо еще немного выждать. Видишь, Вацлава отпустили...

Угроза ли рабочих или приказ начальства удалить толпу без шума повлияли на охранников, но они оставили сталевара в покое.

— Франтишеку! — громко, чтобы все слышали, спросила Поспешилова.— Что передавало ночью радио?

— Красная Армия ведет бои между Берлином и Дрезденом,— ответил Вонасек.— Радио передает, что у Дрездена и в наших горах окопался генерал-фельдмаршал Шернер. Нажмут на него русские, и мы станем свободными.

— Но Шернер может оказаться в Праге, если его оттеснят русские! — испуганно воскликнул бледнолицый служащий, которого не выпускали в город вместе с рабочими.— В армейской группе Шернера двадцать эсэсовских дивизий. Войдут они в город — тогда никто и никогда не выбьет их отсюда.

— Слава богу, американцы в Пльзене,— успокаивающе сказал инженер из ночной смены, тучный мужчина с раскрытым зонтиком.— Они не дадут Шернеру захватить Прагу. Танки генерала Паттона смогут пройти сто пятнадцать километров по ровному асфальту за четыре часа. Американцы спасут нас...

— Дождетесь! — со злой иронией перебил инженера Ярослав Копта.— Руководители вашей партии национальных «социалистов» вчера совещались с фашистской бестией Франком. Они не хотят подчиняться народному правительству в Кошице, а стремятся создать правительство предателей, чтобы помочь Франку капитулировать перед американцами и продолжать войну против Советской России. Торгуясь с Франком, ваши вожди торгуют нашей свободой, торгуют народом!

В толпе раздались негодующие возгласы:

— Они снова тянутся к портфелям, хотят продать нас новым мюнхенцам!

— Позор предателям!

— На свалку их вместе с Франком!

Инженер и служащий юркнули в глубину двора.

— До каких пор,— обратилась Поспешилова к Вонасеку,— подобные людишки будут осквернять имя чеха? — И, наклонившись, спросила полушепотом: — Говорят, Старший друг возвратился в Прагу. Правда? Что он советует делать? Будет ли, наконец, приказ партии действовать?

— Будет, Милада, будет,— так же тихо ответил Вонасек.— Но Старший друг...

Радио не дало ему договорить. Из репродуктора, висевшего на балконе двухэтажной конторы, раздались слова, которые заставили встрепенуться сотни людей.

— Слушайте нас, братья и сестры, соудружки и соудрузи! Говорит освобожденная пражская радиостанция! Героическая Красная Армия разбила фашистские орды и 2 мая полностью заняла Берлин. Одна лишь группа «Центр» генерал-фельдмаршала Шернера продолжает сопротивляться. Гитлеровский наместник в Чехии Карл Герман Франк предложил Шернеру оттянуть свою миллионную армию к Праге. Франк отдал приказ: подготовить к взрыву наши заводы, дома, университеты, уничтожить отважных патриотов, чтобы обеспечить армии Шернера спокойный тыл. Франк мечтает превратить Чехию в крепость фашизма и преградить путь Красной Армии, идущей освобождать нас от рабства. В эти критические дни Чешский национальный совет призывает вас к вооруженному восстанию. Чехи и чешки! Стройте баррикады, захватывайте заводы и мосты через Влтаву. Каждый завод, фабрику, электрическую и телефонную станции, университеты и больницы — под народный контроль и охрану! Жители героической Праги! К вам обращается Коммунистическая партия: все — на строительство баррикад, все — к оружию!

Едва репродуктор передал первую фразу воззвания, один из полицейских бросился к конторе, чтобы снять репродуктор. Юркий Франтишек Вонасек стремительно подбежал к балкону, подпрыгнул и, ухватившись за его край, взобрался на балкон как раз в тот момент, когда в дверях показался полицейский в сопровождении инженера с зонтиком. Размахивая им, инженер кричал Вонасеку:

— Вам чешской крови хочется! Слышите, даже в радиоцентре идет перестрелка... Убедите рабочих покинуть завод. Иначе будут стрелять...

— Не путайся под ногами! — воскликнул Вонасек и, отбросив инженера к перилам, выхватил из рук полицейского автомат.

Это послужило сигналом.

Рабочие ночиой смены хватали на заводском дворе камии, куски железиого лома и бросались иа охранииков. В первый момеит полицейские оттеснили колбенцев и сбили с иог иескольких смельчаков. Но охранники забыли о толпе иа площади. Двери проходиых были вмиг разбиты, во двор хлыиула масса людей.

Одна лишь Милада Поспешилова осталась стоять у распахиутых ворот. «Да ведь это Ладислав Пекса говорил с иами по радио, я узнала его голос»,— шептала оиа, и иа мокром от дождя лице работиицы появилась улыбка, словио оиа услышала сейчас голос родного сыиа. Шум моторов за спиной заставил ее огляиуться. Оиа увидела мчавшиеся к заводу броиевики и иа одном эсэсовца — иачальиика охраиы Колбенки. «Нет! Не видать тебе больше завода!» — воскликиула формовщица. Собрав все силы, оиа закрыла тяжелые ворота, когда броиевики были уже метрах в пятидесяти. Еще одио движеиие — и последиий запор будет вдвииут в гиездо. Но, когда Поспешилова толкнула стальную рейку влево, застрочил пулемет. Цепляясь вдруг охладевшими пальцами за ворота, формовщица стала медлеиио оседать иа землю...

А мужествеиный голос из репродуктора звал к бою, звал к подвигу:

— Коммунисты! Вооруженное восстаиие, которое иаша партия готовила с первых диен оккупации, иачалось. Ваше место — в первых рядах восставших. Покажите, что вы так же тверды и отважны в открытом бою с врагом, как вы были тверды и отважиы в подпольиой борьбе с оккупаитами!

Из автоматов и револьверов, только что отнятых у охраииков, колбеицы открыли огонь по эсэсовцам, подкатившим иа броневиках вплотную к закрытым воротам; часть рабочих кииулась освобождать завод от подрывииков, готовивших цехи к взрыву.

Ожесточениая схватка разгорелась иа подходе к литейиому. Площадка перед цехом простреливалась пулеметным огием. Рабочих подиял в атаку Ярослав Копта:

— Коммунисты, вперед!

Вслед за сталеваром к цеху бежали Воиасек, Олива и сотни рабочих, готовых биться с врагом до конца.

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

1

Майским утром заключенные женского концентрационного лагеря Вальдгейм услышали отдаленные громовые раскаты. Казалось, надвигается весенняя гроза, но небо было голубым, безоблачным.

— Что это может быть? — спрашивала Лида Плаха у Зинаиды Чернышевой.

Это была работница с Орловщины, лет тридцати, с открытым типичным русским лицом и толстой длинной косой, которую она пронесла через все пытки. Эсэсовцы волокли ее за косу, подвешивали на крюк, но сломить упорство Чернышевой не смогли. Они мучили ее за то, что она смелым ласковым взором вселяла в женщин бодрость, показывала им пример мужества в самых невыносимых условиях.

Зинаида прислушалась к грому, порывисто схватила за руку Лиду.

— Это орудийный огонь. Идут наши!

Из уст в уста летела эта весть по глубокой траншее, которую женщины копали на северо-восточной окраине лагеря. Зачем эта траншея понадобилась начальнику, никто определенно не знал: то ли он хотел подготовиться к обороне на случай подхода советских войск, то ли решил превратить ее в могилу для последних заключенных. Но так или иначе, эсэсовцы замышляли что-то недоброе, и женщины, предупрежденные подпольной коммунистической организацией лагеря, работали медленно, несмотря на плетки охранников. Услышав радостную весть, которую подтверждали все более отчетливые орудийные раскаты, женщины выходили из траншеи и собирались группами.

— Неужели свобода? — спрашивали они друг у друга.

Как только до лагеря донеслась артиллерийская канонада, охранники отошли от заключенных и сбились в кучу, держа наготове автоматы и злых, рвавшихся из рук собак. Трудно было сказать, кого они больше боялись в эти минуты: наступавших ли войск или отчаявшихся, готовых на все женщин, для которых кирки и лопаты могли теперь стать оружием. По направлению к дому начальника лагеря помчался на мотоцикле старший охранник, остальные с нетерпением ожидали приказа бежать подальше от этого лагеря, где каждый камень являлся свидетелем их кровавых преступлений.

Зинаида Чернышева и Лида Плаха — члены подпольной коммунистической организации, поговорив между собой, разошлись к разным группам заключенных. Вдруг среди женщин послышался испуганный шепот: «Начальник едет!»

Многие, кого приводило в трепет одно имя главного палача Вальдгейма, спрыгнули снова в траншею. Другие вслед за Зинаидой Чернышевой и Лидой Плахой отошли подальше от траншеи.

Машина остановилась возле охранников. Начальник что-то сказал помощникам и в сопровождении их приблизился к женщинам. Впервые он был трезв.

— К Вальдгейму,— обратился он к заключенным,— приближаются американцы. Мне приказано заключенных и имущество лагеря сдать в абсолютном порядке. Охрана остается на своих местах. Все женщины освобождаются от работы и идут в бараки, где они получают одежду, в которой прибыли.

Поведение эсэсовцев насторожило Чернышеву. «Это уловка, они что-то замышляют»,— подумала она и громко, чтобы все хорошо слышали, воскликнула:

— Не верьте ему! Не идите в бараки! Там нас ждет смерть!

Рука начальника потянулась к револьверу, но застыла в воздухе. Квадратное лицо его побледнело, а голос оставался спокойным:

— Кто не хочет идти, пусть остается здесь, с такими я поговорю отдельно. Вашу одежду уже развозят по баракам, спешите, кому хочется жить!

И угроза эсэсовца, и возможность снова надеть платье свободного человека повлияли на заключенных. Побросав на землю лопаты и кирки, они направились к баракам.

— Зинаида, пойдем вместе со всеми в барак,— просила Лнда, схватнв Чернышеву за руку.— Видишь, кроме нас с тобой, уже ннкого почти не осталось. Эсэсовцы ничего плохого нам сейчас сделать не смогут, а останешься — тебя убьют.

Лида Плаха и оставшиеся заключенные увлекли Зинаиду за собой.

2

Сперва далекий гул напоминал Божене Новотновой сильный морской прибой, затем обвал камней в горах. Вспухшими, надсаженными пальцами она сжала голову, стараясь отогнать шум, который ударял в мозг. Тело охватывал то жар, то холод. Нестерпимо хотелось пить, но подать воды было некому.

Внезапно Божена поняла, что это не камни низвергаются с горных вершин, а совсем близко стреляют орудия. Она соскочила на сырой земляной пол, и, шатаясь, пошла к дверям. Ей казалось, снаряды уже обрушились на проволочное загражденне вокруг лагеря, на сторожевые вышки с пулеметами, что орудийный огонь рвет нх в клочья, мстит за страдания тысяч женщин, брошенных гитлеровцами в ад. Она стала бить слабыми кулакамн в закрытые снаружи дверн, но никто не отзывался. «А может быть, все уже освобождены? Может быть, обо мне забыли?!» — подумала Божена, теряя сознание.

Вбежавшие в барак женщины наткнулись на ее распластанное у порога тело. Они подняли больную и положили на нары. Божена не приходила в себя. Через несколько минут около нее были Лида и Зинаида Чернышева, вошедшие в барак последними.

— Беги, Лида, в первый блок за врачом!

Плаха побежала к выходу, но дверь оказалась запертой. Бросив в барак часть женской одежды, на-

чальница блока захлопнула дверь и закрыла ее на замок.

— Мы в ловушке, Зина!

Наступила гнетущая тишина. Не слышно было больше орудийных выстрелов. Женщины в закрытых бараках осуждали друг друга, что не послушались Чернышевой.

В полдень Божена очнулась и, раскрыв глаза, увидела Зинаиду.

— Не сон ли это — мне почудились выстрелы!

— Не сон, матушка Новотнова. Где-то тут, рядом с лагерем, американцы.

— Почему не приходят?

Зинаида молчала, накладывая матушке мокрое полотенце на разгоряченный лоб. Лида Плаха успокаивала Новотнову:

— Столько мучились, еще часок подождем. Самое позднее — к вечеру придут, обязательно придут, как только узнают, что здесь концентрационный лагерь.

Американцев ждали весь вечер, всю ночь. Наутро вооруженный охранник бросил женщинам через откидную дверцу сухой хлеб...

Еще сутки прошли в томительном ожидании. К вечеру второго дня в лагере послышались выстрелы. Заключенные кинулись к окнам в надежде увидеть сквозь решетки американских солдат. Увы, их все еще не было! Через некоторое время в барак донесся удушливый запах гари. Женщины ужаснулись: опять пущена в ход газовая камера!

— Где же американцы? — раздавались тревожные голоса.

— Сердце чует, — убеждала Новотнова, — американцы не знают, что здесь творится. Там же люди, а не гестаповцы.

— Хотят ли они помочь нам? — сомневалась Чернышева. — Жители города не могли не рассказать о нас командованию американских войск. Одна рота способна уничтожить палачей... Скажите мне: разве эсэсовцы сидели бы в лагере хоть час, если бы знали, что даже в сотне километров от Вальдгейма находятся русские?

— Может быть, какие-нибудь военные причины задерживают,— не сдавалась Новотнова.— Я уверена, американцы не знают о нас, немцы скрывают от них, что здесь лагерь.

— Наши догадки никому не помогут,— сказала Лида Плаха.— Нельзя больше ждать. Скажи мне, Зина, как ты пробиралась из Нюрнбергского лагеря через проволоку.

Зина поняла, что Лида хочет сделать.

— Я сама должна пойти, я знаю одно удобное место. Жаль только, не владею английским языком.

— Возьми с собой меня,— Лида Плаха, прильнув к Чернышевой, горячо шептала: — Я в школе изучала английский, вдвоем легче будет.

3

Среди вещей, тщательно скрытых от охраны, нашлись две небольшие острые лопатки. Женщины унесли их после работы и спрятали в бараке. Теперь лопатки были извлечены, и заключенные, сменяя друг друга, непрерывно в течение суток копали под стеной щель. Чтобы охранники не увидели приготовления к побегу, входная яма была выкопана под нарами...

Когда над лагерем стали опускаться сумерки, в барак ворвалась группа эсэсовцев и увела часть женщин вместе с Чернышевой. В это время Лида пробила в щели верхний слой земли за стеной барака. Она вползла назад в барак и, узнав, что случилось, пришла в отчаяние.

— Людей увели на смерть,— коснулась ее плеча Божена Новотнова.— Беги одна, может, спасешь... Беги!

Чтобы отвлечь охранников от той стороны, где был сделан подкоп, заключенные стали барабанить в дверь. Никем не замеченная Лида выбралась из барака, стала ползком продвигаться к северной окраине лагеря. «Скорей бы до траншеи!» Наконец она добралась до нее и, спрыгнув на дно, пригнувшись, побежала к месту, где Зинаида заметила заросшую травой

канавку, которую пересекало проволочное заграждение. Издали доносились крики женщин. Их вталкивали в помещение бани, там была установлена газовая камера.

И эти крики обреченных на смерть подгоняли девушку, умножали ее силы.

На земле вблизи колючей проволоки было сыро и холодно. Лида ползла теперь параллельно заграждению, через которое проходило электричество. В ушах звучали слова Зинаиды: «Канавка проходит между второй и третьей сторожевыми будками, мы ее углубим лопатками и подползем под проволоку». Найдя канавку, девушка начала углублять ее. «Вдвоем с Чернышевой не было бы так тяжело вгрызаться в землю, чувствовать над своей спиной колючую, будто раскаленную проволоку!» Благополучно миновав заграждения, Лида очутилась в заросшей высокой травой ложбинке. «Сейчас беги до вершины холма. По ту сторону асфальтированная дорога. До нее!» Отчаянным броском девушка выбралась на холм. Еще минута-две, и она будет на той стороне его, вне поля зрения часовых, которые стояли на вышках. Но ее заметили. Послышались свист, пулеметная очередь, лай собак и шум заведенных мотоциклов. Лида бросилась вперед. «Побегу полем, но разве уйти от гончих псов, обученных рвать на куски живых людей!» Она стремительно сбежала с холма и вдруг увидела мчавшуюся по асфальтированному шоссе машину. «Эта машина идет в сторону города. Может быть, спасение?» Лида стала посреди дороги, подняла руки. Мгновение, яркие фары ослепили ее. Зашуршали шины, автомобиль, слегка задев Лиду крылом, свалил ее с ног.

— Почему вы, милая, на дороге, одна? Я вас ушиб? — услышала она английскую речь и почувствовала, как сильные руки подняли ее. Она раскрыла глаза и в ярком свете фар увидела большого человека в военной форме. Скуластое черное лицо улыбалось ей просто и ласково.

Она снова услышала лай собак и шум мотоциклов и, доверчиво прижимаясь лицом к широкой груди негра, прошептала:

— За мной погоня... из лагеря... Спасите!

Через минуту машина мчалась на предельной скорости. Водитель первым нарушил молчание:

— О каком лагере вы говорите? Я ремонтировал на базе свою машину и в этот город еду в первый раз.

— О концентрационном лагере Вальдгейм. Гитлеровцы продолжают убивать там женщин. Я оттуда!

Негр с удивлением смотрел на Лиду:

— Кто смеет это делать, когда штаб нашей армии почти рядом?! Генерал Ходжес, очевидно, не знает о лагере. Хотите, я отвезу вас прямо к нему. Я шофер его адъютанта...

4

В тот теплый вечер окна домов в городе были раскрыты, обильный электрический свет лился на узкие улицы, звучала веселая музыка. Шофер, разыскивая штаб, открыл дверцу автомобиля, повел его медленнее.

Лиде стало не по себе от пьяных возгласов, от прыгающих, извивающихся, квакающих звуков джазовой музыки. «Нет, они не знают о нас. Матушка Новотнова права».

Автомобиль остановился на просторной, освещенной прожекторами площади, у подъезда двухэтажного дома. Водитель открыл девушке дверцу и учтиво пригласил сойти.

На посту у подъезда стояли два солдата в новеньких касках, не получивших за войну ни одной царапины. Ноги — широко расставлены, карабины — прикладами в тротуар между ботинок с толстыми подошвами. Шофер поздоровался с часовыми и, повернув довольное лицо к Лиде, показал рукою на дверь. Девушка сделала было шаг, как вдруг отпрянула, спряталась за широкую спину негра. Из штаба вышел начальник лагеря с тремя эсэсовцами. Все они были в гражданской одежде. Не успела Лида прийти в себя, как эсэсовцы уселись в машину, дверца захлопнулась, и автомобиль умчался.

— Это палачи из лагеря! Они обманули ваших офицеров, догоните их! — просила Лида шофера. А он, большой, могучий, беспомощно бормотал:

— Я иегр, они белые, мне нельзя... Пойдемте к генералу.

Они вбежали по лестнице на второй этаж, приблизились к высоким дверям с табличкой, тиснутой золотом: «Командующий первой американской армией генерал Ходжес».

— Я подожду вас здесь,— сказал иегр извиняющимся тоном.

Лида постучала и, не дождавшись разрешения, открыла дверь.

— Кто вы? Почему без доклада?!

Сперва Лида увидела лоснящееся лицо и ордена — много орденов на груди. Затем заметила заплывшие глаза, брезгливо скользнувшие по ее худой фигуре, странной одежде и бледному, без кровинки, лицу.

— От вас только что вышел начальник лагеря Вальдгейм. Остановите его, он до рассвета уничтожит сотни людей.

Прерывистый голос Лиды звучал так горячо и взволнованно, что негр, впервые в жизни, позволил себе подслушать разговор начальника с белой женщиной.

— Интересно,— на лице генерала Ходжеса появилось выражение любопытства.— Вы бежали из концентрациоиного лагеря? Вы француженка?

— Нет, чешка... Бежала из лагеря, который находится в получасе езды от этого дома. Почему вы три дня не приходили, не спасали несчастных?

Генерал обошел стол. Лида только сейчас увидела на столе множество раскупоренных бутылок, фарфоровую посуду с остатками пищи — у Лиды от голода закружилась голова. Ходжес приблизился к ней, позванивая медалями и крестами. Не понимая, почему генерал ие торопится догнать начальника лагеря и его подручных, Лида воскликнула:

— Я правду говорю, отсюда только что вышли фашисты. Вы, видимо, не знали, что это начальник лагеря. Он собирается уничтожить тысячи заключенных,—

Она задыхалась, стараясь быстрее высказать все.— Я покажу вам лагерь, поедемте со мной!

Генерал нахмурился, и Лида подумала, что он возмущен. Девушке мерещилось, что она уже бежит за ним вниз, что они садятся в его быструю машину и почти у ворот лагеря догоняют начальника с его свитой... Вот американские солдаты раскрывают окованные железом двери бараков, какая радость на лице Божены Новотновой и всех женщин! Скорее, скорее в газовую камеру, спасти Чернышеву!..

— В серьезном деле спешка вредна,— голос Ходжеса окатил Лиду холодом.— Зайдите завтра, я подумаю, что можно для вас сделать.

— Завтра... для меня?! — Она вскрикнула, но тут же заставила себя говорить спокойно. «Надо разжалобить этого генерала, нельзя выходить из себя». Слезы выступили у нее на глазах.

— В лагере было шестнадцать тысяч женщин, за два года восемь тысяч замучили на работах, отравили, сожгли в топках. Вы понимаете, там старые женщины, матери. Их ждут дети в Польше, Чехии, в России. Умоляю вас, остановите палачей, спасите обреченных!

— Вы говорите — русские, поляки?..— произнес генерал с пренебрежительной миной.— Нет, милая, отсюда дальше на восток я не тронусь. Приказ! Мне запретило высшее командование. Там, где ваш лагерь, будет русская зона. Они заняли Берлин, нас не дожидаясь, так можете надеяться — они и к вам придут через несколько дней. Русские уже недалеко — всего в ста тридцати километрах.

Ходжес повернулся к большой карте на стене. Красная жирная линия окружала Берлин и шла через Лукенвальде на юг несколько восточнее Дрездена.

— Сто тридцать километров! А лагерь от вас в тридцати. Неужели позволите немцам убивать беззащитных?!

— Не могу,— бесстрастно повторил Ходжес и улыбнулся при этом так, как улыбался иногда на допросах следователь гестапо Фридрих.— Послушайте лучше радио. Я думаю, сейчас для вас будет интереснейшая передача.

Генерал подошел к столику у окна, включил приемник, повертел рычажок, и Лида услышала среди глухого шума голос родного города!

— Говорит Прага, говорит Прага! Волна 415. Чехи истекают кровью на баррикадах. Доблестные войска Соединенных Штатов Америки и Англии! Пришлите помощь, мы с надеждой и верой ждем вас.

Глаза девушки разгорелись.

— Вы оказали помощь Праге, да?! Тогда я понимаю вас... Поэтому вы не можете послать солдат к нам, в лагерь? Но в лагере теперь небольшая охрана — всего около ста солдат.

Генерал Ходжес перебил ее:

— Никому я не оказывал никакой помощи. Мой коллега, генерал Паттон, несколько дней тому назад занял Пльзень. Это, как вам известно, рядом с Прагой. Но и он не спешит. Немецкие войска сами сдаются нам в плен, незачем воевать с ними.

От бессильной злобы кровь прилила к лицу девушки. Слушая голос Праги, она не отрывала глаз от приемника, словно на его блестящей поверхности видела баррикады, близких ей людей, идущих с ножами на фашистские танки.

Вдруг Лида на верхней крышке приемника заметила желтый кожаный дамский несессер. Она содрогнулась: «Начальник лагеря хвалился, что только в Вальдгейме умеют делать такие... Это он преподнес американцу несессер, сделанный из кожи отравленных женщин!

— Вы знаете,— задыхаясь, сказала она, показывая на несессер,— это сделано из человеческой кожи!

Заплывшие глаза Ходжеса смеялись — смеялись нагло.

Лида поняла, что американец знает все, издевается над ней, что от него помощи ждать нельзя.

Она кинулась к двери.

Спускаясь по лестнице, она услышала позади себя робкий голос негра:

— Не отчаивайтесь... Моя машина промчит сто тридцать километров за полтора часа.

СГОВОР

1

Призыв к оружию прозвучал из радиоцентра утром 5 мая, а к полудню Прага превратилась в поле боя.

Орудия и минометы нацистов, поставленные на горе возле башни Петржин, били по центру города. Уханье пушек чередовалось с пулеметной дробью, сухим треском ружейных выстрелов. Но подавить начатое восстание было уже невозможно. Десятки тысяч чехов появились на центральных улицах и на улицах промышленных районов. У некоторых были отнятые у фашистов автоматы, карабины, другие восставшие вооружились пистолетами, охотничьими ружьями, музейными саблями и пиками.

В ночь на 6 мая восставшие разворотили мостовые Праги, опрокинули сотни трамваев и автомобилей, загородили перекрестки улиц и мосты деревьями, рулонами бумаги, камнями, воздвигнули свыше двух тысяч баррикад. Большинство заводов и фабрик, все мосты через Влтаву, электростанция, водонапорная башня и центральная телефонная станция были захвачены чехами. Они удерживали в своих руках и пражскую радиостанцию.

С утра 6 мая к Праге форсированным маршем подошли танковая дивизия, артиллерийские, пехотные и саперные части немцев. Пехота при поддержке танков, артиллерии и авиации стала брать баррикаду за баррикадой.

С каждым часом чехи сопротивлялись упорней, и гитлеровцы вовсе озверели. В районе Жижкова они выкололи глаза заложникам, в районе Панкрац выгнали из подвалов детей, женщин, давили их танками. Тысячи чехов были убиты и ранены. Но восставшие не сдавались.

На Тройском мосту, связывающем левобережные районы северной окраины с правобережными промышленными районами, защитники баррикады состояли преимущественно из рабочих Колбенки. На стенке опрокинутого трамвая комендант баррикады Ярослав

Копта написал: «Даже через наши трупы врагу не пройти!»

Влтава угрюмо несла свои воды на север.

Как и в первые часы восстания, радиостанция продолжала передавать суровую, зовущую к бою симфоническую поэму Бедржиха Сметаны «Моя родина». Дикторы обращались к английским и американским войскам с просьбой сбросить восставшим оружие и боеприпасы, прислать на помощь самолеты и танки. Обращения на английском языке звучали все чаще и тревожнее.

— К черту! — зло выругался Зденек Червинка, только что доставивший партию самодельных гранат.— Не дождаться нам от американцев помощи.

Копта нервно теребил седые усы и спрашивал Вонасека:

— Не понимаю, почему не обращаются к русским? Это же наша единственная надежда.

— Коммунисты после боев за радиоцентр,— ответил формовщик,— ушли на баррикады, и к микрофонам дорвались национальные «социалисты», эти политиканы. Они запретили дикторам обращаться к Красной Армии. Вот продажные души! Но сегодня Ладислав снова будет в радиоцентре, он даст знать русским о нас. Они будут здесь, скоро будут!

— Откуда, Франтишек, у тебя такая уверенность? — скептически заметил сталевар Вацлав Олива, засовывая в карманы брезентового плаща гранаты.— Русские в трехстах километрах от Праги, на их пути миллионы эсэсовцев Шернера, цепь Рудных гор, сто пятьдесят километров извилистых и узких горных дорог. Я хотел бы верить, что русские могут пройти, но чудес, к сожалению, не бывает...

— Бывают, Вацлав!

Вонасек сидел на борту опрокинутого грузовика. Другой борт прикрывал его от дождя. Рядом с формовщиком примостился Вацлав Олива. Он, как и другие защитники баррикады, подсевшие к Вонасеку, знал, что тот в сорок четвертом году участвовал в словацком восстании и только возвратился из освобожденной Красной Армией Остравы.

Поэтому рассказ Вонасека вызывал у всех большой интерес.

— Вы знаете, соудрузи, что словацкое восстание началось двадцать девятого августа прошлого года. Через освобожденную радиостанцию в Банской Бистрице Коммунистическая партия призвала словаков к оружию. К двадцати шести тысячам партизан присоединились сорок пять тысяч добровольцев-словаков и несколько тысяч чехов. Они, как и мой партизанский отряд из Остравы, прибыли в горы Словакин в первые же дни восстания. Берлин направил против восставшего словацкого народа восемь дивизий «СС». Они окружили нас в горах. Бились мы отчаянно, тысячи гитлеровцев полегли в горах. Но и наши силы иссякли. И в самый трудный для словацкого народа час к нашим границам подошли наступавшие с востока советские войска. Кто мог подумать, что можно взять неприступный перевал Дуклы? Ннкто! А Красная Армия овладела им и начала освобождать территорию нашей республики. Красная Армия спасла от разгрома словацкий народ, она на моих глазах спасла от разрушения Моравскую Остраву. Она спасет, соудруг Олива, и нашу Прагу.

На западном берегу послышался гул машин. Два танка, а за ннми цепь пехоты приближались к мосту. Защитннки баррикады начали отражать очередную вражескую атаку.

2

В загородной вилле под Пльзенем, в приемной командующего 3-й американской армией генерала Паттона, ожидали вызова командиры 16-й и 4-й танковых, 1-й н 2-й, 90-й и 97-й пехотных дивизий. Через раскрытое в сад окно веяло прохладой, запах цветущих яблонь и сирени наполнял большую комнату. В мягких плюшевых креслах сидели генералы, курнли и вели неторопливую беседу. Самый разговорчивый генерал Эндрьюз хвастливо уверял, что у него за всю европейскую кампанию потерн были только от автомо-

бильных катастроф, происходивших в результате пьянок. Генерал Пирс, непрерывно посасывая разжеванный конец толстой сигары, насилу дождался конца разглагольствования своего коллеги, чтобы рассказать, как в южной Германии и Чехословакии его войско так перегрузило танки, что в них даже водителям невозможно было поместиться.

— Чем нагрузили? — спросил Эндрьюз.

— Всякой всячиной,— ответил под общий смех Пирс,— начиная с дорогих фотоаппаратов, домашних вещей и кончая дешевыми немками.

Высокий моложавый Робертсон не принимал участия в общей беседе. Он шагал по приемной, то и дело останавливаясь у окна, и глядел на белоснежные кроны деревьев.

— Что с вами? — обратился к нему генерал Хог.— Вы в этой Чехии чем-то недовольны?

— А чем здесь будешь довольным? Неделя проходит, как лучшая армия Соединенных Штатов, армия выдающегося генерала Паттона, торчит в бездействии, ничего не предпринимая против группировки генерал-фельдмаршала Шернера. Мы же с вами слышали, на что Шернер идет — приказал подавить танками, авиацией и артиллерией восстание в Праге. Неужто еще сегодня, 7 мая, мы боимся его войск?

— Какие войска?! Против нас он никого сейчас не оставил,— усмехнулся Хог.— Шернер держит всю свою группировку на севере, востоке и юго-востоке Чехословакии, всю против русских. После вчерашнего марша я в этом убедился совершенно.

Сделал паузу и, уловив напряженное внимание генералов, с удовольствием продолжал:

— Вчера я с разрешения командующего послал три танка к Праге. За шесть часов они промчались туда и обратно, не сделав ни одного выстрела и не встретив никакого сопротивления. На окраине Праги мои танкисты наткнулись на одну из баррикад, сфотографировали смешно и убого вооруженных чехов и вернулись. Хотите посмотреть?

Из рук в руки переходили фотографии, на которых четко была видна группа восставших с охотничьими

ружьями и самодельными гранатами за поясами. Лица их были хмуры и усталы. Взглянув через плечо Эндрьюза, генерал Робертсон увидел опрокинутые вагоны, сваленные столбы, а рядом с баррикадой объятые дымом пожарищ здания.

— И вы господа, считаете смешным, когда три наших танка подходят к несчастному городу и не оказывают ни малейшей помощи людям хотя бы этой баррикады?

— Напрасно волнуетесь, Робертсон,— отозвался Эндрьюз.— Во-первых, эти баррикады понастроили бунтовщики, коммунисты. Неужели вы думаете, что прославленная армия генерала Паттона пойдет выручать уличный сброд? Пусть Франк и Шернер расправляются с ними...— Он затянулся сигарой и, улыбаясь, продолжал: — Во-вторых, есть демаркационная линия, которую мы не можем переходить. Это обусловлено русскими.

— Извините, Эндрьюз, но я тоже знаю директиву нашего главнокомандующего. Она гласит буквально следующее: «Что касается территориальных вопросов, связанных со смыканием Восточного и Западного фронтов, то я не считаю целесообразным ограничивать наши операции какой-либо демаркационной линией. На обоих фронтах должна существовать полная возможность наступления до тех пор, пока они не сомкнутся». Я не знаю, что русские хотят и предпринимают на своих фронтах в Чехословакии, зато мне достоверно известно письмо генерала Эйзенхауэра русским. Не далее, как четвертого мая, он писал, что американские войска готовы продвигаться в Чехословакии, если этого потребует обстановка, до линии рек Влтава и Эльба, чтобы очистить западные берега этих рек. Так что, господа, если уж на откровенность, то наша бездеятельность в эти дни после начала восстания в Праге имеет далеко не военные причины, а политические, причем весьма и весьма туманные, возможно, даже нечистоплотные.

Грузный, малоповоротливый Хог повернул голову к Робертсону и лениво проговорил:

— Вы излишне любопытны и щепетильны, это вре-

дит карьере. Вы забыли, что есть стратегия банков, она для нашей армии является законом. Штаты умеют делать бизнес и на войне!

Хога подмывало рассказать генералам об участии его танка в особо секретной вчерашней поездке. Высшие американские офицеры на джипах, в сопровождении его танка, добрались до курорта Велиховки, где находился штаб немецкой группы войск «Центр», и встретились с фельдмаршалом Шернером. Конечно же, они договорились, как обвести вокруг пальца неотесанных русских союзников да этих сумасбродных чехов, которые вздумали спрятаться за баррикадами от миллионной немецкой армии фельдмаршала Шернера. Еще скажет свое слово эта армия, скажет!.. «Рассказать? — спросил себя Хог, глядя на Робертсона.— Нет. Таким, как Робертсон, нельзя раскрывать государственных секретов».

Из кабинета командующего вышел адъютант, молодой, но уже со многими орденами офицер, любимец Паттона. Эндрьюз подошел к нему:

— Скоро ли этот чех освободит командующего? Сорок минут ждем!

— Придется повременить,— адъютант держался с генералом на равной ноге и, чтобы показать свою осведомленность, добавил: — Генерал Паттон обсуждает с чехом большие государственные проблемы. Президент Бенеш и его министры из бывшего чешского правительства в Лондоне, интересы которых и представляет приехавший чех, прежде считали, что Чехословакию должны занять наши войска. Но сейчас обстановка изменилась, и чех оказался настолько дальновидным, что сам попросил командующего повременить с наступлением на восставшую Прагу. Он не лишен остроумия, этот чех. «Американскому командованию,— сказал он только что генералу,— выгодней, чтобы Франк и Шернер разбили коммунистические силы, поднявшие восстание, и сдерживали как можно более продолжительное время натиск русских фронтов. Тогда в Праге будет создано правительство без коммунистов, правительство, глубоко понимающее интересы деловых кругов США. Причем создание такого

правительства произойдет без открытого участия Соединенных Штатов, что с точки зрения вашей дипломатии весьма и весьма важно...»

— Что же ответил ему генерал Паттон? — продолжал любопытствовать Эндрьюз.

— Горячо пожал чеху руку и сказал, что он желал бы видеть в чешском правительстве таких дальновидных людей, как его собеседник.

Эндрьюз рассмеялся и поманил пальцем Робертсона:

— Вот вам ответ на все ваши сомнения: одни чехи воюют на баррикадах и требуют от нас оружия и боеприпасов, другие просят подождать, пока немцы не раздавят в Праге их политических противников. Как видите, генерал, имеются чехи, которых вполне устраивает наша стратегия.

3

Карел Фучик, сильно хромая, шел по улицам Пльзеня, по направлению к заводу. В руке он держал кошелку, из которой выглядывали кисти свежей сирени. Выйдя на окраину, откуда открывался вид на Шкодовку, Карел остановился, поставил кошелку у ног, смотрел на разрушенные корпуса родного завода. У него было такое чувство, будто он стоит на кладбище, где похоронены близкие ему люди. «Зачем они это сделали? Почему все годы, пока оккупанты производили на заводе танки и орудия, направляемые против России, ни одна бомба не упала на цеха? Почему же в самом конце войны, когда фашистам уже не нужен был завод, американцам понадобилось превратить его в руины?» Мысли о безнаказанно содеянном преступлении будто кислотой растравляли мозг старого Фучика.

Двадцать пятого апреля, в 9 часов 30 минут, из туманной дымки на западном горизонте вынырнули эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. Они держали курс на завод. Когда первые их звенья оказались над корпусами Шкодовки, от самолетов стали отде-

ляться серебряные сигарообразные капли. Раскаты бомбовых разрывов потрясли город, в нескольких местах к небу потянулись гигантские столбы дыма. Карел Фучик прибежал домой, чтобы помочь жене спуститься в бомбоубежище. Мария отказалась идти в погреб: «Жизнь мне не нужна, Карел. Чего мне больше бояться, если нет моего Юленьки!»

Несколько часов длился дикий, совершенно бесцельный, с точки зрения военной необходимости, налет американских четырехмоторных бомбардировщиков на Шкодовку. Тысячи фугасных, зажигательных бомб обрушили пятьсот самолетов на гордость чехословацкой индустрии. И мертвой лежала теперь Шкодовка перед Карелом Фучиком. Больше не дымили ее трубы, не гудели станки. Третья часть заводских корпусов была сравнена с землей, остальные цеха повреждены. «Сколько лет потребуется народу, чтобы восстановить одну только Шкодовку? — думал Карел.— И кто вернет семьям сотни убитых, сгоревших во время бомбардировки людей?»

Держась за руки и хохоча, прямо на Карела Фучика шли трое американских офицеров. Они вели себя вызывающе. Самодовольные, нахальные, упитанные, они двигались по его Пльзеню, словно были хозяевами Чехии. С гневом смотрел на них старик.

Минут через десять Карел входил в комнату Войты Павлатова. Кузнец ждал его.

— Благополучно?

— Конечно. Или ты все еще сомневаешься в старом товарище?..

— Я вижу, ты занялся цветочками...

— Такие подарки, да еще для моих земляков-пражан, надо преподносить только с букетами...

С этими словами Карел вынул из кошелки сирень. Под ней лежали шесть пистолетов, четыре пачки патронов, две ручные гранаты.

— Ты не стареешь, Карел, честное слово! — воскликнул кузнец.— Наши рабочие обратились к американцам с просьбой дать им оружие, чтобы пойти на помощь Праге. Генералы отказали, да еще и пригрозили. Пусть! Рабочие Пльзеня сами достают оружие.

Сегодня ночью отряд добровольцев отправляется в Прагу.

— Взяли бы меня с собой, Войта!

— Что ты, Карел! Для этого имеются здоровые и молодые. Ты и здесь, в Пльзене, делаешь сверх возможного. Я расскажу об этом Пексе... Сможешь к вечеру доставить мне еще немного гранат? Они очень пригодятся против танков.

— Доставлю тебе не только гранаты, но и фаустпатроны.

— Откуда они возьмутся?

— Соукуп старается. Фашисты на свою баранью голову научили чешских стражников обращаться с фаустами... Ну, согласен. Меня, положим, ты не можешь с собой взять — инвалид. А Соукупа?! Я прошу. Хватит его считать полицейским, он давно человек.

— Это надо обдумать.

— Когда думать? Некогда думать! Бери его. Он просится, настаивает, ругается, и прав. Он в Прагу грузовик фаустов доставит да научит наших пользоваться ими. Берешь?

— Ладно, пусть приходит в полночь. Ты же знаешь место сбора.

— Знаю,— и Карел, не прощаясь, отправился выполнять еще одно задание партии.

Он шел наиболее коротким путем, чтобы успеть до вечера покормить жену и достать боевикам гранаты.

На углу шумного, не тронутого бомбами проспекта он замедлил шаг. Цепь солдат загородила подходы к роскошному четырехэтажному зданию с американскими флагами на балконах. Прохожих прогоняли в переулок. Карел решил не уходить от угла. Ему хотелось увидеть виновников разрушения завода, увидеть тех, кто отказывается помочь истекавшей кровью Праге. Когда к нему подошел американский солдат и велел удалиться, старик, показывая свой протез, жестами дал понять, что он сильно устал и идти не может. Не усмотрев ничего опасного в том, что инвалид стоит за углом, солдат отошел.

Из подъехавших к дому автомобилей вышли военные и застыли в ожидании. Адъютант раскрыл дверцы

средней машины, и из нее сошли на тротуар командующий 3-й американской армией генерал Паттон, в парадном мундире, а за ним высокий человек в темном штатском костюме. Карел Фучик мог поклясться, что он знает эту фигуру, это полное, круглое улыбающееся лицо. «Нет, разве возможно?» — подумал он. Но сомнений не было. В штатском Карел узнал адвоката Люмира Новотного.

«Так вот куда привела тебя твоя дорога!» — прошептал старик, с отвращением глядя на подобострастную улыбку Люмира Новотного.

В ТЕСНИНАХ РУДНЫХ ГОР

1

К началу пражского восстания создалась своеобразная военно-политическая обстановка. К тому времени, как советские войска овладели Берлином, в Западной Европе гитлеровские войска прекратили сопротивление на всех участках фронта и поспешно сдавались в плен американцам и англичанам. По-иному вели себя уцелевшие немецко-фашистские армии на советско-германском фронте. Группа армий «Центр» намеревалась удержать как можно дольше западную и центральную Чехословакию, задушить ее революционные силы, разрушить Прагу и другие промышленные районы страны, а затем, по договоренности с американцами, капитулировать перед армией США, передав ей отлично вооруженные, пригодные для любых провокаций войска численностью в миллион человек.

Командующий группой «Центр» генерал-фельдмаршал Шернер был в эти дни назначен главнокомандующим сухопутными силами Германии, чем подчеркивалась его роль и особенное значение оставшихся под его рукой немецких армий. В Чехословакии под командованием Шернера было пятьдесят четыре полнокровные дивизии и восемь боевых групп, сформированных из бывших дивизий. Эти внушительные силы, упорно сопротивляясь войскам Первого, Второго

и Четвертого Украинских фронтов, точно выполняли директиву нового немецкого правительства гросс-адмирала Деница: всеми средствами продолжать борьбу на Восточном фронте, одновременно идя на капитуляцию перед противником на Западе.

Военное командование американских и английских вооруженных сил, правящие круги США и Англии были осведомлены об этих намерениях немцев и всячески помогали их осуществить.

Казалось, нет средств помешать Франку и Шернеру выполнить далеко идущие планы, чреватые серьезными опасностями для свободы народов. Войска фронтов Второго и Четвертого Украинских, только что взявшие Брно и Остраву, были, по мнению западных военных специалистов, обескровлены и измотаны непрерывным зимним и весенним наступлением и все еще находились в сотнях километров от Праги. Еще дальше, в 350 километрах, стояли после тяжелых боев за Берлин войска Первого Украинского фронта. Но эти фронты — Первый, Второй и Четвертый Украинские — на ряде участков соприкасались с группировкой фельдмаршала Шернера, и им было приказано окружить, уничтожить последние немецко-фашистские войска, завершить освобождение Чехословакии, спасти Прагу.

Советским танкистам предстояло самое трудное в этой операции. На их пути от Берлина в Чехословакию находились отборные фашистские дивизии, цепь высоких труднопроходимых Рудных гор с крутыми подъемами и спусками, узкими лесными дорогами, бурными весенними разлившимися реками. Если на таком сложном рельефе местности и вовсе не было бы противника, и то потребовалось бы много дней, чтобы тысячи танков, орудий, минометов, автомашин прошли через гранитные теснины и горные перевалы. А тут за каждым поворотом дороги стоял враг, и, к тому же, Советское командование исчисляло время похода не неделями, а минимумом дней, требуя при этом решающей победы.

Уральский добровольческий танковый корпус шел на крайнем правом фланге и, как это было почти во

всех операциях с его участием, двигался в авангарде других частей. В целях маскировки марш совершали ночами. За первую ночь прошли более ста километров, во вторую, с 5 на 6 мая, переправились через Эльбу и на рассвете обрушились на вражескую оборону.

Внезапное появление с севера нескольких тысяч танков, самолетов и орудий, быстрый прорыв общевойсковыми и танковыми армиями обороны войск Шернера на ряде участков, последовавший за этим 7 мая мощный удар Второго Украинского фронта с юго-востока и Четвертого Украинского — с востока от Праги,— заставили Франка и Шернера внести поправки в сроки осуществления своих замыслов. Сметенные на севере, немецкие дивизии стали форсированным маршем отходить к перевалам Рудных гор и Судет, чтобы всеми силами обрушиться на восставшую Прагу и по ровному широкому асфальту Прага — Пльзень уйти под покровительство американских войск.

Отступающие фашистские войска отчаянно цеплялись за узлы обороны, готовились взрывать мосты, как только их части переправятся через реки и ущелья. Они пытались раньше, чем преследующие их армии Первого Украинского фронта, выйти к горным перевалам. Советское командование разгадало тактику противника. Врезавшись двумя таранами в тело немецкой группировки, танкисты старались пробить ее насквозь и, опережая отходящих немцев, первыми достичь Праги.

На самом остром и решающем участке, в районе Дрезден — Фрейберг, Красная Армия вела параллельное преследование.

2

После того как Уральский добровольческий танковый корпус пересек автостраду Дрезден — Лейпциг, танкисты двигались без отдыха. Спали в ночь не больше трех часов, часто на ходу. Командирам машин и механикам-водителям и столько сна не выпадало. Бойцы осунулись, кожа рук и лиц стала походить на цвет танковой брони.

Все труднее становилось головной роте старшего лейтенанта Зарубина. За городом Фрейберг началась резко пересеченная местность. Подъемы и спуски чередовались через каждые два-три километра, на поворотах дороги то и дело встречались минные ловушки, каменные и лесные завалы, засады немцев с орудиями и фауст-патронами. Рота Зарубина, потерявшая в наступлении на Берлин половину новых танков, лишилась в горах еще двух машин и превратилась фактически во взвод разведки.

На третьи сутки наступления танки приблизились к одному из перевалов через Рудные горы. Ориентируясь по карте, Зарубин искал более прямой к перевалу путь. Вот город Циннвальд, левее — Альтенберг, последние немецкие города. Их надо обойти, там, безусловно, сильные вражеские засады, а командир корпуса уже сколько раз требовал: «Минимум боев, максимум движения!» Южнее, через несколько клеток стотысячной карты, Зарубин читает первые славянские названия — Дуби, Бьеганки, Бистрице. Он машет рукой Руднову, чтобы тот позвал Новотного. Милош пробирается от боеукладки к командиру и видит родные и знакомые названия на карте, куда тычет пальцем Зарубин.

— Чехословакия?

— Да, туварищ старший лейтенант! — воскликнул Милош, чтобы в гуле движущейся машины офицер услышал, почувствовал его ликование.

Укладывая карту в планшет, Зарубин через трубку переговорного устройства скомандовал механику-водителю Юрию Белых:

— Сворачивай на дорогу, вправо, скоро Чехословакия,— с ветерком!

— Есть, товарищ старший лейтенант,— ответил Белых, разворачивая машину на перекрестке.

Начался подъем. Механик постепенно набирал скорость, и танк мчал по шоссе в гору «с ветерком», как любил выражаться Зарубин. «Скоро увижу мост. Если немцы,— пробиться надо». Вдруг что-то подозрительно черное мелькнуло впереди и прервало думы Зарубина. «Стоп!» Услышав команду, Белых что было

сил потянул на себя оба рычага. От резкого торможения танк задрожал, танкистов кинуло вперед.

Передние звенья гусениц висели над обрывом. Танк стоял перед пропастью. Внизу шумела горная река. Выскочивший из машины Зарубин увидел торчащие на краю обрыва искалеченные железные фермы, раскрошенные глыбы асфальта, перевернутые пласты влажной земли.

— Мост взорвали не больше часа назад,— сказал Зарубин высунувшемуся из люка механику-водителю.— Давай задний, и в лесок!

Белых включил задний ход, отвел машину метров на пять от обрыва, развернул ее и съехал с дороги в редкий клочок леса. Сюда свернули еще два танка разведки и шедшая вслед за ними крытая автомашина батальона связи с радиостанцией. Зарубин направился по узкому шоссе назад искать пологий спуск-проход на параллельную дорогу к перевалам и, возвратившись, увидел запыленную маленькую легковушку командира корпуса, его высокую, немного сутулую фигуру возле машины.

— Короче. Нашел? — лаконично спросил генерал, когда Зарубин начал говорить ему о взорванном мосте.

— Одно только место есть, товарищ генерал,— Зарубин показал на карте.— Вот здесь. Грунт подходящий, а спуск градусов 40—42. Круча, но...

— Что, но?

— Думаю, что лучшие механики сумеют спустить машины.

— Поедем, посмотрим. Горючее?

— Надо заправиться.

— Пока мы ездить будем, заправщик подойдет. Скажи, чтобы осмотрели машины, приготовили бачки для горючего. Пусть берут с запасом, до Праги. Говорят, чех ранен?

— Слегка, товарищ генерал. Просил оставить в строю.

— Просил? Зови!

К генералу бежал Милош. Приблизившись, он пошел строевым шагом, но перевязанная негнущаяся

шея не давала по-настоящему выпрямиться. На чумазом, осунувшемся лице и во взгляде светлых глаз было и удовлетворение, что генерал вспомнил о нем, и беспокойство: «Зачем?» После первой встречи Милош видел генерала всего один раз. 4 мая тот вручал награды танкистам и ему вручил красную коробочку с медалью «За боевые заслуги» и книжечку к ней, тоже красную, с Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза. Так же, как всем, генерал сказал Милошу одну фразу поздравления, а Милош ждал большего и думал тогда: «Устал? Или забыл наш первый разговор?»

— Здравствуй, гвардии рядовой Новотны! — генерал сделал шаг навстречу, не дал Милошу докладывать и, взяв его руку, не отпустил.— Может, в медсанбат все-таки отправить, а?

Милош отчаянно завертел головой:

— Пужальста, туварищ генерал, не нада! Крушни горы,— назвал он чешским названием перевал, показывая левой рукой вдаль,— чешски край!

— Ну-ну, не волнуйся, воюй,— генерал стиснул руку Милоша и отпустил ее.— Ты мне говорил о Вальдгейме. Американский солдат-негр доставил вчера бежавшую оттуда заключенную. Мы были километрах в шестидесяти восточнее лагеря, но я послал роту броневичков с одной самоходкой, думаю, хватит...

Милош еле сдержался, чтобы не перебить генерала. Но тот понимал его состояние, знал, чего он больше всего жаждет услышать.

— Твоя мать жива. Девушка мне об этом сказала. Сейчас, наверно, уже свободна. Возвратятся броневички, и я тебе расскажу, как все там произошло.

— Декун, туварищ генерал!

— Иди, Новотны, в машину к радистам, скажи я велел настроить станцию на волну 415. Переведи, что услышишь, и расскажи всем танкистам.

Сказав это, генерал поспешил с Зарубиным посмотреть место для спуска танков. Милош направился к радистам, в их крытую машину. «415! Это волна пражской радиостанции!» — думал Милош, пока радист настраивал приемник, пробиваясь сквозь помехи. Эти

помехи, этот шум н визг в эфнре былн для Мнлоша, как ржавая колючая проволока, сквозь которую он пролезал на дороге от Остравы на север.— «Генерал назвал волну такнм тоном, словно он знает что-то нехорошее, он ведь тоже любнт Прагу».

Радист, наконец, поймал волну 415, дал Мнлошу наушннкн. В ннх он отчетлнво услышал голос Прагн. Передача на чешском языке законччлась, н в эфнр был послан волнующнй прнзыв на русском языке.

— Вннманне, говорнт Прага! Слушай нас, Москва. Слушайте, вонны Красной Армнн! Прага восстала. На улнцах на баррнкадах мы ведем тяжелые бон с фашнстскнмн танкамн. У нас мало оружня, на нсходе боепрнпасы. Немцы разрушают город, гусеннцами танков давят мнрных жнтелей. Мы сражаемся нз последннх снл. Русскне братья, помогнте Праге!

3

За спуском танков Зарубнна следнл генерал. Саперы, посланные нм через лес на параллельную дорогу, доложнли, что мост через реку там еще цел, охраняется уснленной немецкой охраной и по всем прнзнакам подготовлен к взрыву. Было ясно, что по той дороге к перевалу движутся немецкне частн. Надо было вклиннться в момент разрыва нх колонн, захватнть мост, не дать взорвать его. Объясняя это танкнстам, генерал не скрывал сложной обстановкн, в которой оказался корпус.

— Повернуть все машнны назад по этнм теснинам, нскать обход на севере — значнт, потерять суткн. Вы знаете приказ. Вы слышали, что творнтся в Праге. Лететь туда нужно, а не ползтн назад! Захват моста поручаю вам, Зарубнн, с тремя экнпажамн. Двнгаться, как только спустнтесь вннз. Еслн за вамн по шоссе пойдут немцы, другне нашн танкн успеют нм ударнть в спнну. Товарнщ гварднн майор! — обратнлся генерал к командиру батальона.— Выделнте Зарубнну лучшнх десантннков!

Первым спускал машину Белых. Он повернул ствол орудия в обратную к движению сторону, включил мотор, поставил первую скорость, и танк тронулся. Экипажа в нем не было. Белых через раскрытый люк видел, как лес на вершинах гор несколько секунд равномерно приближался, потом вдруг начал падать на него... Танк сильно склонился на гребне спуска. Заскрежетали передние звенья гусениц, уцепившись за камень. Белых тормозил, но тяжелая машина тянула вправо, где спуск был еще более крутым. «Только бы не опрокинулась!» — дрожала мысль у всех стоящих на шоссе и особенно у Зарубина, ожидающего танк внизу. «Влево, Юра, влево!» — кричал он, взбежав ближе к танку и показывая руками.

Машина сделала крен вправо. Еще секунда, и она опрокинется на борт. Но Белых сам чувствовал опасность и, увидев, куда показывал командир, сумел вовремя повернуть танк. Правая гусеница опять вгрызлась в грунт — опасность миновала.

Белых поднялся на кручу, чтобы помочь спустить вниз второй танк, механик-водитель которого был ранен, но продолжал управлять машиной. В это время раненого заметил командир батальона:

— Ты зачем мне госпиталь устраиваешь, Зарубин! — ругался маленький черноглазый комбат.— Ну, у Новотного шею царапнуло, он еще заряжать может, а этот!.. Кем заменишь?

— Рудновым.

— Справитесь? — допытывался комбат, подозвав Александра Руднова.— Поняли, почему генерал так рассчитывает на эти три танка?

— Понял, справлюсь, товарищ майор.

Александру Руднову уже приходилось в боях сменять вышедших из строя механиков-водителей. Во время боевой учебы на Урале и под Москвой он ходил с механиками на танкодром, учился преодолевать сложные препятствия. Всегда был готов коммунист Руднов заменить любого члена экипажа, вплоть до командира танка, и офицеры ценили его готовность.

— Действуйте! — согласился комбат и побежал организовать спуск остальных танков батальона.

4

На северном крыле моста через реку стоял с автоматом на ремне флегматичный немец и равнодушно слушал гул танков, приближающихся к последнему повороту шоссе на подходе к мосту. Уверенность, что это движутся свои машины, не покинула его даже в момент появления перед его взором двух танков. Ноги у солдата оставались широко расставленными, спина касалась перил, он зевал, покачивая головой. Только когда он увидел прижавшихся к башне десантников с автоматами наготове, его спина оторвалась от перил, и река услышала крик и стон:

— Русские танки!

По мосту замелькали мундиры лягушачьего цвета. В верхнем раскрытом окне двухэтажного белого дома, возвышающегося на другом берегу, справа от моста, показался офицер. Сквозь нарастающий шум танковых моторов он не мог услышать возгласов, но увидел забегавших на мосту охранников. На серой полоске шоссе, которую он охватывал взором, показался танк. «Чей? Радио только что передало, что движение русских приостановилось, они застряли в теснинах, из которых авиация не даст выйти. Так чей же танк?»

То был танк, управляемый Юрием Белых. Он вел машину на пятой передаче. Ему казалось, что мост расширяющейся пастью втягивает его в себя, а Зарубин все торопил: «Больше газа! Больше!»

Навстречу от реки несся острый ветер. Он распахнул у Зарубина края расстегнутого шлема, сорвал с асфальта пыль, вихрем покрутил ее вокруг ствола орудия и кинул в глаза офицера, в глаза десантников, согнувшихся у бортов. Саперы приготовились приземлиться первыми. «Удастся ли благополучно спрыгнуть на такой скорости? Успеют ли перерезать провода?»

Машина выскочила на мост. Зарубин крикнул десантникам:

— Прыгай!

Один за другим с брони слетели двенадцать солдат.

Зарубин заметнл, как маленькнй сапер не удержался, перевернулся волчком через голову, но тут же вскочил на ногн, броснлся к перилам. Автоматчики, оторвавшнеся от танка на несколько секунд позднее саперов, кинулнсь на ошеломленных немцев. Этого Зарубин уже не вндел. Все его вннманне было прнковано к противоположному берегу, к белому двухэтажному дому, откуда, по предположенню саперов-разведчнков, немцам всего удобнее было вестн наблюденне н произвестн взрыв моста. Зарубнн скрылся в люке башни, скомандовал Новотному:

— Осколочным!

Чувство слнтностн с экнпажем владело Мнлошем. Он поднял снаряд, направнл его в казенннк н резким двнженнем рукн подал вперед. Щелкнулн лапки выбрасывателей, затвор закрылся.

Немецкому офицеру через раскрытое окно дома хорошо стал вндеи танк на мосту и прыгающие с него десантникн. Сомнений, чья эта машина, уже не было. Офицер отскочнл от окна, ладонью левой рукн прижал кинзу стоящую на столнке металлнческую подрывную машинку, пальцамн правой схватнлся за ручку, торчащую сверху черного ящнка. Но повернуть ручку он не успел. Что-то сильно встряхнуло здание, н немца взрывной волной откннуло в глубнну комнаты. В дом попал снаряд, пущенный Зарубиным. Офицер отделался ушнбом. Через минуту он опять был у подрывной машннки, крутнул ручку, кннулся к окну... Взрыва не было: саперы успелн ножницамн перерезать провода, проведенные под мостом к толовым зарядам. Над головамн саперов стучалн, звенелн, подпрыгнвали по железным плитам гусеницы замыкающего танка. В этот шум ворвалась пулеметная стрельба из белого дома. Офицер с яростью подгонял растерявшнхся солдат:

— Всем к мосту! Расстреляю, еслн не восстановнте цепь!

Ветер уноснл от рекн на север клочья черного дыма н сннне полоски пороховых газов. Горная река, встревоженная громовым раскатом орудий, казалось, потекла еще быстрее. С возвышенностн южнее моста

немецкая батарея открыла огонь по танкам, проскочившим мост.

Сообщив по радио комбату об успешном начале боя и услышав в ответ, что танки батальона идут на поддержку, Зарубин решил двумя машинами атаковать и подавить немецкую батарею, которая могла помешать подойти к мосту танкам батальона. Командиру замыкающей машины, которую вел Александр Руднов, Зарубин приказал маневрировать поблизости к мосту, поддерживать пушечным и пулеметным огнем своих автоматчиков, не дать немцам вторично подготовить взрыв. Только успел командир танка ответить по радио ротному, что приказ будет выполнен, как немецкие пушки с возвышенности пристрелялись к замыкающему танку. Снаряд пробил кормовую часть машины, загорелись топливные баки, пламя охватило трансмиссионное отделение.

Почувствовав позади себя запах гари, командир машины приказал Александру Руднову остановить танк и оставаться на своем месте, а другим членам экипажа потушить пожар. Они выскочили, стали поливать пламя струями жидкости огнетушителей, но красные языки уже проникли через поврежденную снарядом перегородку между трансмиссией и двигателем. Александр попробовал последнее средство: с помощью вентилятора сбить огонь струей воздуха. Не трогая машину с места, он дал мотору наивысшие обороты, но огонь не утихал, а полз во все углы, тянулся к ящикам с боеприпасами.

Молодой лейтенант, командир экипажа, посмотрев в бинокль в сторону моста, растерялся. Из тридцати шести десантников в живых осталось не более полутора десятка человек. В бинокле было хорошо видно, как саперы и автоматчики отползают, таща за собой раненых. Горстку добровольцев теснили до сотни немецких солдат, ползущих с двух сторон по насыпи, поднимающихся к мосту с катушками проводов, автоматами и пулеметами. «Двух танков Зарубина не слышно: далеко ушли. Если и можно было б вызвать их по радио, все равно не поспеют — мост будет взорван. Что делать?»

Этот вопрос офицер задал Александру Руднову, передав ему о том, что он видел сейчас в бинокле. Лейтенант нуждался в совете, он искал поддержки у опытного бойца, у коммуниста. Александр понял, что, если он не поведет горящий танк к мосту, на который было столько надежд, бой за мост будет через несколько минут окончательно и трагически проигран.

— Я поведу машину!

— Да горит же! — в отчаянии крикнул лейтенант. То, что он даже не понял, что именно на горящем танке водитель хочет помчаться назад к реке, окончательно утвердило Александра в его решении. «Уцелеет мост, будет нашим, и перейдут по нему батальон, бригада, будут спасены тысячи...» — мелькнула мысль, и Александр опять, теперь уже навсегда, сжал в руках рычаги.

Зашумел мотор, танк развернулся, качнул стволом орудия, словно прощаясь с экипажем, и рванулся с места.

Александр спешил, пока пламя не пробилось к боеприпасам, пока не взорвался танк, спасти мост, спасти находящихся на нем товарищей.

...До середины моста десантники, теснимые немцами, отползали, отстреливаясь. Но тут бойцы почувствовали, что дальше отходить нельзя. Они прильнули ко все еще теплым телам своих погибших друзей. Мертвые задерживали в себе рой вражеских пуль, мешали свинцу достигнуть живых. Но, когда стали иссякать патроны в дисках автоматов и последние гранаты были брошены, немецкие подрывники перекинули провода через перила в трех местах, где саперы не успели сбросить в реку толовые заряды. Еще минута-другая, и будет соединена смертоносная цепь. И тут во весь рост поднялся старшина — командир саперного отделения. С острым, златоустовской стали, ножом бросился он на противника. За старшиной вскочили другие гвардейцы. Переплелись тела в рукопашной схватке. Будто сросшиеся, старшина и немец перекатились через перила и слетели в реку. На мутных волнах показались красные пятна.

Большая часть гитлеровцев находилась у порога

моста. Прекратив огонь, солдаты ждали результата схватки подрывников с советскими бойцами. Нетерпеливые уже приподнимались с земли, чтобы завершить бой с последними, оставшимися в живых гвардейцами. И вдруг за спиной послышался рев танка. Гитлеровцы ужаснулись, увидев летящий на них огненный смерч. Окутанный дымом, с длинными хвостами пламени, тянувшимися из жалюзей, танк нес врагу смерть. Офицер, за ним солдаты кинулись в стороны, вниз, к реке. Левее, на гребне спуска, Александр через раскрытый люк увидел массу лягушачьих мундиров. С втянутыми в плечи головами, спотыкающиеся, сбивающие друг друга с ног, ползущие на четвереньках, гитлеровцы напоминали перепуганных крыс. На них, потянув на себя левый рычаг, и направил танк Александр. По мелкой гальке сбоку шоссе заскрежетали траки. Гусеницы настигали замешкавшихся и подминали их под днище машины.

Весь ушедший в преследование врага, Александр не заметил, как огонь перекинулся в его отделение. Он оторвался от сиденья в момент, когда загорелся комбинезон и шлем и множество жгучих иголок вонзилось в затылок и спину. «Почему так жарко?.. Опять лезешь в горячий мартен вместо ремонтников, твое ли то дело, сталевар?.. А-а! Вот она насадка — красная, накаленная тысячью градусов... Эй, облейте из шланга, дышать нечем, облейте же!.. Зачем вы пустили заглядывать в мартен жену и дочку?.. Милые, отойдите, задохнетесь!..» Ощутимо, рядом видел Александр жену в слезах и ничего не понимающую, улыбающуюся ему, как тогда перед его отъездом на фронт, дочурку...

Продолжая сжимать в ладонях обжигающие кожу рычаги, Александр немного приподнялся и, вместо лиц жены, дочки, вместо мирного зарева над родной Магниткой, увидел скос насыпи и скатывающихся с нее гитлеровцев. В последнем проблеске сознания он заставил машину сделать еще один рывок на врага. Секунду горящий танк стоял на гребне насыпи, словно застыл перед отчаянным прыжком, потом пушка потянула книзу, и он стал сползать с крутизны. В этот

миг Александр перестал управлять машиной. Пылающая «Тридцатьчетверка» повалилась на бок, загрохотала вниз. Раздался взрыв.

ПРАВДА ПОБЕЖДАЕТ

1

Немецкие самолеты бомбили Прагу. Танковые и артиллерийские части, подтянутые Шернером к городу, во многих местах опрокинули повстанцев, смели баррикады. Проникнув в центр, танки грохотали по Староместской площади, подожгли городскую ратушу, обогнули бронзового Яна Гуса. А он сурово глядел с пьедестала на пылающие здания, на крадущиеся танки и, казалось, с той же гордой отвагой, что и пятьсот лет назад, когда инквизиторы сжигали его на костре, бросал в лицо врагу свой вечно живой, ставший знаменем народа девиз: «Правда победит!»

По баррикаде на Тройском мосту продолжала вести огонь артиллерийская батарея. За день 7 мая танки дважды атаковали колбенцев. Санитарки уносили убитых и тяжелораненых на правый берег. Их оружие забирали новые бойцы, пришедшие сменить павших в неравной борьбе.

Темнело, дождь утихал. На левом берегу реки, откуда колбенцы ожидали новых атак, группа рабочих закапывала и маскировала самодельные мины. Ярослав Копта посоветовал размещать их в шахматном порядке и вернулся на баррикаду. За последние сутки она еще больше разрослась и представляла собой солидное оборонительное сооружение. Толстые, из брусчатки, стены с амбразурами, стальные плиты, грузовики, трамвайные вагоны, цистерны, мешки с песком — все нашло свое место, и было установлено с расчетом на длительную оборону. «Вовремя Вонасек поспел,— подумал Копта, охватывая взглядом массивное тело баррикады.— Пригодился нам опыт словацкого восстания».

На середине моста, возле пустой, с разбитой стенкой цистерны, служившей местом кратковременного отдыха бойцов, Копту насторожил сердитый возглас невидимого Зденека Червинки.

— Уж болтай до конца, раз начал!

— Скажу, сейчас скажу,— ответил скрипучий голос. Копта узнал мастера с колбасной фабрики.— Я думал, продержимся день, и кто-нибудь появится в помощь. Эх, дурень-дурень, кому же хочется умирать на чужой земле да еще в конце войны... Это тебе, вечному холостяку, можно еще играть в восстание, в революцию, а я напрасно не послушал жену, когда она предупреждала: «Не ходи, пропадешь!»

— Зачем же дырки в штанах просиживаешь? Удирай, до ночи еще поспеешь жене спеть: «Пержина ма чтире рожки, под пержине чтире ножки...»

— И пойду. Слышал, что тот, в шляпе, рассказывал днем: все баррикады — под метелку, кого застали с оружием, тут же повесили. Чешский национальный совет и тот подписал перемирие с немцами, велел сдать и эту твою баррикаду.

— Что?! — по стенке цистерны зазвенел приклад.— Ты, колбасник, не только трус, ты — подпевало провокатора!

Мастер захихикал:

— Лучше день буду трусом, чем весь двадцатый век мертвецом.

— От тебя уже мертвечиной воняет. Катись, пока я тебя не задавил, как немца.

Круглый, коротконогий мастер вылетел из цистерны и наскочил на Копту.

— Эх-хе, командант! Разбой,— стал жаловаться, немного оправившись, мастер и удивился, услышав:

— Отдайте карабин. Уходите, сейчас же!

Долго после этого стоял Ярослав Копта у перил моста, неподвижным взором уставясь в почерневшую Влтаву. То, что национальный «социалист», о котором говорил мастер, приходил с провокационной целью, было ясно, но кое-какие сведения подтвердил товарищ, посланный в центр города. Представители

национальных «социалистов» в Чешском совете продолжали договариваться с иемцами, подготовили протокол о капитуляции восставших. Миогие баррикады иа центральиых улнцах были захвачены гитлеровцами. В районе Панкрац фашистские танки давили жителей гусеницами. Все это нельзя было, да и иевозможио было скрывать от защитников Тройского моста. «Чем их ободрить? Второй день Ладя иикого ие присылает из связиых. Не случилось ли с иим иесчастья?..»

Такие мысли волиовали Копту. Он проверял посты, когда с правого берега услышал окрик часового, ответ и возгласы:

— Девче ваша!

— Властиичка!

Франтишек Воиасек обнимал дочь.

Когда он иакануне пражского восстания возвратился из Остравы, то ии дома, ии иа заводе Власту ие застал. Альбиия жаловалась, что дочь даже иочевать ие приходит, а Копта, иаоборот, хвалил: «Умиица!» Около двух лет ие видел Воиасек свою любимицу и теперь глядел иа иее иеотрывно. Ои зачем-то стал отряхивать ее капюшон от дождевых капель, прикоснулся к распалеииому лицу.

— Ты простужеиа, горячая вся! Возьми тужурку.

Ои снимал замызгаииую старую кожаику, а Власта опять ее иадевала иа отца.

— Ну что ты, папа. Мие жарко. Ладя сказал: «Быстрее», а немцы преграждали дорогу.

— Ладя? Где ои? Почему ие дает о себе знать? — ие выдержал Копта.

Власта скинула капюшои, сняла шляпку, надорвала подкладку, выиула сложеииую вчетверо бумагу.

— Ладя прислал. Обращение к защитиикам баррикад.

Возле опрокииутого трамвайиого вагоиа собрались все бойцы, за исключеиием часовых. Червиика освещал фонариком иапечатаииую иа пишущей машинке листовку. Копта читал призыв Коммунистической партии:

«Пусть каждая ваша пуля достигиет цели. Пусть сегодия иочью иа улицах Праги вырастет еще больше

баррикад, чем уничтожили немцы. Продолжайте беспощадный бой, проникнутые одной мыслью — не отступать и победить».

2

Через мост, спасенный Александром Рудновым, прошли сотни танков и самоходок, орудий и минометов Уральского корпуса. Добровольцы пересекли границу Чехословакии с северо-запада, приблизились к перевалам на вершинах Рудных гор.

Милош Новотны был опять на родной земле. Радость эта умножилась вестью об освобождении матери из концентрационного лагеря. Гвардейцы, посланные генералом к Вальдгейму, спасли тысячи заключенных и среди них Божену Новотнову. Товарищи привезли Милошу письмо от матери. Она писала, что находится недалеко от него, в полевом русском госпитале, который движется к Праге, что она гордится сыном-танкистом, целует его нежно и мечтает увидеть невредимым. Еще узнал он из письма: Густина Фучикова и Лида Плаха живы.

Все было бы очень хорошо, если бы радость не была густо просолена горечью утраты.

В грохоте движущегося танка Милошу грезился голос Александра Руднова. Милош часто глядел в левую половину боевого отделения — ему там мерещился Руднов. Он был бы счастлив, если смог бы опять услышать беспощадно-хлесткое слово «хлюпик», которое в первом бою привело его в отчаяние. Но не слышен голос башнера. На его месте стоит мрачный, исхудавший Зарубин, истомивший себя обвинениями в гибели Руднова. «Надо было послать атаковать батарею не два, а один танк. Я обязан был находиться у моста. Александр остался бы с нами...» Ни уверения комбата, что он действовал в тех условиях правильно, ни благодарность генерала ему и его танкистам — ничто не могло успокоить Зарубина.

Снова, как после смерти брата, замолк, упрятал горе в себе Юрий Белых. Когда он после уничтожения

вражеской батареи домчал танк обратно к мосту, на насыпи уже стоял майор и бойцы батальона. Сняли шлемы, вынули пистолеты из кобур. Трехкратным залпом танкисты прощались со своим другом, уральским сталеваром, добровольцем Красной Армии.

За смертью Руднова потянулась полоса неудач и бедствий экипажа. На другой день, в бою с немецкой засадой, в танк угодил снаряд, искры посыпались в башне, Зарубин упал.

— Командир ранен! — крикнул Милош и вместе с подоспевшим радистом уложил Зарубина на боеукладку. Офицер раскрыл глаза, не дал себя перевязывать.

— Пушка! — показал он движением головы.— Огонь!..

Милош взял снаряд, чтобы зарядить. Радист поднялся к прицелу и с отчаянием возвратился к командиру.

— Осколки разбили оптические приборы. Стрелять нельзя.

— Можно!

Зарубин попытался встать, но не смог.

— В канал ствола наводи! Пусть Белых корректирует.

Услышав переданный радистом приказ командира, Юрий Белых распахнул люк. Через узкий смотровой прибор закрытого люка невозможно было быстро обнаружить замаскированного врага, вовремя предупредить о нем да еще корректировать огонь. Сделать это можно было только с раскрытым люком, и Белых пренебрег опасностью ради успеха боя, ради экипажа. Встречный ветер ворвался в танк, освежил горячее лицо Белых. Он увидел вражеское орудие и скомандовал радисту через трубку переговорного устройства:

— Слева за бугром пушка!

Милош давно раскрыл затвор. Радист стал наводить по каналу ствола орудие. Точно прицелиться таким необычным способом в подрагивающем, качающемся на ходу танке было трудно. Выстрел — недолет.

— Выше бери! — волновался Белых и, сделав неожиданный поворот, зашел вражескому орудию в бок,

остановил на несколько секунд машину. Стрелять стало легче. Второй снаряд угодил во вражескую пушку, уничтожил ее расчет.

За скалами и деревьями, то вплотную примыкающими к извилистому, идущему на подъем шоссе, то несколько удаляющимися от него, скрывались засады немецких фаустников и автоматчиков.

Белых по малейшим признакам угадывал засады, командовал:

— Иду вправо, бей в группу сосен осколочным!

Радист разворачивал башню и тем же способом, грубо наводя по каналу ствола, бил по целям, которые указывал механик-водитель.

Танки мчались все выше. Казалось, они шли на таран плотных, спустившихся на вершины темно-синих туч.

На гребне перевала рота остановилась. Ее нагнала санитарная машина. Санитары унесли тяжелораненого, потерявшего сознание Зарубина.

На вершины Рудных гор опустилась ночь — темная и беспокойная. На перевал поднялись танки, самоходки и тягачи бригады, а с ними и генеральский танк. Генерал приказал экипажам всех машин включить полный свет фар, пойти с кручи вниз.

По труднейшему спуску с Рудных гор, имеющих на южных склонах большую крутизну, одним из первых вел машину Юрий Белых. Когда танк сошел в долину и остановился в сторонке, ожидая подхода других машин, Милош поднялся на башню, взволнованный неожиданно грандиозным, глубочайшего смысла зрелищем.

С высоких гор, пробив густую синеву туч, текла серебряно-слепящая река. Свет, пришедший из страны Советов, охвативший уже много стран центральной и юго-восточной Европы, разливался морем в самом ее сердце. Яркий, теплый, согревающий душу народов свет прорвал плотины границ, гор и туч, вливался в охваченную ночным страхом, измученную и истерзанную врагом, обливающуюся кровью Чехию — его, Милоша, родную Чехию.

3

Вторник, 8 мая, был самым тяжелым днем пражского восстания. Фельдмаршал Шернер, получив донесения, что ночью советские танки перевалили Рудные горы с северо-запада, приказал моторизованным полкам направиться с северо-востока к Праге, в течение восьмого мая покончить с повстанцами и форсированным маршем идти в Пльзень, сдаваться американцам.

Под прикрытием густого утреннего тумана, к новым, воздвигнутым ночью баррикадам подошло более двухсот танков и подразделения моторизованной пехоты. У чехов, не знавших о приближении Красной Армии, потерявших надежду дождаться чьей-либо поддержки, иссякли силы и мужество. Ко второй половине дня большинство баррикад было сметено танками. Продолжали сопротивляться лишь самые стойкие, такие, как баррикада на Тройском мосту.

Под вечер на Тройский мост примчался трехтонный грузовик. Из кабины вышел Ладислав Пекса. Мигом по баррикаде пронеслась об этом весть, и усталые, прокопченные порохом, небритые лица рабочих оживились. Колбенцы побежали к восточному крылу моста, окружили Ладислава, жали ему руки, перебивая друг друга, спрашивали, что делается в городе. А он, отвечая на вопросы, улыбался застенчивой улыбкой, протирал стекла пенсне, бодрил уставших:

— Прага борется и победит. Нас поддерживает вся страна. Смотрите, какие подарки рабочие нам прислали. Разгружайте, соудрузи!

В кузове, легко ворочая тяжелые ящики и мешки, орудовал стражник Мартин Соукуп. Колбенцы дивились его могучей фигуре в потрепанном полицейском мундире и необыкновенной силе. Возле Соукупа, больше мешая, чем помогая ему, вертелся кузнец Войта Павлатов. Он и Соукуп приехали ночью из Пльзеня, нашли Пексу и вместе с ним пробивались от одной уцелевшей баррикады к другой. Пуля гитлеровца зацепила щеку, пробила ухо кузнеца, и его торчащая из-под бинта черная борода выглядела точно приклеен-

ная. Бинт пропитался кровью, его нужно было сменить. Заметив это, Франтишек Вонасек поднялся в кузов, предложил Павлатову:

— Пройдитесь в медпункт, соудруг. Девушка проведет вас.

Девушка повела кузнеца в сторону жилых домов. Высоченный, плотный, словно утрамбованный Соукуп и худощавый юркий Вонасек подавали из кузова мешки с хлебом и ящики с консервами. Нельзя было без улыбки смотреть на богатыря-стражника и едва достигающего его груди своей лысой макушкой формовщика. Особенно смешно было, когда первый, играючи, подымал на вытянутых руках мешок, а другой, точно для видимости касался мешка пальцами. Неузнаваемо изменив голос, сделав театральный жест в сторону Соукупа и Вонасека, Зденек Червинка заиграл тонкими бровями и визгливым тоном ярмарочного балаганного клоуна возвестил:

— Захватывающее зрелище! Французская борьба! Чемпион Праги в весе пера Франтишек Вонасек обещает положить чемпиона Пльзеня на пятой минуте. Спешите видеть единственное в своем роде представление. Баррикадным бойцам вход бесплатный.

Хохотали все и вместе со всеми Соукуп и Вонасек. Последний так заливисто смеялся, что растянулся на узком, длинном ящике, держась за тощий живот. И тут колбенцы ахнули: стражник Соукуп чуть развернул богатырские руки, хватил массивный ящик вместе с Вонасеком, и не успел тот соскочить, поднял и поставил ящик к краю борта кузова.

— Держи!

Десятки рук подперли ящик под дном и с боков, поставили его на землю. Вонасек, как ни в чем не бывало, соскочил с него, взялся отрывать крышку. Доски поддавались туго. Скрипели длинные гвозди. На помощь формовщику пришел Зденек Червинка. Наконец крышка сброшена. Колбенцы наклонились над ящиком. В нем лежали новенькие, густо смазанные ружейным маслом автоматы, диски с патронами, какие-то пустотелые стальные трубки и ранцы с зарядами, которые колбенцы видели впервые.

— Что это? — удивился Вонасек.

— Фауст-патроны,— ответил, спрыгнув с машины, Соукуп.

Когда-то инертный, флегматичный Соукуп оказался теперь необычайно подвижным и разговорчивым. Козырек форменной полицейской фуражки был приподнят над лбом. Чувство гордости за дело, которое ему доверили, выпрямило стражника, облагородило его.

Накануне вечером Соукуп со знакомым шофером погрузил во дворе пльзеньского полицейского управления этот ящик оставшегося немецкого оружия, накидал на него негодные матрацы и, мчась переулками, где не было американских патрулей, пригнал машину к Павлатову. Из пяти грузовиков с продуктами и оружием, которые вышли из Пльзеня, три были перехвачены американцами и возвращены на запад, один сожжен немецким огнем на окраине Праги, и лишь машина Соукупа дошла до центра. Но даже единственная, она приносила с собой надежду, возвращала уверенность восставшим. Вон с каким любопытством осматривают защитники Тройского моста пустотелые трубки. Он, Соукуп, научит их обращаться с фаустами, покажет, как надо поджигать фашистские танки!

Изголодавшиеся люди тут же, возле грузовика, грызли черствый пльзеньский хлеб и слушали Соукупа. Он показывал, как заряжать фаусты, как класть трубку на плечо, как производить выстрел. Рабочие по одному стали изготавливаться к стрельбе пока что пустыми, незаряженными трубками. Соукуп поощрял смышленых, а на молодого парня заворчал:

— Езус Мария! Что ты в пузо тычешь трубкой, тебя выхлопным пламенем насквозь прожарит.

Ворчал он добродушно. Ему лестно было, что мастеровые знаменитой Колбенки, люди, первыми поднявшие забастовку против оккупантов, герои Тройской баррикады, учатся у него, чешского стражника, владеть новым оружием.

Обойдя баррикаду и узнав, что мин больше нет и задержать танки можно только фауст-патронами и гранатами, Пекса возвратился к грузовику.

— Кто желает добровольио в комаиду Соукупа, подойдите ко мне.

Никто не двииулся с места. С двумя-тремя зарядами и этой пустотелой трубкой подойти вплотную к вражескому таику — ие верная ли это смерть! Здесь, иа баррикаде, уже привычио было рядом с товарищамн отбивать атаки, ио одии иа одии выйти с фаустом на таик, кто иа это решится?! Так думали люди миниуту-другую, пока от них ие отделился Фраитишек Воиасек, и за ним, иасвистывая и натяиуто улыбаясь, вышел Здеиек Червиика. Соукуп укладывал в раицы по три заряда фаустов.

— Значит четверо? — остро н вопроснтельио смотрели серые глаза Пексы на перемииавшихся с ноги иа иогу чехов.— Ну что ж, пошли.— И иатягивая раиец иа сутулую спииу, добавил: — Мы встретим танки иа улице. А если прорвутся к мосту, вы остаиовите их граиатами. Надеюсь, среди колбеицев трусов ие будет.

Ярослав Копта в это время выбирал место для храиеиия запасов привезеииых продуктов. Он увидел удаляющуюся четверку, когда оиа уже миновала баррикаду, и поспешил вдогоику.

— Ладя, друже, от всех рабочих, от всех коммуиистов прошу,— рука сталевара косиулась автомата, висевшего иа груди Пексы.— Я пойду. Мы за годы оккупации потеряли сорок членов ЦК. Вы ие имеете права рисковать. Ваша жизиь иужиа иароду.

— Народу победа иужиа, Ярослав! — Пекса положил сухие пальцы иа руку сталевара.— Место коменданта баррикады здесь. А я сегодия рядовой боец.

Пригиувшись, четверо побежали цепочкой к темиеющим громадам здаиий иа левом берегу Влтавы. Грузиый семипудовый Соукуп по-бычьи вобрал голову в плечи, сопел, едва поспевая за Пексой. Ои думал ие о танках, которые могли показаться с мииуты иа мииуту, а об этом человеке. «Члеи ЦК — главиый, значит, коммуиист, а со миой пошел... Или я с иим, пожалуй... Как это говорил Фучик в Хотимержн: коммуиисты самые простые люди, пан Соукуп, их героизм заключается в том, что они делают в решительиый

момеит все, что иужио делать. Верно сказал Фучик, по Ладиславу вижу, что верио».

Во всех подробностях вспомнил Соукуп деиь, когда ои пришел арестовать Юлиуса Фучика. «Ты предвидел, Фучик, что я приду к твоим друзьям. Видать, в душе я тоже коммуиист...»

Добежав до первых многоэтажиых домов, Ладислав велел Воиасеку и Червиике заиять позиции по углам здаиий, а с Соукупом двииулся дальше, к первому перекрестку улиц, где иемецкие таики должиы были развернуться, прежде чем выйти на прямую к мосту.

— Вы в эти ворота, а я туда, за колоины портала,— показал Ладислав иа колоииаду миогоэтажиого дома, расположениого на противоположиой стороие.— Первый таик мой, второй ваш.

— Слушаюсь! — по-воеииому ответил Соукуп.

Ждать пришлось иедолго. Как и в предыдущие дни, гитлеровцы пошли в атаку ровио в десять часов вечера. Из глубииы квартала послышалось урчаиие, перешедшее за иесколько мииут в грохот и лязг. До перекрестка дотянулось сабельио-острое лезвие света. Свет поколебался иад булыжиой мостовой, пополз по фасадам здаиий, косые лучи порывались загляиуть в подъезды и окиа. Соукуп прижался к стеие ворот, вынул из ранца заряд, вставил его в стальиую трубку и выгляиул влево, вдоль улицы. Серые гигаитские мокрицы, поводя глазищами фар, двигались к перекрестку. На мгиовеиие яркий свет вырвал из тьмы портала Ладислава, притаившегося за одной из ближайших к ступеиям колонн.

— Езус Мария! Зачем так близко?! — шептал Соукуп, ио иезаметно для себя и сам подался вперед, увлечеииый спокойиой отвагой Ладислава.

Не доезжая до перекрестка улиц, таик умеиьшил скорость. Ладислав прицелился, выстрелил, иасквозь прожег бортовую броию. Дым полез из щелей машины, ио оиа ие остановилась — должно быть комаидир приказал механику уйти с опасиого участка, скрыться за углом. «Наверио, там танкисты выскочат. Их угостят автоматиой очередью Воиасек или Червиика»,—

подумал Соукуп, изготовившись к стрельбе. Второй танк приближался к его засаде на большой скорости. Боясь запоздать, Соукуп поспешил и пустил заряд слишком низко, перебив одну из гусениц. Злобно рыча мотором, машина завертелась на месте. Идущие вслед с десантниками на бортах танки остановились, открыли огонь из пушек и пулеметов. Снаряды рвали камни домов, калечили колонны, за которыми находился Ладислав. К зданию с порталом побежали спрыгнувшие с брони десантники. «Убьют!» — заволновался Соукуп и затопал наперерез немцам. Приблизившись почти вплотную к вертящемуся танку, Соукуп метко послал в его корму второй заряд фауста, сделал несколько прыжков к тротуару и поднялся по ступенькам здания. Под колонной лежал Ладя. Стекла пенсне были разбиты, лицо и руки залиты кровью, а он все еще тянулся с автоматом в сторону приближающихся десантников. Соукуп пустил вдоль тротуара несколько автоматных очередей, заставил немцев залечь, поднял Ладю на руки. Прижав окровавленную голову к себе, Соукуп услышал клокотание в горле и хрип.

Соукуп надеялся донести Ладю до товарищей: «На баррикаде врач, спасет...» Он побежал тротуаром к перекрестку, держа тяжелое тело впереди себя, на груди, чтобы не достиг Ладю хлеставший за спиной вражеский огонь. Ноги Лади свешивались, царапали носками ботинок плиты тротуара.

Не больше трех метров осталось до угла, когда в затылок, шею и плечи Соукупа вонзились осколки разорвавшегося за спиной снаряда. Шатаясь, Соукуп добрел до угла, свернул на другую улицу, увидел бегущих навстречу баррикадных бойцов с Ярославом Коптой. Сделав шаг влево, к стене дома, и три шага в правую сторону, к мостовой, Соукуп рухнул на камень.

Танковая атака была отбита. Тяжелораненого Пексу увезли в больницу. Молчаливые, суровые, с непокрытыми головами стояли защитники Тройского моста вокруг погибших. Рядом с двумя рабочими Колбенки лежал стражник из Домажлице Мартин

Соукуп. Бойцы подняли автоматы, карабины, охотничьи ружья, салютовали погибшим солдатам пражских баррикад.

За полночь послышались продолжительные тревожные заводские гудки. Воздух сотрясли глухие раскаты.

— Что это, комендант? — спрашивали бойцы у Ярослава Копты.

— Франк и Шернер взрывают Прагу.

Пламя пожаров, поднявшееся над центром города, потянулось к промышленным окраинам, потом и к юго-западу, на левый берег Влтавы. С Тройского моста виден стал высокий холм с силуэтом пражского Града на посветлевшем, раскрасневшемся горизонте. Казалось, горит бесценное сокровище народа — пражский Град, его архитектурные шедевры, дворцы и храмы.

Дождь, наконец, прекратился. Не занятые на постах бойцы устраивались на отдых. Кто прилег на бортах перевернутых набок грузовиков, кто, сидя, прильнул щекой к холодному ложу ружей. Сон был нервным, чутким. Только послышался с восточной стороны баррикады разговор, как большинство вскочило, пошло на голоса, дополнило кружок вокруг Власты Вонасек, прибывшей из Чешского национального совета.

Лицо Власты было в царапинах, зеленый дождевик изорван в нескольких местах — она пробиралась сквозь узкие проходы в проволочных заграждениях, установленных немцами.

— Поступили сведения,— задыхаясь, говорила она, обращаясь к Копте.— Сотни танков движутся по северным дорогам к Праге. Говорят, подходят основные силы Шернера. Отступать некуда, эсэсовцы находятся возле Колбеики, они обошли вас с тыла. Что передать руководителям совета?

— Передай,— ответил Копта,— пока жив хоть один человек, мы не сдадим Тройского моста!

До утра никто не смыкал глаз. Край баррикад, глядящий на восток, укрепили камнями, обложили железными плитами. Боязливо наступал рассвет. Он

словно испугался грохота пушек, неумолчного гула мчавшихся со всех сторон танков.

Когда солнце пронзило пелену тумана, восточнее Тройского моста показались машины. Бойцы увидели, как из узких щелей улиц на площадь выкатили десяток грузовиков и вслед за ними пять танков. На глазах у защитников моста грузовики стали съезжать по отлогому спуску к берегу реки. Стоявшие за баррикадой люди ужаснулись: в кузовах были женщины и дети. Прикладами и штыками гитлеровцы заставили их сойти с машин, идти в воду. На берегу стоял визг и плач. Гитлеровцы затягивали на шеях женщин веревки с камнями.

— Дай мне людей, Копта! — требовал Вонасек.

— Пустите нас туда,— просил Червинка.

Не сумев в течение трех суток заставить колбенцев уйти с моста, эсэсовцы надумали сломить их волю моральной пыткой — утопить женщин и детей на глазах у защитников баррикады. Первую группу загнали в воду. Копта понимал, что даже все его бойцы не сумели бы спасти обреченных. Эсэсовцы с пулеметами залегли на берегу, готовые облить огнем каждого, кто вздумал бы спуститься от моста к реке. Но и отказаться от спасения несчастных Копта не мог. Он назвал шесть человек во главе с Вонасеком и Червинкой, приказал взять полные диски к автоматам. Группа Вонасека бросилась с насыпи вниз, к берегу реки.

Пять немецких танков открыли стрельбу из пушек и двинулись к баррикаде, у защитников которой остались последние заряды фаустов. С ними против танков вышли Ярослав Копта и кузнец Войта Павлатов. Сталевар Вацлав Олива встал на дороге Копты, выхватил у него из рук пустотелую стальную трубку.

— Я с Павлатовым. Тебе нельзя. Смотри на тот берег...

Копта поднялся на перевернутый вверх дном высокий железный ящик, взглянул на западный берег Влтавы, потом на восточный. С обеих сторон мчалось, подымая густую завесу пыли, множество танков. Пять немецких машин, навстречу которым шли Павлатов и Олива, затормозили метров за сто от баррикады,

будто поджидая шедшие позади танки. «Это гибель! Взорвать бы мост, но чем?»

В этот отчаянный миг Копта услышал орудийный гром, увидел, что эсэсовцы оставили свои жертвы, побежали к ближайшим переулкам. Один из затормозивших возле моста немецких танков загорелся, остальные повернули влево, стали спускаться к реке. Но и здесь они наткнулись на стену огня. Из кривых переулков вылетели могучие боевые машины с низкими покатыми башиями и длинными стволами орудий. Стреляя с ходу, они сжимали в кольцо немецкие машины. Первый из внезапно появившихся танков оторвался от других, на предельной скорости помчался к реке и остановился, когда гусеницы захлюпали в воде. Из люков выскочили Юрий Белых и Милош Новотны.

— Настава час свободы, соудружки! — кричал Милош, размахивая шлемом.— Русские пржишли!

Из Влтавы навстречу своим спасителям выходили женщины, подняв над головами детей.

Лишь одна молодая чешка с прижатым к груди мальчиком продолжала стоять в воде с закрытыми глазами. Она слышала возгласы подруг, но не была в состоянии освободиться от оцепенения, от ожидания выстрела в спину. Внезапно она почувствовала, что с шеи сняли камень. Кто-то поднял ее вместе с ребенком и понес к берегу. Боясь шевельнуться, она раскрыла глаза, увидела улыбающееся, худое, заросшее лицо танкиста. То был Юрий Белых. Он бережно опустил ее на сухую землю, взял из рук мальчика, прижал его к небритой щеке. А тот, несмышленый, потянул посиневшие от холода пальчики к искристой пятиконечной звезде на шлеме танкиста. Неожиданно женщина опустилась на колени, охватила мокрые грязные сапоги Юрия, пытаясь их поцеловать. Юра присел на корточки, заставил молодую мать подняться и пошел с мальчиком на руках к своему танку, вошедшему в реку, словно для того, чтобы испить из нее воды. К гусеницам, к лобовой броне, журча и нашептывая, ласково прильнула Влтава. В ее зеркальной глади отражались орудие с буквами по всей длине ствола: «Алек-

сандр Руднов» и башня с надписями по бокам: «За Михаила Белых», «За Юлиуса Фучика».

— На здар, Руде Армада! — воскликнул Копта, и его бас восторженно и громко подхватили защитники Тройского моста и жители окраины. Они делали проходы в баррикаде для подоспевших с запада уральских танков.

По обоим берегам Влтавы двигались сотни советских боевых машин. На них поднимались бойцы баррикад. Вместе с русскими воинами шли они добивать гитлеровцев, не желавших сложить оружие.

А когда солнце поднялось к зениту, стихли выстрелы и на окраинах и в центре города — последние выстрелы Великой Отечественной войны.

Миллионная Прага запрудила улицы, площади и парки. Она ликовала, обнимала русских парней — солдат-освободителей.

На площади, у здания парламента, остановились танки. На их широких корпусах, утопая в букетах сирени, лежали погибшие в это утро уральские танкисты. Стволы орудий медленно поднимались ввысь. Мужчины снимали шляпы, женщины рыдали, прощаясь с советскими бойцами, не пожалевшими жизни ради их свободы и счастья.

— Вовеки не забудем своих спасителей! — как клятву произносили чехи.

Солнце щедро и ласково освещало древний город. Весенний воздух, напоенный ароматом цветов, струился по улицам и площадям. И не было ни одного равнодушного сердца в этот светлый и радостный День Победы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Резник Яков Лазаревич
РАССВЕТ НАД ВЛТАВОЙ

Редактор Н. Куштум
Художественный редактор Я. Черников
Технический редактор Л. Голобокова
Корректоры Н. Рабинович
и С. Низола

Подписано к печати 12/I 1966 г. Уч.-изд. л. 17,0+
+0,26 (вклейки). Бумага типографская № 2.
54×84/16 — 10,625 бум.— 18,16 печ. л.
НС 21011 Тираж 50 000 Изд. № С-349
Заказ 902 Цена 73 коп.

Средне-Уральское Книжное Издательство
Свердловск, ул. Малышева, 24
Типография издательства «Уральский рабочий»,
Свердловск, проспект Ленина, 49.